Дорога через ночь

Даниил Федорович Краминов

SHOUT
SHARE
IT

- Краминов Даниил Федорович

Краминов Даниил Федорович
Дорога через ночь

Даниил Федорович КРАМИНОВ

ДОРОГА ЧЕРЕЗ НОЧЬ

Повесть

В основу повести "Дорога через ночь" положены действительные события, разыгравшиеся в последние два года второй мировой войны в Арденнах, где сходятся границы Бельгии, Франции, Люксембурга, Германии и Голландии. С помощью бельгийских патриотов советские люди, бежавшие из германских концлагерей, создали партизанскую группу, которая выросла в бригаду и приняла активное участие в вооруженной борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Д. Краминов, будучи советским военным корреспондентом на Западноевропейском фронте, встречался в Арденнах, а затем в казармах бригады в Леопольдбурге с участниками этой борьбы. Они рассказали ему многое из того, что здесь описано. Хотя прообразами героев повести были определенные люди, они все же далеки от портретного сходства. И в описании событий автор не стремился к полной достоверности, стараясь, однако, не отрываться от основных исторических фактов.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Часть первая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая

Часть вторая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Часть третья
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Часть четвертая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
Глава тридцатая
Часть пятая
Глава тридцать первая
Глава тридцать вторая
Глава тридцать третья
Глава тридцать четвертая
Глава тридцать пятая

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В горячий августовский полдень в маленький ресторан на Третьем авеню в Нью-Йорке вошел полный пожилой человек. Он продвинулся на средину зала и остановился в самом проходе. Толстяк мешал официантам, и те толкали его, сердито покрикивая:

- Сори! - Извиняюсь!

Вошедший поворачивался к ним, подбирал руками, будто уминал, большой живот и извинялся с торжественной

изысканностью и акцентом:

- Ай бег ёр пардон! - Прошу прощения!

С прохода, однако, не уходил. Неторопливо оглядываясь, он выискивал место. Его остро-синие глаза скользили по залу, как бы ощупывая столики, задерживались на мгновение и перебегали дальше. Зацепившись за простенок между окнами, остановились в удивлении. Ресторан назывался немецким; видимо, поэтому хозяин - австрийский еврей - разукрасил стены, как делают в Германии, нравоучительными надписями. Эти-то надписи, начертанные остро изогнутыми готическими буквами, приковали к себе внимание вошедшего. Пока он читал их одну за другой, шевеля губами, я рассматривал его самого.

Сначала я принял толстяка за провинциала-американца немецкого происхождения. Узрев на стене знакомые изречения, тот увлеченно перечитывал их. И не просто перечитывал, а наслаждался ими: восхищенно качал большой седой головой, оттопыривал, будто смакуя, губы, улыбался. Достав пестрый платок, вытер лоб, усеянный капельками пота, еще раз пробежал надписи и вдруг рассмеялся.

- Глубокомысленные надписи, - пробормотал он, не обращаясь ни к кому, - и... удобные, как разменная монета.

Провинциал-немец едва ли мог издеваться над заповедями обывательской мудрости: никто не смеется над своей верой. Настораживала и его манера держаться. Всматриваясь, толстяк вскидывал голову и вытягивал шею. Он точно впитывал виденное и, пока происходил этот процесс, не позволял ничему иному отвлекать себя. Улыбался и смеялся он тоже необычно: одним ртом. Раздвигал губы и сверкал парой золотых подковок. Глаза же оставались колючими, строгими.

Дремлющая память моя вдруг встрепенулась. Мне показалось, что я встречал этого или очень похожего на него человека. Тот тоже всматривался с такой же цепкой внимательностью, и у него было такое же удручающее несоответствие между смеющимся ртом и суровыми глазами. Но где? И когда? Я поспешно рылся в памяти, разгребая вороха событий, перебирая лица, встречи. Порою мерещилось, что вот-вот вспомню. Однако след, ведущий к этому человеку, не успев отчетливо появиться, исчезал, поглощенный туманом времени.

Вероятно, мне пришлось бы долго бродить в просторах прошлого, если бы толстяк не повернулся к свету левой щекой. На ней резко выделялся большой и глубокий шрам. Похожий на римскую пятерку, он уродовал всю щеку, захватывая в свою вилку седой висок. Бороздки шрама, обрамленные сборочками морщин, краснели, будто смазанные розовым лаком. Только сильный ожог

оставляет такой след. И это был не знак несчастного случая, а клеймо. Да, клеймо! Страшное, умышленно выжженное на лице человека.

Это клеймо вспыхнуло в моей памяти, ярко осветив дальний уголок прошлого. На своих непревзойденно быстрых крыльях память перенесла меня на пятнадцать лет назад, в северо-западную Германию, в концентрационный лагерь Бельцен. Там, отрезанные от всего мира забором и колючей проволокой, заканчивали свой жизненный путь противники гитлеровского "нового порядка", собранные нацистами со всей Европы.

В центре лагеря, почти у самых ног виселицы, стоял барак штрафных. Это был длинный деревянный сарай с редкими мелкими окошками, мокрым земляным полом и нарами, расположенными в три яруса. Середину сарая занимал большой, сколоченный из неотесанных досок стол. Прямо над ним к стропилам были прикреплены две электрические лампочки. Огражденные проволочной сеткой, они мутно желтели по ночам, поглядывая, как два бдительных ока, на людей в полосатых фуфайках и штанах, скрючившихся на нарах в тяжелом сне.

Здесь томились русские и украинцы, белорусы и поляки, чехи и евреи, французы и бельгийцы, сербы и голландцы. Было несколько немцев, датчан и норвежцев и даже один англичанин. В том человеческом аду, который именовался "концлагерем Бельцен", мы, штрафники, были, наверное, не самыми смелыми и способными врагами "нового порядка", не самыми сильными и стойкими. По разным причинам нацисты выбрали и поставили нас в особые условия. Штрафников чаще и ожесточеннее били. Отсюда чаще посылали на виселицу или в "медицинский блок", где над заключенными проводились какие-то жуткие опыты и откуда, как с виселицы, никто не возвращался.

Почти всех штрафных притаскивали в барак избитыми. "Старожилы" принимали их, как принимают раненых в полевом лазарете: исследовали повреждения, промывали раны и перевязывали. Охранники особенно любили уродовать свои жертвы. Они не хотели, чтобы заключенные хотя бы внешне походили на них. И мы видели немало старательно обезображенных лиц. Все же лицо одного из новичков потрясло нас. Оно было резко перекошено. Кожа на правой скуле натянулась так, что казалось, вот-вот порвется. Левая щека раздулась огромным пылающим волдырем, на котором кровоточила римская пятерка, выжженная раскаленным железом.

Это изуверство вызвало у обитателей барака взрыв негодования, и мой сосед по нарам Миша Зверин кинулся к выходу, чтобы догнать истязателей, притащивших и бросивших

изуродованного человека на пол. Друзья схватили Мишу, чтобы удержать от такой же или еще худшей участи. Он вырывался и кричал:

- Пусть убьют!.. Пусть!.. Я не хочу жить с ними на одной земле...

Новичок долго не мог ни есть, ни говорить. Соседи с трудом вливали воду в его рот. Избитый благодарно смотрел измученными глазами или показывал пальцем на свои потрескавшиеся губы: еще воды! Мы скоро узнали, что зовут его Казимир Стажинский, а подвергся он такой каре за то, что плюнул в лицо коменданту лагеря Дрюкеру.

Дрюкашка, как звали его заключенные, - невысокий, плотный эсэсовец с маленькой белобрысой головой и по-женски широким задом - провоцировал новичков. Неповиновение возбуждало его, и он с увлечением изобретал наказания. Встречая новеньких у ворот лагеря, комендант выбирал тех, которые казались ему сильнее других физически, крепче духом, упрямее. Хлестал тростью по глазам, бил в зубы, дергал за нос. Попытка уклониться от удара и избежать боли тут же приводила к избиению. Сопротивление наказывалось с изощренной жестокостью. Обнаружив упрямца, Дрюкашка зло и обрадованно орал своим подручным:

- Ага, не гнется!.. Бить его, такого-сякого, чтобы мягче губки душой и телом стал!.. Кости мешают - дробите их к черту!..

Когда избитый распластывался в беспамятстве, пинал его ногой и с улыбкой довольства поворачивался к охранникам.

- Избитый сразу признает в избивавшем своего хозяина и сам перед ним голову склонит...

Нам удалось выходить Стажинского, хотя рана на его щеке долго не заживала, гноилась и кровоточила. Обитатели барака привязались к смелому и неугомонному поляку. До немецкого концлагеря он сидел в польских, немецких и французских тюрьмах, сражался в Испании, потом снова голодал и кормил вшей во французском концлагере.

Мы - мои товарищи и я сам - смотрели на Казимира Стажинского с восхищением. Одни из нас со студенческой, другие - почти со школьной скамьи оказались на фронте, видели долгое и трудное отступление, попали в плен, а потом в концлагерь. Рядом с нашими короткими, ничем не примечательными жизнями история поляка была интересной, красочной и даже славной.

Еще в молодости примкнул он в Польше к революционной партии, которая больше всего преследовалась властями и подвергалась травле. Его арестовали, судили и посадили надолго в тюрьму. Обезоружив оплошавшего надзирателя и переодевшись

в его мундир, Казимир бежал, скитался некоторое время по стране, а затем пробрался в Германию. Немецкие поклонники "законности и порядка" схватили его и, пока отношения между Берлином и Варшавой были натянутыми, держали в своей тюрьме. Когда же берлинский ефрейтор вздумал пофлиртовать с варшавскими правителями, он распорядился преподнести им подарок в виде... украшенного стальными наручниками Стажинского. Ему удалось, однако, выпрыгнуть из поезда, замедлившего ход на границе, спрятаться в лесу и после двух недель блужданий добраться до Парижа. "Прекрасная Франция" была в те времена тоже неравнодушна к столице на Висле и решила вернуть беспокойного Стажинского в Польшу.

Французские друзья вмешались в его судьбу. В газетах появились негодующие статьи и заметки против посягательства на право убежища. Стажинского не выдали Польше, а посадили в местную тюрьму. Освободили через год, обязав немедленно покинуть страну. Он отправился в Испанию, где началась гражданская война. На стороне республиканцев он воевал до самых последних дней - до горького отступления по горным дорогам Пиренеев во Францию. На французской земле его опять арестовали. В панические дни разгрома Франции Казимир снова бежал. Правительство Петэна, бесславно капитулировавшее перед немецкой армией, поспешно бросило в погоню за поляком свои последние резервы: целый батальон "прочесывал" лес, чтобы выскрести из густых кустов беглеца. Министр Дарнан собственноручно передал его немецким друзьям генерала Франко...

Все слушали рассказ Стажинского с симпатией: нам нравилась не только его отвага, но и та ироническая усмешка, с которой смотрел он на свои злоключения. Только единственный в нашем бараке англичанин Крофт не разделял общего чувства. Выслушав поляка, он вяло улыбнулся, едва раздвинув тонкие губы.

- А зачем все это?

- Что все это?

- Ну, аресты эти, побеги, опять аресты. Зачем вам все это?

Стажинский поднял на него глаза.

- Я хотел помочь навести порядок в моей стране, - сказал он с некоторой театральностью.

- Но ведь вы воевали в Испании? - перебил англичанин.

- Воевал.

- Значит, свое желание наводить порядок вы перенесли далеко за пределы вашей страны, - заключил Крофт, посматривая на всех насмешливо и вопрошающе; что, мол, скажете на это?

- Когда в деревне начинается пожар, - возразил Казимир, - каждый хозяин старается помочь горящему соседу: не поможешь вовремя другому, сам сгоришь.

Англичанин пожал плечами.

- При чем тут деревенский пожар?

Стажинский посмотрел на него с укором, смягченным, однако, снисходительной улыбкой.

- В наше время нельзя думать только о своей стране, о своем доме или только о себе. Мир слишком тесен, чтобы можно было спрятаться в пределах границ одной страны, как и в стенах одного дома. Не так ли?

Крофт промолчал. Мы торжествовали: убедительно и красочно поляк выразил мысли, которые смутно бродили в наших головах.

К нам, в большинстве молодым людям, сорокалетний Казимир относился с заботливым покровительством старшего брата. Правда, проявлялось это покровительство иногда с таким откровенным превосходством, что мы казались самим себе глупыми щенками. Он обладал мудростью, которая дается только возрастом и опытом. Мы же были тогда молоды, неопытны и горячи. То кипели от возбуждения, увлеченные смелой мечтой, то подавленно затихали, парализованные безвыходностью положения. С присущей ему упорной цепкостью всматривался поляк в наши измученные и потерянные лица, давал кое-кому легонько шлепка по спине.

- Ничто и никогда не бывает таким мрачным, каким кажется. Главное в любом деле - не терять веры.

И добавлял подмигивая:

- Безверие - это болезнь стариков. Вы же молоды! А молодость и вера неразделимы.

Несколько месяцев прожили мы вместе в бараке штрафных. Вместе удалось нам вырваться из лагеря, бежать в Голландию, оттуда в Арденны, где скитались и воевали два года. Долгий и тяжкий путь - от первой встречи в концлагере до расставания на мосту через горную речку в Арденнах, на котором я видел Стажинского в последний раз, - был проделан вновь в полторы-две минуты. Память с особой яркостью воспроизвела то, что произошло тогда на мосту.

Я снова увидел Арденнские горы, заросшие лесом. На неровном темном фоне ярко белели заплаты, положенные на горных лугах недавним снегом. Речка, пересыхавшая летом, но буйствовавшая осенью и зимой, прорезала заснеженные горы, как огромная трещина. Через речку был переброшен мост, который американцы, занявшие к тому времени Арденны, поручили

охранять нашему отряду. Разложив костер на обочине насыпи, партизаны грелись подле него, дежуря по очереди на другой, восточной, стороне моста. Мы видели согнутую ветром фигуру очередного дежурного, дружески посмеивались над ним и жалели.

В тот пасмурный день, когда дежурил Стажинский, у моста перед вечером появился молодчик в форме американского капитана. Казимир и американец двинулись навстречу друг другу и, сойдясь вплотную, остановились. Офицер полез во внутренний карман зимнего пиджака. Патрулю было приказано проверять документы у всех, и мы думали, что капитан достает бумажник. Он вытащил руку и, как показалось издали, толкнул Стажинского в грудь. Тот рухнул на мост раньше, чем мы услышали выстрел.

С проворством бывалого солдата наш командир Устругов вскочил на ноги и спустил предохранитель автомата.

- Подлец! Ах, подлец! - пробормотал он, нажимая гашетку.

Американец так резко вскинул голову, что неподвязанная каска взвилась над ним. Он как будто спешил увидеть, кто сразил его, и, увидев, повалился на Казимира.

Устругов бросился туда, чтобы подобрать товарища. Но из-за скалы, скрывавшей дорогу, выкатился броневик, изрыгающий огонь и грохот. Мы кубарем покатились под откос и укрылись за каменно-асфальтовым горбом дороги. Броневик с американскими знаками подошел к мосту; повертев своей сдавленной лягушечьей головой, попробовал достать нас пулеметной очередью. Изумленные и озлобленные на американцев, предательски напавших на своих союзников, мы отползли к лесу.

Вскоре, однако, обнаружилось, что то были не американцы, а немцы. Следом за разведкой, переодетой в американскую форму и снабженной американской техникой, на горные дороги южной Бельгии ринулись немецкие танковые колонны. Нацеленные на Льеж, Намюр, Динан и через них к Северному морю, танки раздавили части первой американской армии, оборонявшей Арденны, вынудив и нас снова уйти в горы. Мы смогли вернуться к месту, где оставили Стажинского, лишь месяц спустя, после провала этого последнего во второй мировой войне немецкого наступления на западе. За мост, лежавший на важной дороге, шли жестокие бои, и по обе стороны его было много могил. Мы думали, что в одной из них покоится наш Казимир.

Все четырнадцать лет, прошедшие с тех пор, я был уверен в этом. Увидев теперь человека с клеймом на щеке, вскочил: неужели Стажинский? Во всяком случае, это его шрам. Его же глаза, по-детски синие и не по-детски остро-холодные. Вместо выбитых в концлагере зубов он вставил золотые. Конечно, он

здорово раздался с тех пор! И волосы, сильно поседевшие уже тогда, теперь даже пожелтели, точно пропитались никотином.

Но я же видел, как Стажинский упал там, на мосту в Арденнах. И все другие видели. Ни тогда, ни после никто не сомневался в его смерти.

Кто же этот человек с клеймом Стажинского и так похожий на него? Брат-близнец, имевший несчастье также попасть в руки "носителей нового порядка"? Двойник? Или... Или - ведь бывают же чудеса! - сам Казимир, спасшийся от смерти? В самом деле, почему бы и не так? Ведь чудо - только необычное и благоприятное стечение обстоятельств, о которых часто даже не знают. А мы действительно ничего не знали, что произошло на том мосту после того, как скатились с насыпи.

Все еще сомневаясь, я поднялся и негромко позвал:

- Стажинский! Казимир!

Вошедший повернулся в мою сторону и скользнул неузнающим взглядом. Не найдя знакомого, он задержал глаза на мне, вскинул голову и стал рассматривать так пристально, будто надеялся увидеть за моей спиной того, кто окликнул его. Я сделал пару шагов вперед. Если бы я встретил этого "воскресшего из мертвых" в Москве или Варшаве, наверное, бросился бы обнимать его. Но встреча произошла в Нью-Йорке, а это не только удивляло и радовало, но и настораживало.

- Казимир, вы не узнаете меня?

Стажинский осмотрел меня с головы до ног, прищурив глаза и вытянув голову, и отрицательно покачал головой.

- Я Забродов. Костя Забродов. Помните Бельцен, побег в Голландию, Арденны?

Он подошел вплотную, встряхнул мою руку и, не выпуская ее, стал всматриваться. Время честно и не без успеха потрудилось над моей внешностью. Костлявого, узкоплечего парня с лицом, на котором, по уверениям моих тогдашних друзей, не было "ничего, кроме большого носа", оно превратило в солидного мужчину, пересыпало несмываемым пеплом волосы и прошлось когтистой рукой по располневшему лицу. Наверное, Стажинский нашел все-таки что-то знакомое, потому что еще сильнее стиснул и встряхнул руку.

- Помню... Вы всегда держались рядом с Уструговым.

- Верно, верно. С Георгием Уструговым мы часто были вместе. Помните, Дюмани, командующий бельгийскими партизанами, называл нас даже сиамскими близнецами?

- Помню... Но мы, Валлон, Прохазка, Хорьков, Шарль, Мадлен и особенно Аннета, - вы, конечно, помните всех - не соглашались с этим. Уж очень не походили вы друг на друга... Устругов -

сильный, прямодушный и упрямый здоровяк. Вы - по фигуре почти вполовину его, но быстрый в движениях и словах, скрытный и хитрый. На уструговском лице отражалось все, что думал или чувствовал он. Вы же почти всегда как бы скрывались под маской. Маска, правда, менялась, но не открывала того, что под ней.

- Не очень-то высокого мнения были вы обо мне...

- Наоборот, совсем наоборот.

Стажинский погладил меня по рукаву.

- Мы называли вас "уструговской тенью", - вспомнил он с непонятной мне улыбкой.

- Тенью? Уструговской тенью?

Поляк утвердительно наклонил голову, но, видимо услышав в моем тоне не только удивление, а и обиду, несколько смущенно добавил:

- Ну, не всегда звали мы вас "уструговской тенью". Сначала там, в концлагере, Устругов был вашей тенью. Большой, немного рыхлой, иногда даже неуклюжей тенью небольшого, энергичного, подвижного Забродова. И мы не видели в нем тогда ничего, кроме вашей тени. Лишь во время побега из концлагеря в Голландию вместо тени появился человек. Хотя все еще неуклюжий и медлительный... Однако в трудные минуты он оказался способен на такую смелость, которую от него никто не ожидал. Своим мужественным сердцем он покорил многих. А в Арденнах Устругов, можно сказать, поднялся во весь рост, и все увидели, какой это великолепный человек, настоящий коммунист.

Стажинский снова погладил мой рукав, точно успокаивал или извинялся за то, что восхваляет товарища, а не меня.

- Может, это было не совсем справедливо, но вы так близко держались к нему и действовали настолько слаженно, что между собой мы почти всегда звали вас "уструговской тенью". Не обижайтесь, мы не вкладывали в это плохого смысла...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Никто не обрадуется, услышав, что его принимали за чью-то тень. Не ликовал и я, хотя и понимал, что огорчаться или обижаться поздно. Покопавшись немного в памяти, я согласился, что Стажинскому и моим тогдашним друзьям отношения между Уструговым и мной могли казаться именно такими. Сам я никогда не видел в Георгии свою тень и не сводил себя на положение его тени. Но, положа руку на сердце, я должен был признать, что роли наши заметно переменились. Поляк был, несомненно, прав: в дни побега и особенно во время наших долгих скитаний и партизанских схваток в Арденнах Устругов неузнаваемо изменился, стал на свои ноги, вырос. В короткий

срок он превратился из напуганного, растерянного и удрученного парня в смелого и даже какого-то вдохновенного вожака пестрой и буйной многонациональной партизанской вольницы, действовавшей против врага в том необыкновенном уголке Европы, где сходились пять стран. Не делавший ранее даже маленького шажка без моего подталкивания, Устругов под конец настолько уверовал в себя, что искал совета редко, а считался с ним еще реже.

Долгое время в наших отношениях не было особенной близости: случайности жизни и войны не однажды сводили меня с ним, разводили и снова сводили, чтобы развести.

Впервые я встретил Устругова весною сорок первого года. Это была для меня и моих товарищей трудная, радостная и тревожная весна. В тот год я заканчивал, как сказали бы на Востоке, восхождение по лестнице мудрости и знаний, начатое пятнадцать лет назад: десять ступенек средней школы и пять ступенек института. И последняя ступенька, то есть пятый курс, заставила сильно попотеть и поволноваться. Зачеты... Много зачетов. И государственные экзамены. И дипломная работа. Времени требовалось столько, что приходилось занимать его не только у отдыха, но и у сна.

И все же мы радовались и веселились. Радовались тому, что были молоды и все давалось нам легко. Тому, что заканчивали учебу, навсегда освобождаясь то от одного предмета, то от другого. Особенно радовались тому, что вступали, наконец, в настоящую, "взрослую" жизнь. Перед нами открывалось столько дорог, что мы терялись: которую же выбрать?

Радость эта омрачалась тучей войны, мертвящее дыхание которой уже доносилось до нас. Подобно огромному масляному пятну, гитлеровский "новый порядок" расползался по карте Европы. Бронированная орда, докатившись до берегов Атлантического океана, Северного и Средиземного морей, поворачивала на восток. Вопреки спокойному тону газет по Москве ползли тревожные слухи о движении немецких войск к нашим границам. Все, кто возвращался из Европы, - а таких в столице всегда много, - рассказывали об этом своим родственникам и знакомым, те - своим, а те - дальше и дальше, пока это не достигало нас. Говорили, что поезда с немецкими солдатами, танками, пушками беспрерывно катятся на восток, на восток, на восток. Грязно-бурые вагоны несли как вывески хвастливые обещания: "Айн шусс цеен русс". - "Один выстрел - десять русских".

Конечно, это было смешное и глупое бахвальство. Но оно не вызывало смеха, а пугало. И не потому, что мы боялись попасть в

те десятки, которые наглые вояки собирались укладывать одним выстрелом. Просто так сильно не хотели войны, что страшились даже мысли о ней.

Молодость, однако, брала свое. Повозмущавшись и потревожившись, мы снова увлекались тем, что было тогда нашей жизнью: сдавали экзамены и сочиняли дипломные трактаты. По нашему убеждению, это были откровения, которые должны были потрясти мир, а потрясали только профессоров, да и то совсем по другим, чем ожидали мы, причинам. Бегали, обычно опаздывая, на свидания к своим нежно-застенчивым девушкам, и те великодушно прощали эти опоздания: выпускники!

В один из теплых июньских вечеров мы отправились в Химки под Москвой, чтобы отметить "выход в жизнь". За соседним столом в ресторане речного вокзала расположилась такая же шумливая группка. Молодые люди отвечали нам такими же вызывающе-самоуверенными взглядами, какие мы бросали на них. Они немедленно повторили наши заказы, только в большей мере, с явным желанием "переплюнуть" нас.

Общительность молодости скоро сломила жалкую перегородку напыщенного превосходства, которую по-мальчишески неумело пытались было воздвигнуть между собой обе группы. После нескольких примирительных шуток и взаимных тостов мы сдвинули столы, и в нашем углу сразу стало вчетверо шумнее.

Наши соседи - "инженеры-строители", как те именовали себя, хотя на самом деле были тоже только студентами-выпускниками, - громко крича и перебивая друг друга, начали красочно расписывать, что намереваются совершить. Это было откровенное хвастовство. Но какое хорошее, почти возвышенное хвастовство! Они изображали как вероятное и даже неизбежное то, о чем пока только мечтали. Какие уютные и красивые дома собирались подарить они людям! И какие замечательные улицы застроить и какие веселые города возвести!

Как во всякой компании, тут были говоруны, не дававшие другим слова сказать, были и молчальники, которые не решались рта раскрыть, если к ним прямо не обращались. Говорун - толстенький, круглолицый, очкастый, с громким хрипловатым голосом и кудахтающим смехом - не понравился мне, и я даже не спросил его имени. Молчальник, наоборот, заинтересовал меня. Это был рослый широкогрудый парень с продолговатым худым лицом, большими карими глазами, которые смотрели вопрошающе и несколько смущенно. "Вы все нравитесь мне, - будто говорили они. - Нравится мне и то, что тут изрекают, и если я молчу, то вовсе не потому, что не уважаю вас". Такие же

смущенные взгляды бросал он на свою маленькую хорошенькую соседку со сверкающе-черными глазами, точно просил прощения за то, что смотрит на нее свысока. На вопрос, как зовут молчальника, мой сосед, вихрастый, веснушчатый паренек с задиристым коротким носом и толстыми губами, ответил:

- Егор... Он же Георгий... Он же Юрка и Жорка Устругов...

Говорун, переставший вдруг разглагольствовать, услышал слова веснушчатого, повернулся в мою сторону и, кивнув на молчальника, бесцеремонно изрек:

- Георгий Победоносец... Силен, терпелив и упрям, как черт. Но звезд с неба не хватает и, наверное, никогда хватать не будет.

Устругов растерянно посмотрел на хулителя, а тот добавил веско и спокойно, словно речь шла о ком-то отсутствующем:

- Много костей и мяса, но мало серого вещества.

- Серое вещество у меня есть, - возразил Устругов таким тоном, будто хотел сказать, что понимает желание друзей пошутить, но считает, что те перехватывают через край.

- Но уж очень серое, - быстро парировал говорун, вызвав общий хохот, к которому присоединился и сам Устругов. Только его хорошенькая соседка вспыхнула и так сверкнула на остряка своими глазищами, что тот прикусил, хотя и на очень короткое время, язык.

- Странный какой-то этот ваш Устругов, - сказал я соседу, когда все увлеченно бросились в спор, какие науки лучше и полезней - точные или общественные. Тот немедленно встал на защиту товарища:

- Вовсе не странный. Он вялый немного, соображает не так быстро, как другие, но совсем неглупый и очень добрый...

Будущий строитель прилип к моему уху и минут десять доказывал, какой на самом деле хороший его товарищ-молчальник. Сильный, но робкий Устругов, по словам соседа, верил, что природа обидела его умом и ловкостью. Ни в школе, ни в институте не умел он, как другие, схватывать на лету чужие мысли и запоминать звонкие фразы, которые его однокашники тут же бойко пускали в оборот, наживая капитал ребячьего или девичьего восхищения. Он "вкапывался" в учебники, и процесс накопления знаний был у него трудным. Устругов завидовал друзьям-студентам, умевшим с глубокомысленным видом и жаром толковать о том, что знали, и о том, о чем имели лишь смутное представление. Сам ввязывался в эти споры редко и только тогда, когда приятели задевали то, что было дорого для него. Говорить об этом спокойно не мог, быстро раздражался, краснел и бросал на спорщиков ненавидящие взгляды, сжимая иногда кулаки. И те покидали его с презрением и страхом.

- С Уструговым нельзя разговаривать. Он готов изувечить инакомыслящих...

Рассуждал он часто совсем неглупо, но на колкости противников отвечать быстро не мог, терялся и замолкал. Должный, то есть острый, ответ созревал у него уже после того, когда надобность в нем миновала. Жестов своих он просто боялся: обязательно цеплял за что-нибудь, и вещи, как вспугнутые птицы, срывались при его приближении со своих мест и с грохотом летели на пол.

- Неуклюж он, это верно, - закончил свое повествование сосед, - но зато силен, как черт... По пяти человек на третий этаж поднимает. И если рассвирепеет, - а это с ним хоть и редко, но бывает, - тогда берегись... Черт, настоящий черт...

Неожиданно подняв глаза, я поймал взгляд Устругова, почувствовавшего, видимо, что говорят о нем. В его карих глазах мне почудился смиренный укор: "Ну, какой я черт? Не верь этим басням..." Я понимающе улыбнулся ему, и он ответил застенчивой улыбкой.

Перед тем как вернуться в Москву, все поднялись на крышу речного вокзала. Ночь была светлая, звездная. Через водохранилище, лежавшее внизу, вытянулась лунная дорожка, будто кто-то неведомый и великодушный, поняв наше возвышенное настроение, хотел помочь нам перебраться на ту сторону, в тихие поля, утонувшие в синем мраке. Все - притихшие деревья молодого парка за вокзалом, вздрагивающие звезды, яркие неоновые огни дальних маяков - было необыкновенно красиво и еще больше увеличивало радость, которая переполняла наши сердца.

Вернулись в Москву мы поздно, однако по домам не разошлись. Говорливой кучкой вылезли из автобуса на площади Пушкина, окружили памятник поэту, обнимали холодный и влажный мрамор, читали стихи, спорили о них, горячились и просто горланили.

Незнакомые еще несколько часов назад, мы настолько сблизились с "инженерами-строителями", что уже не хотели расставаться. Шумная ватага двинулась по бульварному кольцу. Скоро, однако, она распалась на группки, потом на пары и почти незаметно растеклась в разные стороны, едва добравшись до Трубной площади.

У Кировских ворот оказались только мы вчетвером: Устругов со своей до хрупкости стройной девушкой - ее звали Ниной - и я с Таней, филологом-первокурсницей, немного помешанной на стихах.

Остановились - две тесные пары друг против друга. Нина

прижималась к Устругову, спасаясь от ночной свежести. Лицо ее было бледно, и на нем особенно ярко выделялись полудужия бровей над провалами глаз да полные, как будто немного вывернутые губы.

Над черными деревьями бульвара, над тихими домами с распахнутыми окнами стояла большая луна. Бледный свет ее стекал по крышам и стенам, струился по окнам, лужицами собирался на мостовой, натертой шинами до стеклянного блеска.

- Какая ночь! Какая ночь! - восхищенно прошептала Таня.

- Удивительная ночь, - подхватил я. - Удивительная...

Устругов не отозвался, а Нина, вздрогнув, поежилась. Помолчав немного, Таня почти нараспев продекламировала:

Уже второй... Кругом такая тишь.
Ночь обложила небо звездной данью.
В такие вот часы встаешь и говоришь
Векам, истории и мирозданью...

После короткого ожидания аплодисментов, которые не последовали, она повернулась к молчавшей паре.

- Вы, конечно, не любите поэзию, инженер?

- Нет, почему же, - озадаченно пробормотал Устругов. - Я люблю поэзию, то есть не люблю, а - как вам сказать? - стихов я почти не знаю, но не отношусь к ним отрицательно.

- Скажите, какое великодушие! - воскликнула Таня. - Вы все-таки разрешаете другим читать стихи, а поэтам даже писать их?

- Да нет, вы не так поняли меня, - оправдывался будущий строитель. Я вовсе не хочу, чтобы другие спрашивали меня, любить им стихи или не любить. Каждому свое нравится. Я думаю, что поэзией можно увлекаться, а любить надо какое-то определенное дело. Чтобы результаты его можно было видеть, руками пощупать.

- Поэзия - тоже дело, - заметила Таня тем неопровержимо уверенным тоном, которым изрекаются обычно бесспорные истины. - И результаты труда поэта тоже можно в руках держать. Томик стихов, например...

- Конечно, - торопливо согласился инженер и, точно оправдываясь, добавил: - Понимаете, меня радует не то, как мысль человека укладывается в красивые слова и строчки, это естественно, а как мысль человека воплощается в дом, дворец, школу.

Таня засмеялась.

- Первый раз слышу о мысли, которая превращается в дом. Я думала, что для дома нужен кирпич, известка, потолки, двери, рамы...

- Верно, все это нужно, - не замечая насмешки, признал

Устругов. - И рабочие-строители нужны, и подъемные краны, и многое другое. Но вначале все же появляется идея дома, мысль о нем, и появляется она в голове инженера-строителя.

- Ну, теперь вы пропали! - с комическим ужасом воскликнула Нина. Разве можно при этом человеке упоминать о домах и стройках? Он может говорить об этом бесконечно и останавливается только тогда, когда слушатели покидают его. У нас только папа выдерживает его разговоры. Мы с мамой обычно бежим и прячемся в соседней комнате, пока он не кончит.

Все рассмеялись. Устругов прижал к себе подругу и приложил палец к своим губам, точно призывал к молчанию самого себя, но не утерпел:

- Нина права, очень права. По-моему, нельзя не говорить о любимом деле, как нельзя не думать о любимой девушке...

Нина недовольно двинула плечами, и строитель тут же осекся:

- Я молчу, молчу...

Летние ночи коротки. Рассвет застал нас на Чистых прудах. Мы видели, как черное зеркало пруда, у которого остановились, облокотившись на ограду, начало терять свой блеск, посерело, а потом покрылось рябью, точно кто-то дунул на него. Затем оно снова остекленело, постепенно меняя серый цвет на зеленоватый, а зеленоватый на сине-голубой. Мы видели в нем притихшие деревья, дома с открытыми окнами. Легкие занавески на окнах шевелились, словно от дыхания спящих, и мы старались говорить шепотом, чтобы не разбудить их.

Конечно, мы не знали, да и знать не могли, что в то самое время, когда мы остерегались потревожить утренний сон москвичей, вдоль западной границы нашей Родины уже бушевала война. Грохотали, сливаясь в сплошной разъяренный рев, тысячи пушек. Бесновались, захлебываясь огнем, пулеметы. Ругались, стонали, умирали сраженные сталью люди. На огромном пространстве от Балтики до Черного моря, от Буга до Днепра вздрагивала, колебалась и охала, принимая бомбовые удары, земля. Погребая под собой еще живых обитателей, рушились дома. Над городами и селами высоко трепетали красно-черные знамена страшного бедствия - войны.

Механизированная орда, пугающие слухи о которой так тревожили нас, ворвалась на нашу землю. Сколько бед, сколько трагедий, горя и боли принесла она в наши дома, в наши семьи!

Мы расстались на Чистых прудах, где жила Таня, договорившись встретиться в тот же вечер: было воскресенье, и ни Устругов и Нина, ни Таня и я не видели каких-либо помех нашему намерению.

Но уже во второй половине того дня я держал "помеху" в руках: четвертушку бумаги с короткими, потрясающе ясными словами приказа. Меня призвали, дав два часа на сборы и прощания, ночью посадили в эшелон и повезли. Москва уже была погружена во тьму, созданную теперь самим человеком. Во мраке лежали обычно пестро рассвеченные подмосковные поселки. В открытую дверь теплушки я видел черные дома, черные деревья. Над лесом, верхушки которого четко выступали на фоне звездного неба, неслась большая луна.

Пораженные неожиданностью и масштабом несчастия, мобилизованные молчали. Сердца наши горели от негодования и горечи, сжимались от тоски и боли, рожденной расставанием с тем, что было любо и дорого в нашей короткой жизни. Мы томились, страдали, мучились неизвестностью, которая лежала впереди, за той ночью. Верили, что ночь сменится утром, хотя не знали, да и не могли знать, где и как встретим его. Даже тогда мы понимали, что это необычная ночь и что дорога через нее будет долгой и трудной. Но все же мы не думали, что она уведет нас так далеко, потребует столько жертв и мук.

Несколько дней и ночей наш поезд пробивался на запад, к войне, которая катилась на восток, к нам. Мы боялись встречи с войной и стремились к ней. Всех охватывало нетерпение, когда эшелон застревал на станции или разъезде. Обгоняя нас, вперед уходили поезда с пушками и танками. Навстречу катились платформы с машинами и станками, теплушки с людьми. Все чаще попадались санитарные поезда с неистребимым запахом больницы. На лицах солдат, которые обгоняли нас, на лицах людей, ехавших на восток, было выражение напряженной сосредоточенности, будто все решали невероятно сложную задачу, от результата которой зависела их жизнь. Это была печать войны, неустранимая печать какой-то отрешенности от всего, что не было связано с нею.

За Смоленском мы покинули вагоны: поезд застрял на сожженной, с воронками вокруг, но все равно забитой станции. Еще несколько дней и ночей продвигались мы вперед вдоль дорог, захваченных военным транспортом. Теперь мы уже чувствовали и видели злобную руку врага: днем он бомбил и обстреливал дороги, заставляя нас искать защиты у матушки земли, ночью поднимал то впереди, то по бокам багровые полотнища пожаров.

Вражеская волна неслась на восток, захлестывая города, заливая равнинные просторы. В помощь измученным отступлением войскам бросались пополнения. Прикрывая отход, свежие части, подобно заслону, принимали удар волны и

сдерживали ее на какое-то время. Где-то между Оршей и Смоленском в роли этого заслона оказался наш полк. Продержав свои позиции несколько суток, он стал отходить. Моему взводу было приказано прикрывать саперов, которые отступали последними, взрывая станционные здания, водокачки, мосты.

Командовал саперами долговязый лейтенант, на обросшем и грязном лице которого выделялись только большие карие глаза. В них застыло недоумение, будто хозяин не мог понять, что же произошло. Глаза показались мне знакомыми, и, присмотревшись внимательнее, я узнал Устругова.

- Целую неделю рвем и разрушаем, - устало и зло сказал он, указывая рукой на станцию, над которой висело черное облако, поднятое взрывом. Мечтал строить, всю жизнь, как помню себя, мечтал строить. А вот, видишь, чем занимаюсь? Уничтожаю то, что другие построили...

Этот тихоня, робевший и боявшийся в Химках слово в свою защиту сказать, выругался вдруг с такой витиеватой смачностью, что я вздрогнул от неожиданности.

На другой день, раненный в обе ноги, я свалился у моста, который саперы приготовились взорвать. Устругов донес меня до грузовика, используемого вместо санитарной машины, и на прощание поцеловал шершавыми, как наждачная бумага, губами.

- Прощай, Забродов, - тихо сказал он. Помолчал немного, словно не знал, что добавить, потом сообразил, видимо, что слово "прощай" могло показаться странным, пояснил: - Сам видишь, обстановочка какая... Час проживешь - и то чудом считаешь. А ведь впереди не час, не день и не месяц даже. Прощай...

Да и мне думалось, что больше не увидимся: уж очень многих потеряли за короткое время. И все же я встретил Устругова, хотя в таком месте, что лучше было бы никогда не встречаться.

Вернувшись через несколько месяцев из госпиталя в действующую армию, я получил назначение в полевую разведку. Ходил с дозорами, устраивал засады и вылазки. Мы сталкивались и "схлестывались" с немецкими патрулями и разведчиками. Короткие схватки кончались по-разному: иногда враг убегал, иногда нас заставлял убегать, либо нам удавалось захватить "язык", либо приходилось возвращаться восвояси с пустыми руками, унося раненых.

Как это случается с разведчиками, немецкая засада подкараулила нас. Меня оглушили ударом по голове и скрутили, забив рот кляпом. Очнулся я в немецком блиндаже от острой боли в руке: мне жгли пальцы, чтобы привести в чувство. Те, кто захватил меня, спешили: на советской стороне чувствовалось большое движение, и немецкое командование хотело знать, что

там происходит. Я ничего не сказал, да и не мог сказать: не знал. Меня били, допрашивая в том блиндаже, били в штабе полка, затем в штабе дивизии, армии; били на всем долгом пути от родных мест до западногерманского городка Дипхольца, где находился лагерь военнопленных.

Там я вновь наткнулся на Устругова. Сначала ни я не узнал его, ни он меня: так изменились оба. Высокий, худущий, с длинными большими руками, он выглядел еще более неуклюжим. Сапер странно таскал ноги, будто их обременяла невидимая тяжесть. Лицо его стало суровым и неподвижным, как маска. Большие карие глаза, смотревшие раньше на мир то с благожелательным интересом, то с недоумением, казались пустыми, словно уличные фонари без ламп.

Окликнутый мною, Устругов долго всматривался в меня, узнал, наконец, и жалко улыбнулся.

- В-в-вот х-х-хорошо, что т-ты попал сюда, - сказал он, сильно заикаясь. Поняв, что сморозил чушь, с той же медлительностью стал поправляться: - Т-т-то есть п-п-плохо, что т-т-ты здесь... в этом лагере, то есть... что м-мы в-вместе...

Он совсем сбился и обескураженно замолчал, тиская мои плечи.

Когда я обратил внимание на то, что он говорит с трудом и ноги передвигает, будто глину месит, Георгий пожаловался:

- К-к-кон-т-тузия... Она п-п-прок-к-клятая меня сюда п-привела.

Он помолчал немного, точно отдыхая от речевого напряжения, потом, произнося слова реже и четче, добавил:

- Отпускать немного начала... А т-т-то совсем п-п-плохо говорил.

Староста барака, седоголовый майор с добрыми, печальными глазами и смешной фамилией Убейкобыла, охотно отвел мне место на нарах рядом с сапером.

- Попробуйте растормошить соседа, - посоветовал майор. - Скис он совсем. Холоден и мрачен, как потухшая головешка...

Сдержанный и молчаливый вообще, Устругов почти перестал разговаривать, хотя ему, чтобы одолеть заикание, следовало говорить как можно больше. Слушал, однако, охотно, кивал часто головой, то ли одобряя сказанное, то ли давая понять, что слушает.

Говорили больше о войне, о боях и поражениях, об умных маневрах и глупых промахах. Он согласился, что чем дальше залезут немцы на нашу землю, тем хуже будет для них. Однако лоб его тут же покрылся толстыми морщинками, брови наплывали на самые глаза.

- Болтали, что будем воевать на чужой, на вражеской земле, - медленно и трудно произнося каждое слово, напомнил он, - а пустили врага в самую глубь своей земли и даже великую стратегию в этом открыли.

- Поймали врасплох нас, не успели как следует подготовиться.

Георгию это казалось неубедительным, он еще более мрачнел.

- Готовились, готовились, а приготовиться не успели. Непонятно.

- Готовились к одному, оказалось другое; силы не рассчитали, технику новую не учли, - немного извиняющимся тоном ответил я, принимая и на себя часть вины за упущения.

- Оправдания ищешь?

- Теперь не оправдаешься. И не нам с тобой осуждать других.

- Почему?

- Потому что мы с тобой вышли из войны, предоставив другим воевать.

- Мы не по своей воле вышли из войны.

- Тем, кто остался на фронте, от этого не легче.

Устругов замолчал, закрыв глаза, тяжело вздохнул:

- Непонятно... непонятно...

Несмотря на внешнюю близость, сердце его оставалось закрытым. Он помогал мне, делился последним куском хлеба, но в душу не пускал. Даже посоветоваться не захотел, когда капитан Зубцов предложил обоим бежать. Несколько дней сапер сосредоточенно думал, вопрошающих глаз моих избегал и только в самый канун побега вяло сказал:

- Ладно уж... Как ты, так и я...

Дождливой осенней ночью мы один за другим протиснулись в заранее приготовленную дыру под стеной, пересекли речку, отрезавшую лагерь от городка, и двинулись на восток. Уйти далеко, однако, не удалось. Через несколько дней всех беглецов переловили и доставили в Дипхольц. Не вернулись только сам Зубцов да лейтенант Федоров: охранники застрелили их по дороге.

Всю группу - человек четырнадцать-шестнадцать - привели на берег речки, раздели и, дав в руки пояса, загнали в воду. Начальник конвоя, краснорожий, толстый коротышка-лейтенант, нацелил на нас автомат.

- Бейте друг друга!

Утомленные и посиневшие от холода офицеры переглянулись и сделали вид, что не поняли приказа. Лейтенант запустил очередь из автомата в воду, подняв частокол фонтанчиков рядом

с нами.

- Бейте, так вашу! - заорал он, извергая запас крепких словечек, которые хранил еще со времен русского плена в первую мировую войну. Перестреляю чертей, как водяных крыс!

Неудачливые беглецы с тоскою посмотрели друг на друга, на близкий берег, где у самой воды стояли с автоматами наготове охранники, а за ними - выстроенные в четыре ряда обитатели лагеря. Мы не решались оглянуться на другой берег, усыпанный враждебно гомонящей толпой.

Лейтенант приподнял ствол автомата так, что его одинокий зрачок уставился прямо в наши лица.

- Бейте же, черт вас побирай! Поучите друг друга, как из лагеря бегать!

Один из офицеров поднял ремень и легонько опустил на плечо товарища. Тот так же осторожно ударил в ответ. За ними обменялись ударами вторая пара, третья, четвертая.

- Бить как следует! - завопил краснорожий. - Бить без никакой фальшь!

Удары стали звонче и больней. Пары начинали злиться и стегать с размаху. Это вызвало презрительный свист в рядах военнопленных и довольный гогот на другом берегу.

Против меня стоял Устругов: коротышка ожидал особого удовольствия оттого, что приятели или соседи будут пороть друг друга. Не сговариваясь, мы не подняли ремни даже "для отвода глаз". Лейтенант заметил это и, подойдя поближе, поманил автоматом к себе. Четверо рослых охранников вырвали пояса из наших рук, сбили с ног у самой воды и так исколотили, что я уже ничего не помнил и не знал, чем кончилась эта позорная порка. Через несколько дней Устругова и меня доставили в концлагерь Бельцен.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Партию новых заключенных выстроили перед "административным блоком". Комендант - тогда мы еще не знали ни его имени, ни повадок - пробежал вдоль шеренги, остановился в дальнем конце, потом медленно двинулся назад. Изредка задерживался, чтобы рассмотреть тех, кто имел несчастье привлечь его внимание. Остановился он и перед Уструговым. Смерив его взглядом с головы до ног, Дрюкашка ухмыльнулся и, сделав шаг вперед, ударил тростью по глазам. Мой друг взметнул руку, вырвал трость и, сломав в своих сильных пальцах, отбросил в сторону.

Комендант отпрянул назад, взвизгнув:

- Ах ты, швайн! Ты портить мою дорогую вещь!..

Он сунул руку в карман брюк, где держал пистолет, но

вытащить сразу не смог. Не отрывая от Георгия неподвижных, словно остекленевших, бесцветных глазок, торопливо дергал застрявший пистолет.

- Сейчас, швайн, сейчас...

- Не стреляйте его, герр штурмбанфюрер, - выкрикнул по-немецки толстоплечий и крупнолицый охранник. - Он ищет легкой смерти.

Комендант резко повернулся.

- Вас? Что ты сказал? Легкий смерть... Какой легкий смерть?

Вместо ответа охранник вытянул перед собой огромный кулачище, оттопырил указательный палец, затем согнул, будто нажимал гашетку. Дрюкашка понимающе кивнул и погрозил Устругову пальцем.

- Не будет тебе легкий смерть.

Потом, обращаясь к охране, закричал:

- Повесить этот швайн. Зофорт! Сей минут!

Но через несколько минут новая мысль осенила его голову.

- Не вешать этот швайн сейчас. Бить его, чтобы лежачим стал. Поднимется на ноги - еще бить, еще поднимется - опять бить. Потом повесим.

Этот произвол возмутил, конечно, всех, но не удержался только я и закричал, что коменданту не миновать расплаты. Тот удивленно посмотрел на меня и оскалил зубы, точно получил неожиданный подарок, и махнул охранникам:

- И этого...

Затем, шествуя, как на параде, вдоль шеренги, совал кулаком в лайковой перчатке в сторону выбранных и тут же осужденных им людей:

- И этого... и этого... и этого...

Толстоплечий обладатель огромного кулака сказал что-то другим охранникам, показав на Устругова. Те изучающе и одобрительно осмотрели его. Один из охранников протянул толстоплечему руку, а другой ребром своей ладони разрубил их рукопожатие. Они держали какое-то пари. Самодовольно осклабившись, толстоплечий направился к Георгию, постоял немного, потом коротко размахнулся, будто загребая что-то из-за спины снизу, и ударил его в подбородок. Устругов охнул, откинув резко голову назад, отступил, но на ногах удержался.

Охранники засмеялись.

- Проиграл, проиграл! - выкрикнул кто-то из них. - Готовь бутылку коньяку...

Мы не понимали ни причин смеха, ни выкриков. Мы видели, как толстоплечий, расставив ноги покрепче, снова размахнулся и ударил моего приятеля, вложив в удар силу и вес своего крупного

тела. Георгий опять устоял. Это вызвало еще больший хохот и крики:

- Две бутылки коньяку!.. Две бутылки!.. Две, две...

Охранник бросился на Устругова, свалил на землю и стал топтать ногами, матерясь и приговаривая:

- В гроб загоню! Червей кормить будешь! Будешь... будешь...

И тяжело дышал и стонал, точно не он, а его избивали.

Позже, узнав, о чем держали пари охранники, мы не раз говорили, что кулаки Гробокопателя - так звали его заключенные - принесли моему другу много боли, но спасли жизнь. Физически очень сильный, но тупой и злобный охранник хвастал, что одним ударом собьет с ног и вышибет память из любого заключенного. Он предлагал своим товарищам пари и всегда выигрывал. Это было нетрудно: истощенные голодом и побоями заключенные были слабы. Не сбив Георгия ни с первого, ни со второго удара, Гробокопатель выставил две бутылки коньяку и предложил повторить пари. Он уговорил Дрюкашку не вешать Устругова. Как только избитый поднялся на ноги, охранник, надеясь отыграться, снова попробовал свои кулаки. Не сумев бросить Георгия на землю с первого удара, опять избил. Это повторялось много раз. Гробокопатель позволял заключенному поправляться и даже интересовался его здоровьем, чтобы через некоторое время снова испытать силу своего удара.

Мы понимали, что как только Гробокопатель выиграет пари, он перестанет беречь Устругова, и его отправят на виселицу. Почти всем бараком помогали Георгию набрать побольше сил. Провожая на тяжкое испытание, просили:

- Держись, Егор, крепче держись... Выдержи удар... Только один... Понимаешь, один...

Георгий понимал, что значит для него выдержать первый удар. И держался!

В тот первый день, проиграв пари, Гробокопатель обрушился на новых заключенных с особым ожесточением. Избитых и обезображенных, нас с Георгием приволокли в барак штрафных. Первое, что увидел я, очнувшись, была большая толстая петля, заглядывающая в окошко. В сером предвечерии непогожего дня она походила на руку смерти со скрюченными пальцами. И когда в поврежденном сапогами охранников горле перехватывало дыхание, казалось, что эта рука проникает сквозь окно и душит, душит...

Ослабевала боль, становилось легче дышать. Открыв глаза, я опять видел заплаканное окошко, за ним петлю. Толстые ноги виселицы стояли в середине залитой дождем площадки, которая замыкалась со всех сторон черными низкими, будто вдавленными

в мокрую землю, бараками. Это было все, что осталось мне от большого красочного мира. И даже это оставалось на несколько дней. Надеяться было не на что и ждать нечего. Это был конец. Я настолько верил в него, что невольно прошептал:

- Конец... конец...

- До конца еще далеко, брате мой, если человек сам говорит "конец", возразил кто-то.

Оторвав глаза от окошка, я увидел прямо над собой изуродованное лицо. На худых, ввалившихся щеках, будто кляксы, расплывались синяки и кровоподтеки, большой, рано облысевший лоб бороздили шрамы, разбитый нос распух, став толстым и темным, как испеченная в костре картошка. Наверное, человек заметил испуг в моих глазах.

- Страшно?

И сам же ответил:

- Да, разукрасили, постарались.

- Охранники?

- Кто же еще?

Он вытер мокрой тряпкой мой лоб, затем осторожно поправил рассеченное плечо. Хмуро рассматривая шею, сосед тихо ронял:

- Им нравится калечить людей. Это Дрюкашка "смягчает" новых заключенных, чтобы его боялись и послушней были.

- Всех он так встречает?

Сосед утвердительно кивнул головой.

- Почти всех. Правда, вас с товарищем отделали сильнее, чем обычно. Приятель твой трость коменданта сломал, а тот с ней не расставался: признак благородного происхождения. Вам еще повезло. Он мог пристрелить обоих там же.

- А чем это лучше? Тут ведь сколько мук еще примешь, а конец-то все равно один... Через день-два грозят повесить.

Склонившийся надо мной вздохнул, помолчал немного и, будто обнадеживая, заметил:

- Тут есть люди, которые по два месяца и больше живут.

- Живут? По два месяца живут? А их тоже грозили повесить?

- Грозили.

- Как же это происходит?

- А черт их знает!.. Одних, видно, для чего-то иного берегут, про других, может, забывают.

- Нас этот - как ты его назвал? Дрюкашка? - не забудет.

- Может, и забудет.

- Забудет на день, на два, на неделю, на две даже. А дальше-то что?

- Выиграть полмесяца жизни, брате мой, - великое дело. За

полмесяца многое может произойти.

- Что может случиться в этом лагере?

- Многое... И в этом лагере и за его оградой. Главное - не сдаваться и не терять надежды.

- На что надеяться-то?

Сосед уставился своими большими серыми глазами в окошко, помолчал, так и не найдя ответа, потом снова склонился почти вплотную к моему лицу.

- Надеяться обязательно надо. Надежда - это, брате мой, как далекий огонек для путника, потерявшего дорогу в непогожей ночи. Путник пойдет на этот огонек и будет идти и идти, пока не доберется до него. Где огонек, там людское жилье, там спасение. Погаси огонек, и человека охватит страх или еще хуже - отчаяние.

- Понимаю... Надежда ради надежды... Огонек сам по себе...

- Может быть, и так, может быть, и так, - быстро отозвался сосед. Потеряет человек надежду - перестанет выход искать. А ведь нет такого тупика, из которого не было бы выхода.

Я всмотрелся в склоненное надо мною лицо. Истощенное и измученное, оно не вдохновляло. В больших серых глазах не было ничего, кроме тоски. Они, как показалось мне тогда, давно погасли. Нет, впереди у нас ничего не было. Только вот эта залитая дождем площадка с черными бараками вокруг, виселица с огромной перекладиной, вознесенной к низкому небу, да петля, готовая постучаться в заплаканное окошко.

Видимо поняв мое состояние, сосед осторожно, даже нежно погладил мои плечи.

- Не сдаваться и не терять надежды, брате мой... Слышишь? Не сдаваться!

Жизнь и надежда неразделимы: пока человек живет, он не может не надеяться. Не отказался от надежды и я. И чем безвыходное казалось положение, тем сильнее надежда. Я хотел жить. Я очень хотел жить! Поэтому готов был надеяться на счастье, на удачу, верить в случай, в чудо.

В те дни худое, с кровоподтеками и шрамами лицо не раз склонялось надо мною. После этого почти всегда становилось легче: раны и ссадины горели тише, лежать было удобнее, жажда томила меньше. Скоро я знал, что человека, который обмывал мои раны, поил и кормил, именовали Василием Самарцевым, хотя почти все звали его просто "Вася". Двигался Вася быстро, легко, словно не касался земли, говорил звонко, отчетливо, с ясными, почти артистическими интонациями.

Мне крепко запали в душу его слова, что нет такого тупика, из которого не было бы выхода. И я искал его. Искал все время. Трудными днями, отрываясь на минуту от рабской тачки,

долгими ночами, просыпаясь от тяжелого сна. Сколько раз мысленно перелетал я через ограду концлагеря, туда, где люди были свободны, где они могли передвигаться, действовать по своей воле! Даже забывал при этом, что и по ту сторону проволоки лежала большая враждебно настроенная страна. У меня не было тогда ничего, кроме надежды. Зато какая сильная, неодолимая это была надежда!

Вася Самарцев укрепил ее, дав моим мечтам и надеждам направление и возможность действовать. Узнав, что я учил в средней школе немецкий язык, а в институте занимался французским и английским, он посоветовал сблизиться и как можно чаще беседовать с людьми, говорящими по-немецки, французски и английски.

- Мы находимся в Европе, брате мой, - напомнил он, - и, когда окажемся на свободе, иностранный язык очень пригодится. Язык - это путеводитель, это средство пропитания и еще многое. Для нас язык, брате мой, - очень нужное оружие...

Я взялся за овладение этим "оружием". Постоянно и бессовестно надоедал соседям-иностранцам: чеху Прохазке, голландцу Хагену, французу Бийе и бельгийцу Валлону. Не оставлял в покое даже молчаливого и надменного англичанина Крофта. Сначала Самарцев наблюдал за моим старанием с одобрительной усмешкой. Вскоре, однако, ему пришлось умерить мое рвение: оно могло вызвать у охранников подозрение.

- Чтобы трудное дело сделать, - заметил он, - одного усердия мало. Нужны еще терпение и осторожность.

Он остановился на короткое время, улыбнулся и добавил:

- И, брате мой, настойчивость...

Это "брате мой" или "брате мои" Вася вставлял в разговор часто, но редко случайно, как делают многие страдающие от навязчивых слов. Призывом к "брате" он обращал внимание на особую важность того, о чем шла речь.

Я так и понял, что настойчивость важнее, чем усердие, терпение и осторожность. Я учился терпению, хотя это было трудно, осторожности, требующей дисциплины и хитрости, и готов был доказать свою способность к настойчивости, проявить которую не мог.

Прошло еще несколько недель, прежде чем я услышал от Самарцева слова, заставившие мое сердце забиться сильнее от радости и тревоги.

Перед вечером одного тяжелого дня Вася и я оказались в дальнем углу песчаного карьера, где работали. Мы были подавлены и молчаливы: в тот день охранники застрелили трех заключенных. И вдруг Самарцев, продолжая грузить тачку,

спросил:

- Готов рискнуть, чтобы вырваться отсюда?

Я выпрямился и обрадованно согласился:

- Готов! Хоть сейчас готов!

- Не разгибайся, не разгибайся! - шепотом приказал он. - Не привлекай внимания того черта, что над нашими головами, на краю карьера, стоит.

Я усердно заработал лопатой.

- Только как отсюда вырвешься? Как?

- Придет время, за оградой лагеря окажемся, - ответил Вася. - А там сумеем от конвоя избавиться, если заранее все продумаем и ко всему приготовимся.

Точно сказав последнее слово, он схватил тачку и погнал по доскам наверх. Я последовал за ним в бесконечной веренице тачечников.

Вернувшись с пустой тачкой в тот же угол, я попытался возобновить разговор, но Самарцев тут же прекратил его и взял с меня слово ни с кем не говорить об этом и никогда не упоминать слова "побег".

Лишь убедившись, что я могу терпеть, быть осторожным и держать язык за зубами, он познакомил меня с товарищами по замыслу.

Первым оказался, как я и предполагал, Алексей Егоров. Для своих двадцати трех лет этот парень был необыкновенно зрелым физически и умственно. Он отличался стариковской сдержанностью, чувства свои выражал не словами, в которых почти всегда испытывал недостаток, а действием. Был смел и решителен, с необычайно развитым чувством долга.

- Раз это нужно, - говорил он обычно, - я сделаю. О чем тут толковать: нужно - значит нужно. И все. Я ведь коммунист...

Это "и все" произносил Егоров часто, выражая неясные мысли, которые бродили в голове, а на язык пробиться не могли. К товарищам, которым верил, а верил он не многим, привязывался сильно и во имя дружбы не жалел ничего и никого, даже себя. Он и в концлагерь-то попал за то, что хотел спасти от расстрела своего комиссара. Когда пленных построили и приказали комиссарам и политрукам сделать пять шагов вперед, Алексей вышел. Думал, что заберут его, оставив пожилого семейного комиссара в покое. Тот, однако, не удержался и тоже выступил из шеренги. Комиссара расстреляли, а избитого Егорова бросили в концлагерь.

Максима Медовкина, который был вроде помощника Самарцева, хотя и старался скрывать это, я отнес к числу участников замысла также до того, как Вася назвал его.

Словоохотливый Максим был непоседлив: часто переходил от одних нар к другим, от человека к человеку.

- У тебя шило, что ли, в известном месте? - спросил его как-то медлительный Егоров. - Что ты все время мечешься, минуты не можешь посидеть?

- Не шило у меня, а хуже, - отвечал Максим. - Шило выдернуть можно, а то, что во мне сидит, не выдернешь...

Непоседа был хитер. В течение дня успевал задержаться на минутку-две почти около каждого обитателя барака (кроме иностранцев, с которыми объясняться не мог), обменяться парой фраз, тряхнуть по-приятельски за плечо, сбалагурить или хотя бы дружески подмигнуть. Он знал не только всех, но и, наверное, все о каждом. Его знакомства в других бараках были многочисленны, и он приносил новости из всех углов лагеря. Каким-то непостижимым для нас путем Максим узнавал даже о ночных оргиях, которые устраивал Дрюкашка с девушками из женской охраны, и мог уже на другой день рассказать об этом с мельчайшими подробностями.

Как вполне естественное принял я известие, что в группу входит бывший капитан Жариков. Угрюмый и молчаливый, этот кадровый офицер был очень замкнут. То ли ход войны, то ли плен и концлагерь раздавили в нем все человеческое, и он будто одеревенел. Свое прошлое Жариков берег с болезненной настороженностью, на вопросы о нем отвечал таким хмурым и враждебным взглядом, что никто не отваживался настаивать на ответах. Было ясно, что у него есть какое-то свое, особое, личное несчастье.

Несколько удивило меня и даже обеспокоило признание Самарцева, что в замысле участвуют музыкант Миша Зверин и колхозник Павел Федунов. Этих совершенно разных людей сроднила общая ненависть к врагу.

Молоденький, еще по-мальчишески узкоплечий и тонкий бывший пианист быстро переходил от жалкого уныния к вызывающей бесшабашности. Временами Миша ходил, опустив голову, и, шепча что-то про себя, смотрел вокруг потухшими глазами, будто покорился своей участи. А то вдруг начинал посматривать на охранников с петушиным задором, точно собирался сию минуту броситься в драку. Раз даже подобрал кирпич и вскинул руку, чтобы запустить в охранника, стоявшего спиной. Егоров вовремя схватил его, будто обнял. Обернувшийся эсэсовец заметил только это и топнул ногой.

- Стоп обниматись! Ви не бап, чтоп обниматись!

Незаметно вырвав кирпич, Алексей отпустил задыхающегося от злости Зверина.

- Себя не жалеешь, о других подумай, - шепнул он. - Этот мясник запустит из автомата сразу по всем, а за твою глупость умирать никому не хочется...

После дикой расправы с поляком Стажинским Миша задумал убить коменданта, но не знал, как это сделать, и приставал то ко мне, то к Васе Самарцеву:

- Скажи, ну, скажи, пожалуйста, как до Дрюкашки добраться? Я на все готов, только бы его пристукнуть удалось.

Мы то уговаривали его, советуя держать себя в руках, то ругали. Зверин обиженно замолкал, отходил в дальний угол и долго сидел, не двигаясь и не поднимая головы. Потом срывался с места, метался по бараку, переходя от одних нар к другим, и снова останавливался перед нами.

- Ну как же этого мерзавца достать?

В один из тех дней он вернулся в барак возбужденный и растерянный. Торопливым шепотом, точно передавал важный секрет, рассказал Самарцеву и мне, что после избиений новичков Дрюкашка отправился в "административный блок" и почти тут же из его окна донеслась музыка.

- И знаете, - еще тише добавил Миша, - это была хорошая музыка. Настоящая музыка, можете поверить мне, я-то в музыке разбираюсь.

Способный музыкант, старательно и мягко доказывавший нам, что музыка способна проникать к глубинам лучших чувств человека и будить их, пианист не мог понять, как совмещает Дрюкашка жестокость с любовью к музыке.

- Садист он, Миша, - отозвался Самарцев, положив руку ему на плечо. А садисты любят это: музыку после истязаний слушать, об искусстве со своими жертвами разговаривать, пейзажики рисовать или чужие коллекционировать. Психопат этот Дрюкашка, и больше ничего...

Едва остынув от злобного возбуждения, Зверин сникал и долго не поднимал глаз. А когда поднимал, они казались погасшими.

Злость и ненависть Федунова к немцам не утихали ни на минуту.

По пути в немецкий тыл колонна пленных прошла через его деревню, и Павел увидел на месте родной избы лишь фундамент да почерневшую печь. От старухи соседки, подававшей пленным воду и картошку, узнал, что отец и мать погибли тут, а сестренку угнали в Германию. Озлобленный и без того, он ожесточился до крайности. Иногда Федунов показывал себе на грудь:

- У меня сердце горит, будто в него нож всадили да там насовсем и оставили...

Он трижды бегал из плена. Его ловили, били и, наконец, бросили в концлагерь.

Лишь после того как меня познакомили с участниками замысла, а те признали меня "своим", решился Самарцев поговорить о моем приятеле.

- Ты давно знаешь Устругова? - спросил он меня.

- Нет, не очень давно. А что?

- Какой-то он странный, непонятный, - проговорил Вася, почти повторяя мои слова о Георгии, сказанные в вечер первого знакомства в Химках. Силища в нем огромная и упрямство просто необыкновенное. Гробокопатель руки об него обломал, а он все держится. Как репей у Толстого. Помнишь в "Хаджи-Мурате"? Его и рубили, и рвали, и колесом переехали, и внутренности вывернули, а он все стоял и стоял. Так и Устругов. Но какой же неповоротливый! Прямо паровой каток. А лицо? У этого никогда не надо спрашивать, как чувствует себя или что думает. Все на лице, как на вывеске, написано.

- Не умеет хитрить и притворяться, - вступился я за друга. - Не привык еще, жизнь мало видел... Но вообще-то толковый парень и товарищ хороший. Друзей никогда не подведет...

Самарцев помолчал немного, потом придвинул свое лицо еще ближе.

- Сознательно - не подведет. А невольно?

- Думаю, и невольно не подведет.

- Нужно не думать, а твердо знать.

- Не подведет. Уверен, что не подведет.

Еще немного помолчав, Василий, словно думая вслух, сказал:

- Он очень мог бы пригодиться. Только бы к силе его проворства да смышлености побольше.

- Он проворен, когда надо, - подхватил я. - Я видел, как он на фронте действовал. Сначала думаешь, вот тихоход попался, а присмотришься внимательнее, завидно становится: неторопливо у него все, да споро.

Хитровато сощурив глаза, Самарцев посмотрел на меня и легонько хлопнул по плечу.

- Правильно, Костя, делаешь, что за товарища крепко держишься. Дружба без веры друг в друга - пустоцвет, плодов у нее никогда не будет.

Однако несколько дней спустя Вася подошел ко мне со сжатыми губами и каким-то необычно колючим взглядом: верный признак неудачи, обиды или раздражения.

- Дружок-то твой отмолчался, когда я насчет побега спросил его.

- Может, просто не расслышал. Или не понял.

- И расслышал и понял. Посмотрел на меня отчужденно и отвернулся.

- Я поговорю с ним, я сам поговорю с ним, - пробормотал я.

Самарцев положил руку на мое плечо и стиснул.

- Нельзя. Этого делать нельзя. Он не должен знать никого, кроме меня...

Но Устругов сам заговорил со мной. После неудачного побега из лагеря военнопленных он не хотел "пробовать еще раз".

- Авантюра это, - уныло пробормотал Георгий. - Авантюра...

- А тут быть не авантюра? Они же могут в любой день выполнить свою угрозу и повесят.

- Могут, конечно, - бесстрастно согласился он и совершенно обреченно добавил: - Да теперь уж все равно.

И мне пришлось снова, как в лагере Дипхольца, долго говорить с ним, чтобы вызвать интерес к побегу.

- Что же, я - как все, - вяло сказал Георгий. - Если ты и другие наши за побег, я - тоже... Я - как все...

У молодости больше отваги, чем мудрости, больше решимости, чем терпения. Мы видели только риск там, где таилась серьезная опасность. Еще не знали того, что умение видеть вещи и события такими, какие они есть, дается лишь опытом, а опыт - возрастом. У нас не было опыта, и в счастливом неведении мы легко разрубали запутанные узлы и преодолевали неодолимые препятствия.

Все ждали возможности вырваться на волю с мучительным нетерпением, но сдерживались. Однако Зверин и Федунов иногда взвинчивали других, и мы тоже готовы были действовать очертя голову. Едва оставались одни, Миша начинал приставать к Самарцеву, чуть ли не беря его "за грудки".

- Ну, когда же? Когда?

Василий советовал ждать. Это вызывало у пианиста ярость.

- Чего ждать? Когда нас всех перевешают? Или в "медицинском блоке" уморят? Мы не можем ждать долго, не можем.

Самарцев осторожно отводил его руки.

- Должны ждать, брате мой. Должны ждать, когда за лагерем окажемся. Отсюда нет надежды вырваться.

- Да не можем мы ждать.

- Точно, не можем, - поддержал Федунов. - Лучше попробовать рвануться отсюда - и будь что будет! А тут поодиночке всех передушат.

- По одному не скоро перебьют, - убеждал Самарцев, - а так сразу всех уничтожат. Это, брате мои, массовое самоубийство.

В конце концов, покипев и побурлив в своем тесном кружке,

мы спускали пары нетерпения и следовали совету ждать. Тогда мы крепко дружили. И хотя в настоящей дружбе не может быть ни старшинства, ни подчинения, Василия считали старшим. По годам этот большеголовый и большеглазый парень был ровесник Медовкину и мне и значительно моложе Жарикова. По званию капитан был также старше его. И все же, не голосуя и даже не обмениваясь мнениями, мы избрали своим руководителем именно Самарцева. Были искренне убеждены, что он знает больше, понимает лучше, видит дальше, чем знаем, понимаем, видим сами.

Однако даже самый популярный руководитель не может не вызвать сомнений, а затем недовольства и осуждения, если проповедует только терпение и выжидание, то есть бездействие. И участники замысла все чаще посматривали на него с упреком, шептались осуждающе за его спиной.

Особенно злился Федунов. Не осмеливаясь выложить свое недовольство при всех, он старался поодиночке убеждать, что "Самарцев хорош только на словах, а на деле трусоват".

- Одним словом, интеллигент.

Этого Федунову показалось мало. Брезгливо оттопырив губы, он раздельно изрек:

- Ин-тел-ли-ген-тик...

Старая неприязнь, которую питал этот деревенский парень к интеллигентам, нашла, наконец, выход. Он считал всех интеллигентов белоручками и бездельниками. Слишком много говорят, вместо того чтобы дело делать. Ломают голову над тем, что казалось ему ясным как божий день. Нарочно запутывают простое, делают понятное туманным, чтобы только было о чем языки почесать и ум свой показать. Сам Федунов спорить не мог: не находил нужных слов.

Эта неприязнь к интеллигентам, насколько я мог понять из его скупых и невнятных рассказов, появилась у Павла года за два до войны, когда соседская Маняшка, с которой он дружил с детских лет, вдруг вышла замуж за инспектора районо - тощего, худолицего и очкастого. Мать Маняшки, хвастаясь зятем, говорила:

- Ну как есть антилигент со всех сторон... И образование у него как есть самое наивысшее.

- Не самое наивысшее, - поправляла дочь, - а просто высшее.

Мать снисходительно улыбалась, но не отступала:

- Знаю, ты у меня скромница... А все-таки и по виду и по речам образование у него как есть самое высшее...

Зять был действительно учен и культурен, разговаривал со всеми до тошноты вежливо: "будьте добры", "пожалуйста",

"благодарю вас". И чем вежливее обращался он с соседями Маняшки, которую звал завидно хорошо и нежно Машенькой, тем больше ненавидел Федунов "антилигента". Простой в мысли и прямой в действии, он открыто показывал свою неприязнь к людям, умеющим произносить нежные женские имена и красивые речи.

- В языке-то кости нет, вот они и болтают разное, - осуждающе бормотал он. - А на дело у них жила слаба, дело другим оставляют, пусть, дескать, попотеют за нас...

Наскоки на интеллигентов вызывали у меня усмешку: хотя отправился на фронт прямо со студенческой скамьи, я относил себя к их числу. Павел великодушно соглашался исключить меня из этой сомнительной категории.

- Ты тоже любишь язык почесать, - сказал он снисходительно, - но тебя это еще не совсем задавило. Да и говоришь ты без выкрутасов, понять можно.

Мне казалось, что наибольшей симпатией должен был пользоваться у него Устругов. Но когда зашла речь о Георгии, Федунов скривил губы, будто их ломтиком лимона мазнули.

- Молчит твой Егор много - это хорошо, - одобрил он, - а вот как стих на него найдет, так только о своей невесте говорит. И такая она у него распрехорошая, и уж умница - не приведи бог, и доброты-то неслыханной, и красоты невиданной. Ей-богу, слушать противно... Девка, наверное, как все девки: голова, руки, ноги, ну, и все остальное, что девке положено. А ведь он так ее расписывает, точно одна на всем свете... Обидно, что такой здоровяк из-за бабьей юбки себя до такого низменного уровня доводит! Не жалко было бы, если б хлюпик какой такие речи говорил. А то ведь мужик посмотреть радостно: богатырь! Настоящий богатырь!..

- По-твоему, настоящему мужчине и девушку любить нельзя?

Федунов озадаченно вскинул на меня свои небольшие, глубоко сидящие глаза:

- Почему же нельзя? Любить можно. Только слюни распускать и сюсюкать, какая моя Ниночка хорошая, какая красивая, какие у нее черные глазки и кругленький задок, не надо. Знай про себя да помалкивай. Уж очень вы, интеллигенты, любите хвастаться всем: мыслишка заведется - весь вечер проболтать можете, девушка появится - житья соседям годы давать не будете...

- Да ты, оказывается, злой, Павел!

Он огрызнулся:

- Зато вы тут добрые и храбрые! Особенно Самарцев.

Его намеки на трусость Василия не принимались всерьез. Мне тоже не нравилось беспомощное ожидание случая, но нужно было

терпеливо ждать.

Эта готовность терпеть подверглась вскоре горькому испытанию. Однажды утром охранники забрали и увели куда-то непоседу и балагура Медовкина. Мы ждали его целый день, ночь и еще день. И, наверное, долго бы ждали, как ждут пропавших без вести, если бы знакомый Егорова из соседнего барака не рассказал, что посиневшее и изувеченное тело Максима зарыли в дальнем углу лагеря.

Насильственная смерть была в лагере обыденным явлением. Она не вызывала ни особого удивления, ни сильного страха. Конечно, неизвестность пугала и не могла не пугать. Но порою эта неизвестность и даже возможная гибель представлялись менее ужасными, чем жизнь в лагере. И все же, когда смерть вырывала кого-нибудь близкого, она угнетала, заставляла содрогаться.

В тот вечер мы не собрались у нар Самарцева, как обычно, а по одному сползлись к Жарикову. Долго сидели молча. Мысленно мы хоронили верного и нужного друга. Как часто бывает, только теперь почувствовали, какого хорошего парня лишились. Не стало человека, которого иногда иронически, часто с восхищением называли "лагерной газетой". Его смерть напомнила, что наши жизни зависят от дикой воли коменданта-садиста и каждый мог отправиться за Максимом в любую минуту.

- Нет, мы не можем больше ждать, - шептал едва слышно Зверин, опустив голову. - Не можем, не можем...

Егоров положил ему на плечо руку и встряхнул:

- Держись! На тебя англичанин смотрит.

Миша вскинул голову и злобно посмотрел на Крофта, стоявшего в двух шагах.

- Пусть смотрит! Я не могу больше, не могу...

Своей широкой спиной Федунов загородил товарища, шагнул к англичанину.

- Что нужно? Хочешь посмотреть, как русские по своему товарищу горюют? Слезами нашими полюбоваться захотелось?

Крофт не понял, конечно, ни слова, хотя почувствовал неприязнь. Тем же равнодушно-презрительным взглядом смерил Павла, пожал узкими плечами и повернулся спиной. Он подошел к Самарцеву, одиноко сидевшему на своих нарах, и опустился рядом.

Федунов показал на них и сплюнул.

- Видите? Вон какие теперь у Самарцева дружки завелись.

Никто не отозвался. Только Зверин, вперив глаза в пол и тихо раскачиваясь всем корпусом, продолжал шептать:

- Не можем мы ждать, не можем...

- Что точно, то точно: ждать нельзя, - значительно громче

подхватил Павел. - Дрюкашка зароет нас в землю по одному раньше, чем мы за проволокой той окажемся.

- Ждать не можем, но и сделать ничего не можем, - резко сказал Жариков. - Ничего!

- Ничего? - переспросил Федунов. Он осмотрел злым, почти ненавидящим взглядом Жарикова, меня и смачно выругался: - Командиры, черт вашу... Не можем да не можем... Ничего другого сказать не знаете... Ведь вас учили, денег кучу потратили, а вы, как кроты, все равно ничего не видите. Не можем... Это и дурак скажет... А вы скажите, что можем. Должны сказать, вы же командиры... так вашу перетак...

И он захлебнулся витиеватым ругательством.

Подошел Василий и втиснулся на нары между Звериным и Егоровым. Некоторое время сидели молча. Потом Федунов вскочил и стал перед Самарцевым.

- Ну что, Васька, и теперь будешь советовать ждать и терпеть?

Тот поднял на него потускневшие глаза.

- Да, и теперь...

Павел начал быстро краснеть: он всегда краснел, когда злость достигала степени бешенства. Перейдя на свистящий шепот, снова выругался забористо и грязно.

- Не хочешь ничего делать, убирайся! Командир... Ты не командир, а тряпка!

Устало, больше с досадой, чем обидой или недовольством, посмотрел Василий в искаженное злобой лицо Федунова, перевел глаза на Жарикова, Егорова, на меня. На наших лицах не было ни злобы, ни ненависти. На них была тревога и безнадежность, близкая к отчаянию. Мы не хотели и не могли гнать его. Наоборот, чем хуже становилось наше положение, тем больше веры было к нему. Никто из нас не видел, не знал выхода, и нам хотелось верить, что Вася знает выход и что он требует терпения, чтобы приготовить что-то верное, безошибочное. Солги он, сказав что-нибудь обнадеживающее, мы бросились бы качать его. Но Самарцев не хотел лгать и обнадеживать.

- Со мной можете поступать, как хотите, - сухо и даже жестко сказал он, - а вырываться отсюда пока не пытайтесь. Это, брате мои, самоубийство. Бессмысленное самоубийство... Ничего другого сказать не могу, только ждать, брате мои, только ждать... И готовиться к тому, когда по ту сторону проволоки окажемся... Ничего другого...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Стажинский не позволил мне углубиться в воспоминания дальше. Сжав мой локоть, он сочувственно заглянул в глаза и повторил:

- Не обижайтесь... Мы не думали плохо, когда называли вас "устругoвской тенью". Дружба между вами радовала нас, ваших товарищей, как радовала раньше преданность Самарцева друзьям, как восхищал потом поступок Устругова, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти раненого Самарцева. Дружеская верность делает людей богаче. Вы много потеряли бы, если бы не было Устругова. И он не стал бы тем человеком, которого мы знали, если бы вы не были рядом с ним.

Я не поддержал и не опроверг его, и мы замолчали. Я пригласил поляка за свой стол. Он коротко взглянул на меня, потом осмотрел стол, будто оценивал, стоит ли ему садиться именно там, и лишь после этого согласно наклонил голову.

Мы сели за стол и еще раз обменялись улыбками. Разговор, однако, возобновить не могли. Между нами стояла невидимая, но ощутимая стена отчужденности, возведенная временем, и я не знал, как подступиться к ней. На язык так и лезли вопросы: как спасся он там, в Арденнах? Кто подобрал его на мосту и вернул к жизни? Где был эти четырнадцать лет? Чем занимается здесь, в Америке?

Простые и естественные, эти вопросы в зависимости от нынешнего положения Стажинского могли оказаться для него легкими или мучительными, приятельскими или враждебными. Ответы на них либо вновь сблизили бы нас, либо развели в разные стороны, помешав даже вместе пообедать.

Внушительный и важный, с надменной улыбкой, поляк не вдохновлял на легкую приятельскую беседу. Его крупное лицо раздобрело, но все еще не утратило прежней властной энергичности, которая чувствовалась в сильно выпирающем, расколотом надвое подбородке. Глаза смотрели проницательно и насмешливо, будто говорили: "Как ни прикидывайся, все равно видим, что ты за птица!" Даже мысленно я не решался похлопать его по плечу и спросить: "Ну, как же все-таки ты воскрес из мертвых, старина? И что поделывал эти четырнадцать лет?"

Со своей обычной сосредоточенностью сосед еще раз оглядел меня, остался чем-то недоволен, но ничего не сказал. Откинувшись на спинку стула, он снова уставился в простенок с назидательными украшениями.

- Мудрые надписи, очень мудрые, - насмешливо одобрил он. - Вот, например, та: "Думай возвышенно, если хочешь попасть высоко". Или вот: "Садись за стол с чистыми руками и чистыми мыслями". А выразительнее всего та, что в самом низу: "Не чавкай, аки свинья, другим противно".

Я засмеялся.

- Был тут несколько раз, но премудрости этой не заметил. Вы

же с первого взгляда схватили все.

- Люблю видеть мир, в котором живу, - назидательно сказал Стажинский. - Когда в него всматриваешься внимательнее, он кажется более интересным.

- Только кажется или в самом деле интереснее?

Поляк пожал плечами.

- То, что есть на самом деле, трудно отличить от того, что кажется. Обычно воспринимается только поверхность вещей и событий.

- А как же с людьми? Ведь о людях даже поговорка есть: внешность обманчива.

Сосед навалился грудью на стол и придвинул большое желтовато-бледное лицо так близко, что мне поневоле пришлось откинуться назад: Стажинский и раньше любил смущать собеседников настойчиво-пристальным, будто укоряющим взглядом.

- Не так уж обманчива, - проговорил он, усмехаясь. - По вашей внешности, например, можно многое сказать и о вас самом.

- Что же можно сказать по моей внешности?

Поляк помолчал немного, словно решал, стоит ли говорить, потом, не отрывая от моего лица колючих глаз, сказал тихо, спокойно и в то же время пренебрежительно:

- А то, что вы уже несколько лет тому назад перекочевали сюда и, кажется, совсем отряхнули прах родной земли со своих ног.

В его голосе слышалось раздражение и даже неприязнь.

- Почему же вы решили, что я отряхнул прах родной земли со своих ног?

- По внешности.

- Что же вы нашли в моей внешности такого... сомнительного?

- Сомнительного? - переспросил сосед и снова усмехнулся, искривив лишь губы и сверкнув золотом. - В вашей внешности сомнительного ничего нет. В ней все ясно. Подстрижены вы по-здешнему, на вас американский костюм, - он остановился и, брезгливо оттопырив губы, добавил: Поношенный... Не думаю, что вы пользуетесь вещами из вторых рук: люди, приобретающие подержанную одежду, по таким ресторанам не ходят.

- Да вы настоящий Шерлок Холмс!

Стажинский наклонил голову с насмешливой почтительностью.

- Благодарю за комплимент... Между прочим, Конан Дойл сделал своего героя не только очень наблюдательным, но и честным. Шерлока Холмса не могли ни обмануть, ни подкупить, что в наше время делается со многими легко.

- Обманывают или подкупают?

- И то и другое. Там, где нельзя обмануть, пускают в ход деньги. За деньги люди меняют убеждения, друзей, родину, все...

Со злым вызовом поляк снова уставился прямо в глаза мне: попробуй опровергни! Он принимал меня, несомненно, за одного из тех, кто променял за деньги, за удобства, за покой убеждения, друзей, родину. Это обрадовало меня: человек, осуждающий других за грех отступничества, не мог быть отступником. Я готов был обнять его, но не решился. Только наклонился к нему и накрыл ладонью его костистую, с шершавой кожей и вздувшимися венами руку.

- Если вы думаете, что я сменил свои взгляды или родину из-за денег, вы ошибаетесь.

Он выдернул руку и спрятал под столом, недовольно фыркнув:

- Тогда из-за чего же вы сменили их?

- Да с чего вы взяли, что я сменил их?

Сосед молча указал на мою одежду.

- И только?

- Этого вполне достаточно.

Самоуверенность собеседника не только смешила, но и раздражала. Потянувшись через столик, я поймал борт его серого пиджака и распахнул, чтобы видеть внутренний карман. Изображенное желтыми "под золото" буквами там красовалось название известного нью-йоркского универмага. Вывернув немного пиджак, я показал обладателю марку магазина.

- Ведь так нетрудно доказать, что вы только что сменили свои взгляды и родину, как сменили старый костюм на этот.

Стажинский резко отбросил мою руку и застегнулся на все пуговицы.

- Я только что приехал из Польши и через несколько дней вернусь домой.

- Значит, сменив костюм, вы сами-то не изменились?

Поляк выпрямился, выставив грудь и откинув голову с театральной гордостью. Он и в прежние времена становился иногда в такую позу, будто с него не сводил глаз битком набитый зрительный зал, готовый разразиться рукоплесканиями. Ему

нравилось немного "играть" (не на сцене, а в жизни), и он не упускал случая показать себя так, чтобы им любовались. И время не изменило этой склонности: профессиональные артисты сходят со сцены к определенному возрасту, артисты в жизни "играют" до самой могилы.

- Я не изменился и не мог измениться, - провозгласил он.

Снова поймав его руку, я прижал ее к столу.

- Казимир, дружище, я тоже не изменился. Я тоже приехал сюда на короткое время и через несколько дней вернусь домой, в Москву.

Он уставился на меня удивленно и недоверчиво, обшарил еще раз острыми глазами мой костюм и опять остановил их с упрямой сосредоточенностью на моем лице.

- Да наплюйте вы на костюм! Американский - потому что здесь купил, поношенный - потому что давно ношу его. Вот и все...

Простое до примитивности объяснение изумило и даже обидело Стажинского. Он резко отвернулся и поджал губы, точно боялся не удержать что-то злое и оскорбительное, рвавшееся с языка. Шрам на бледной рыхлой щеке еще более покраснел, подогреваемый невидимым внутренним кипением. Это продолжалось, наверное, с минуту. Затем кипение стало убывать, шрам из красного опять превратился в розовый, Казимир повернулся ко мне, сконфуженно заулыбался.

- Простите меня, Забродов. Самое простое оказывается чаще всего самым правильным.

Он покачал большой седой головой, усмехнулся, явно потешаясь над самим собой: какого дурака свалял! Потом, посерьезнев сразу, объяснил:

- Понимаете, только час назад одного из этих встретил... ну, из тех, кто за деньги сменил взгляды, друзей, родину. Говорит, трудно там, в Польше, живется: того нет, этого не хватает. Вот и бежал из страны сначала в Западную Германию, а потом сюда. Легкой жизни ищет. И американизировался целиком, чтобы, говорит, внешним видом не выделяться. Наверное, поэтому и про вас плохо подумал: выглядит по-чужому, во всем чужом - значит, думаю, тоже за легкой жизнью погнался.

- Ну, как можно подумать...

- Подумать можно, - перебил он, спеша выложить свои мысли. - Подумать все можно... Скажете, нас силой нацисты не сломили. Верно, сила не сломила нас. Но время могло согнуть. А времени с тех пор много прошло. И трудного времени.

- Время гнет одиноких людей, Казимир. Я не был одиноким. Я вернулся домой, как только кончилась война, и все время был со

своими, со всеми своими.

Стажинский одобрительно закивал головой, и в его тоне снова послышалась некая торжественность.

- Понимаю. Теперь все понимаю. Раз вы были со своим народом, вы не могли стать иным.

Мне показалось, что настало время, когда можно спросить о том, что волновало меня с первой минуты: как спасся он. Я понимал, что это мы "убили" и "похоронили" его у того моста в Арденнах.

Казимир сразу помрачнел, точно ему напомнили о чем-то неприятном, тяжком, губы изогнулись страдальчески, а розовый шрам на щеке опять покраснел. Его длиннопалые руки с морщинистой кожей беспокойно задвигались по скатерти, словно искали на ощупь что-то мелкое, но важное, а найти не могли.

- Я и сам точно не знаю этого, - тихо ответил он, избегая моего взгляда. - Пуля прошла у самого сердца, сбила с ног, но, как видите, не убила. Немцы, наверно, оттащили меня с моста и оставили на насыпи. Ночью крестьянин-бельгиец, возвращавшийся из соседней деревни, услышал стон, подобрал меня. Принял за соотечественника, попавшего под немецкую пулю, и лишь позже догадался, кто я. Прятал в своем подвале, пока в Арденнах шли бои.

Хрипловатый, немного подавленный голос рассказчика заметно изменился, стал чище, в нем появились теплые нотки, когда поляк, помолчав немного, начал вспоминать о семье, которая приютила его.

- Я очень подружился с крестьянином, его звали Гастоном, фамилию вот, к сожалению, забыл, потому что редко называл по фамилии, все больше Гастон да Гастон. С ребятами его, подростками лет двенадцати и четырнадцати, тоже подружился. Они со мной даже охотнее, чем с отцом, бывали. Хорошие ребята. И забияки страшные...

Он заулыбался, видимо вспоминая их проказы, потом вздохнул.

- Прожил там несколько месяцев, - продолжал поляк спокойнее. Помогал по двору, в поле работал, в огороде. Пока шла война, в город идти боялся: знал, что опять попаду в водоворот, который чуть было не унес в могилу. А мне всё и все тогда опротивели. Это потому, что все забыли меня, бросили, кроме семьи Гастона. Я жизнь людям отдавал, а они со мной, как с камнем, который с воза упал, поступили: свалился, ну и ладно, лежи на дороге...

Мысль об этом заставила его снова замолчать, сложить сердито губы. Шрам опять налился кровью, а руки зашарили по

скатерти с торопливостью слепого, ищущего потерянное.

- Тогда был особенно зол на вас, - сказал, наконец, он. - Вы были единственные мои друзья, за любого из вас я жизнью пожертвовал бы. Я верил в то, что говорил Самарцев, - помните Васю Самарцева? - верность в дружбе - самое дорогое в жизни, даже жизни дороже. Тот, кто много пережил, знает это и не поступит иначе. А вы... Вы бросили меня на мосту, не вернулись туда ни через час, ни ночью. Не искали меня и после того, как немцев прогнали. А ведь я лежал совсем еще беспомощный. И ждал вас. Долго ждал...

Мои щеки загорелись, и, чтобы скрыть пламя стыда, я поставил локти на стол и спрятал лицо в ладонях.

- После того, что я узнал, - промямлил я, - нас трудно оправдать...

- Да разве в оправдании дело? - поморщился Стажинский. - Человек всегда находит убедительное оправдание, когда нуждается в нем. А так называемые "сторонние" и "объективные" судьи разделятся, как всегда, на две группы: симпатизирующие оправдают, настроенные неприязненно осудят. Оправдание одними стоит осуждения другими, значит, все это уравновешивается и... не имеет смысла.

Он нетерпеливо двинул рукой по столу, словно отбрасывал что-то неприятное. Все еще избегая смотреть мне в глаза, переложил обеденный прибор с места на место и вздохнул будто с облегчением: объяснились, мол, и слава богу! Поляк вопрошающе оглянулся на старшего официанта: когда же примут заказ?

После неловкого молчания я спросил соседа, чем занимался он все эти годы.

- Разным, - коротко и равнодушно ответил поляк. Неясно было, то ли не хотел рассказывать о себе, то ли дело, которым занимался, не представляло интереса. Я ждал, не возобновляя вопроса. Он встретил и проводил глазами проходившую мимо молоденькую стройную американку и, повернувшись ко мне, уже менее равнодушно повторил: - Разным... Очень разным. Сразу после войны был в военной миссии во Франции, потом служил в армии, а затем даже преподавал военное дело. Чуть польским Клаузевицем не стал...

Казимир усмехнулся веселее: воспоминания, кажется, согревали его.

- Власти, однако, скоро сообразили, что Клаузевиц из меня не получается, - со смешком продолжал он, - и решили сделать просто преподавателем. И назначили директором педагогического института. Пришлось историю преподавать.

Сначала ругался: ну, какой, в самом деле, из меня историк или директор института? Потом привык, даже увлекся: молодежь понравилась. А как только привык, так меня в министерство перевели. И, знаете, в какое? Иностранных дел... Говорят: опыт у тебя большой, Европу всю знаешь. А какой у меня опыт? Тюрьмы да концлагеря, аресты да побеги. И Европу эту я больше через решетку видел. Рассказываю им об этом, а они, черти, только смеются: опыт, говорят, самый подходящий.

- Не вняли, значит, доводам?

- Не вняли, - подтвердил он, мрачнея. Помолчав немного, вяло сказал: - Не нравится мне эта работа. Возни много, а толку мало. А когда к западным дипломатам повнимательнее присмотришься, просто противно становится.

- Зато вы действительно поможете наводить порядок в мире, - заметил я, вспомнив разговор в бараке штрафных.

Казимир принял мои слова за насмешку и обидчиво поджал губы.

- Я не хотел обидеть вас, - поспешил успокоить я и напомнил давний спор с англичанином Крофтом и особенно слова самого Стажинского, что мир стал слишком тесен, чтобы можно было спрятаться от большой беды в пределах одной страны, как в стенах одного дома.

Стажинский задумался, наверное вспоминая тот спор, потом вздохнул.

- Никогда не думал я, что порядок в мире можно навести с помощью бумаг, именуются ли те нотами, письмами или посланиями. И чем больше работаю по иностранному ведомству, тем меньше верю в бумагу. Даже отношения двух человек нельзя наладить с помощью бумаги: им непременно надо сойтись, поговорить, потрудиться вместе. Как же можно доверить бумаге отношения между двумя, тремя, пятью или многими странами и народами?

К нашему столику подошла высокая светловолосая официантка с выпирающей грудью и перетянутой талией. Остановив большие серые глаза сначала на моем лице, потом на лице Казимира, она недоуменно сдвинула к переносице неестественно черные брови: видимо, не знала, какое меню предложить. Чтобы не ломать долго голову, положила перед каждым по два меню: немецкое и американское. Случайно оба протянули руки к немецкому меню. Девушка одобрительно заулыбалась.

- Вот это правильно. Раз пришли в немецкий ресторан, то лучше взять немецкую пищу. Не правда ли? Ведь иначе можно пообедать в другом ресторане и незачем ехать так далеко.

Казимир оторвался от меню, посмотрел на нее и усмехнулся.

- Действительно, мне пришлось проделать длинный и долгий путь, чтобы попасть в этот ресторан.

Официантка приняла слова за шутку, засмеялась и повернулась ко мне.

- А вы? Вы тоже долго и издалека добирались сюда?

Она встретила мое подтверждение понимающим смешком и, доверительно понизив голос, посоветовала:

- Суп можете взять любой: они все консервированные, и вкус у них почти один. А вот на второе очень рекомендую свиные ножки. Ножки готовятся тут совсем так, как дома, в Германии. И сюда много любителей немецкой пищи только из-за этих ножек приходят.

Мы последовали совету. Записав заказы, она снова показала белые ровные зубы и удалилась, покачивая туго обтянутыми бедрами.

Девушка вернулась с обедом скоро. Проворно и ловко разлила суп по тарелкам, поставила корзиночку с пышным, хрустящим хлебом, подвинула соль, перец, уксус. Ее обнаженные выше локтей загорелые руки двигались быстро и точно. Закончив, она посмотрела на стол, чуть вздохнула.

- А не хотите ли попробовать нашего пива? У нас очень хорошее, настоящее мюнхенское пиво. Уж если выбрали немецкую пищу, то возьмите и немецкое пиво...

Пиво принес не очень высокий, но необычно широкогрудый и толстоплечий кельнер с большими ручищами, которые ухитрялись держать каждая по четыре бутылки. Он легко сковырнул большим пальцем правой руки фарфоровые пробки и разлил пиво в высокие белые кружки. В его толстых волосатых руках чувствовалась сила и хватка гориллы. Я невольно всмотрелся в эти руки и даже вздрогнул, увидев выше запястья вытатуированный нацистский крест (свастику) и тупые сломанные стрелы знака охранников (СС). Татуировку выводили, но удалить полностью не могли, и знаки пробивались сквозь густые ржавые волосы.

С этих рук я перевел глаза на лицо их обладателя. Оно было большим, толстым и каким-то по-звериному равнодушным. Вот такие лица были у тех охранников, которые били и убивали заключенных в концлагере Бельцен. И такие же тупые, равнодушные глаза.

Стажинский, также заметивший татуировку, следил за руками бывшего охранника неотступным взглядом. Лицо его исказилось ненавистью и болью, а римская пятерка на левой щеке стала совсем пунцовой. Мне показалось, что поляк сейчас же

схватит кельнера за руку и закричит: "Держите убийцу!" Но он не схватил и не закричал. Посмотрев в жирно-равнодушное лицо бывшего охранника, хрипло спросил:

- Давно из Германии?

На тупом лице появилось недоумение, лоб прорезала вертикальная складка, мелкие глаза метнулись на Казимира, переметнулись на меня и уперлись в кружки с пивом, в которых пузырилась, оседая, пена.

- Давно.

- Ну, как давно?

Кельнер долил пиво в кружки, подцепил своими толстыми пальцами-крючками бутылки и ушел, не ответив.

- Гор-рил-ла! - прошептал поляк, задыхаясь от раздражения. Гор-рил-ла...

Он готов был запустить пивной кружкой в бугристую спину кельнера. Я поймал его руку.

- Не надо, Казимир, не надо... Гориллу этим не проймешь.

Сосед поставил кружку на стол, потом отодвинул подальше и брезгливо вытер о салфетку облитые пивом пальцы. Всякий раз, когда кельнер, нагруженный бутылками, появлялся в зале, Стажинский хватал его цепким ненавидящим взглядом и не выпускал, пока тот не скрывался в глубинах кухни.

- Даже подлые знаки свои не сумел вывести, - жестким шепотом адресовался он к бывшему охраннику. - А что ты будешь делать с мордой своей, убийца? За океаном спрятаться захотел? Не спрячешься... Тебе надо было не за океаном, а на дне его прятаться...

Кельнер неторопливо и важно таскал пиво, убирал пустые бутылки и кружки. Он упорно избегал смотреть в нашу сторону, чувствуя, наверное, что тут были враги, старые враги. Правда, встреча с нами ничем уже не угрожала, но и хорошего тоже не сулила.

- А ты знаешь, - вдруг обратился ко мне Казимир, переходя, как и в старое время, на "ты", - ты знаешь, горилла-то - это, по-моему, Гробокопатель!

- Гробокопатель?

- Да, Гробокопатель... Помнишь, у Дрюкашки подручный был, здоровый, мордастый такой, с пудовыми кулачищами? Одним ударом бросал заключенных в беспамятстве на землю и орал еще при этом: "В гроб загоню!" За это и прозвали его "Гробокопателем". Неужели не помнишь?

- Да не может быть!

Пораженный открытием Стажинского, я моментально повернулся, чтобы убедиться, насколько правильно его

подозрение. Увидел, однако, лишь широкую покатистую, как лошадиный круп, спину кельнера да лысый затылок с узкой рыжеватой межой, отделяющей его от толстой красной шеи.

Кельнер долго не появлялся, и, когда появился, я готов был вскрикнуть:

- Гробокопатель! Убийца!

Равнодушно и медлительно нес он свое грузное тело по узкому проходу между столиками, бутылки в огромных цепких руках тихо позванивали. Старший официант из греков на вопрос, как зовут кельнера, с готовностью ответил:

- Шнорре. Карл Август Шнорре. А что?

- Да мы встречали в немецком концлагере одного эсэсовца, похожего на него. Правда, того именовали Рихардом Зибертхофом.

- Нет, этот Шнорре, - коротко подтвердил грек, не желавший вдаваться в подробности наших встреч в концлагере. - Карл Август Шнорре...

- Шнорре... - издевательски повторил Казимир, проводив глазами официанта. - Теперь не только фамилию, он родословную новую сочинит. Шнорре...

Стажинский перехватил кельнера, возвращавшегося с пустыми бутылками, и попросил еще пива. И, когда тот принес, обратился к нему:

- Ну, как живется в Америке, господин Зибертхоф?

- А в Америке живется неплохо, - глухо ответил кельнер и, разлив по кружкам пиво, добавил: - Только меня зовут не Зибертхоф, а Шнорре...

- Ах, вот как! А вы не били на пари со своими собутыльниками заключенных в концентрационном лагере Бельцен?

- Нет, я никогда и нигде не бил никого ни на пари, ни без пари, - тем же тоном сказал кельнер, забрал пустые бутылки и повернулся к нам своим мощным крупом.

Теперь я не сомневался в том, что это был Гробокопатель, которого искал и не мог найти до самой смерти своей Устругов. Ненавидевший эсэсовцев и без того, Георгий приходил в бешенство и не жалел ни себя, ни других, если видел охранника чем-то напоминающего Гробокопателя. Злость к нему была так велика, что в первый день побега Устругов готов был вернуться к концлагерю, чтобы подкараулить и убить Зибертхофа, хотя знал, что это будет стоить жизни самому. И он, наверное, поступил бы так, если бы я не прикрикнул тогда на него и не напомнил об ответственности, которая неожиданно свалилась вместе с свободой на наши плечи. Это была первая наша стычка, и я

помнил хорошо не только резкие слова, которыми мы обменялись тогда, но и весь тот день, когда мы оказались, наконец, как предсказывал Самарцев, "по ту сторону проволоки".

ГЛАВА ПЯТАЯ

Нам удалось это лишь в самом конце зимы. Сильная метель, налетевшая откуда-то на северо-западную Германию, занесла дороги, по которым шло снаряжение на фронт, и власти распорядились послать на расчистку заключенных. Нас подняли еще ночью, накормили наспех вареной брюквой, и, выдав лопаты, вывели за ворота лагеря.

Охваченная цепочкой конвоя, длинная колонна по четыре человека в ряд миновала последнюю сторожевую вышку и выползла в поле. День только начинался. Мутное, почти черное небо пыталось оторваться от земли, но не могло одолеть собственную тяжесть и висело прямо над снегами. Мела поземка. Ее белые космы тянулись через дорогу с черными плешинами асфальта и путались в ногах заключенных. Ноги, обутые в брезентовые бутсы на толстой деревянной подошве, со скрипом скользили по снегу и вязли в нем.

Колонна двигалась медленно и тяжело. Обессиленные голодом и побоями, заключенные вяло, с безнадежностью уже побежденных отбивались от ветра. Сердитый бездельник, носившийся над полями, врывался в рот, перехватывая дыхание, бил в глаза, засовывал холодные лапы под фуфайку. Люди выставляли вперед приподнятые правые плечи и склонялись навстречу ветру, словно говорили, что покоряются ему, но молят о пощаде. Четкие ряды, в которые, как в обоймы, втиснули нас перед выходом из лагеря охранники, распались. Полосатая толпа то растягивалась, подобно гармошке, то сжималась, плотнела.

Мы воспользовались этим, чтобы сойтись на несколько минут вместе. Поманив меня, Самарцев стал пробираться к Жарикову, шедшему немного впереди. Я протиснулся к нему и пошел рядом. Быстро поворачивая обросшее большелобое лицо то ко мне, то к капитану, Василий тихо произнес:

- Рванем сегодня!

- Другой такой случай представится не скоро, - подхватил я.

Жариков кивнул головой. Мы так долго думали о побеге каждый в отдельности и так часто шептались вместе, что понимали друг друга с полуслова, по намеку, по жесту. Самарцев показал ручку своей лопаты.

- Когда конвой сольется с колонной...

Едва заметным наклоном головы мы одобрили намерение сокрушить охранников лопатами. Тогда Вася понизил голос до шепота:

- Передать всем нашим: пусть каждый держится вплотную к ближайшему конвоиру. Бить по моей команде... И скорее захватывать автоматы.

То ли по фронтовой привычке, то ли подчеркивая, что слова Самарцева принимает как приказ, Жариков чуть слышно подтвердил: "Есть!" Василий повернулся вполоборота к нему.

- Ты с Федуновым возьмешь голову конвоя.

- Я возьму хвост, - поторопился я. - С Егоровым и Устругoвым или еще с кем.

- Хвост будет самым трудным, - по-прежнему тихо и как будто бесстрастно заметил Самарцев. - Там удар должен быть совершенно неожиданным и быстрым. Замыкающих конвоиров возьму я с Егоровым и Звериным.

- Хвост возьмем мы, - повторил я. - Устругов сильнее всех, Егоров не подведет, а у меня опыта в таких делах больше, чем у любого из вас.

Служба в полевой разведке научила меня осторожно подбираться к противнику, наваливаться на солдат или офицеров, скручивать, зажав рот, и доставлять в свои окопы. Вылазки эти совершались обычно ночью, двигаться и действовать приходилось ощупью, как с завязанными глазами. А днем мы трое, думалось мне, справимся даже с замыкающими охранниками. Правда, у тех, кто возьмет хвост конвоя, мало шансов выйти из схватки невредимыми. Но шансы все-таки были, и я надеялся воспользоваться ими. Кроме того, я боялся за Василия: слов нет, он хитер и ловок, но физически для такого дела слаб.

- Ты не имеешь права рисковать собой, - сказал я ему.

Самарцев вскинул на меня глаза.

- Это почему же?

- Потому, что без тебя нам не обойтись после.

Схваткой с конвоем побег только начинался. Ее удачный исход мог лишь открыть путь на волю. Долгий и трудный этот путь вел через большую, враждебную страну, и беглецов всюду подстерегали опасности. Самарцев знал это. Бежав из лагеря военнопленных под Гамбургом, он прошел всю Германию, Польшу и в Белоруссии попал в руки немецкой полевой полиции потому, что не бросил заболевших спутников-беглецов. Потеряв Василия в схватке, мы лишились бы надежного, умного проводника и вожака.

- Ты напрасно отправляешь меня на тот свет, - с усмешкой заметил он, поняв мои опасения. - Устругов твой крепок и силен, только в таком деле сила не главное. Тут нужна прежде всего ловкость. Смелая и осторожная ловкость.

И заключил категорично, почти резко:

- Ты будешь с ним в центре колонны.

Жариков опять молча наклонил голову: одобрял Самарцева. Потом повернулся к нему.

- Где начнем?

Тот вперил взгляд в мутную даль, где на фоне темной гряды леса едва различимо обозначились фермы большого моста.

- Думаю, на мосту.

- Правильно, - одобрил капитан.

- Верно, лучшего места не найти, - согласился я, когда Василий вопросительно посмотрел на меня. Я и сам подумал о мосте, как только колонна повернула на дорогу, по которой нас доставили в лагерь. Конвоиры, и тогда державшиеся по обочинам дороги, на мосту пошли вплотную с заключенными. Это запомнилось мне особенно хорошо, потому что там у Георгия появилось вдруг желание схватить ближайшего эсэсовца и броситься с ним вниз, в воду. Я отговорил его. Однако после этого часто думал, что группа смелых и действующих заодно людей может избавиться на мосту от конвоя и вырваться на волю. Я пытался склонить к этой мысли моих товарищей. Те посмеивались: идея хороша, только для ее осуществления кое-чего не хватает. Во-первых, нужно оказаться на том мосту. Во-вторых, в такой момент, когда конвоиры соизволят пойти рядом... Помечтать об этом, конечно, можно, но серьезно рассчитывать...

А теперь было ясно, что нам не миновать моста. Оставалось только ждать, пойдут ли охранники вместе с заключенными. Если пойдут - нам повезло! У нас в руках железные лопаты, и на мосту, в тесноте они могут свести преимущества эсэсовских автоматов почти к нулю. Схватка будет скорее рукопашной, а в ней перевес всегда на стороне неожиданности и большего числа. Да, такая возможность действительно не могла повториться.

Возвращаясь на свое место, я бросал быстрые взгляды на соседей. Выискивал товарищей. В той тюремно-однообразной толпе нелегко было найти их. Все были одеты в грязно-серые, с широкими черными полосами фуфайки и такие же брюки. Мало отличали одного заключенного от другого худые, обросшие лица с ввалившимися глазами. Только "отметки охранников" перебитые носы, распухшие, рваные губы, синяки и кровоподтеки на щеках и лбах - помогали не ошибиться. Обнаружив кого-нибудь по такой примете, я шел пару минут рядом, шепотом передавал приказ, затем находил другого и так же тихо объяснял, что нужно делать.

За нашей спиной скрылись, потонув в белой мгле, крыши бараков и сторожевые вышки проклятого лагеря. Я пробыл в нем пять месяцев, а постарел, казалось, на пятьдесят лет. Носители "нового порядка" хвастливо и нагло показывали всем, что жизнь

человека, не принадлежащего к "расе господ", не дороже жизни насекомого. Они убивали, травили, душили людей с великолепно организованным старанием, присущим "тевтонскому гению". Истинные арийцы видели в этом свое высокое призвание и получали сладострастное удовольствие, которое дает только тайный и неодолимый порок.

Сколько людей - славных, преданных, горячих и нежных - отправили они на тот свет за короткое время! Медовкина убили. Скворцова, Рябушева, Майбороду повесили. Студнева, Михейкина, Курджабаева отравили в "медицинском блоке". Гаврилова, Клочко, Мухамедова замучили на "допросах". Всех нас били. Били часто, остервенело, стараясь изуродовать лица, сделать больнее, унизительнее.

Каждый день, почти каждый час жили мы под постоянной угрозой смерти. Только поздно вечером, когда в административном блоке затихали пьяные песни и выкрики, заключенные вздыхали спокойнее: охранники улеглись спать, и до наступления утра можно было не бояться их.

Впереди все отчетливее темнел лес, а еще ближе яснее выступали фермы моста. Конвоиры, шатавшие по обочинам дороги, все чаще прижимались к заключенным. В лощинах они вливались в толпу, выделяясь среди полосатых фигур темно-зеленой одеждой да автоматами, висевшими на груди. Я уже примеривался на глазок, смогу ли достать "своего" охранника. Тот подходил порою так близко, что невольно хотелось рубануть лопатой по его голове.

С опасением и надеждой посматривал я назад, в хвост колонны. Там отставали один за другим Самарцев, Зверин, Егоров, пока все трое не оказались в самом последнем ряду. Василий уныло плелся, втянув голову в поднятые плечи и глядя себе под ноги. Со стороны никак нельзя было догадаться, что тот приготовился к схватке. Так же уныло брел Егоров, хотя ему трудно было согнуть мощную спину и опустить квадратные плечи. Сдержанность, которой он отличался в лагере, проявлялась и здесь. Алексей первым согласился с планом, предложенным Самарцевым, доводов против не слушал, хотя участия в обсуждении деталей плана тоже не принимал. Лишь однажды заметил спокойно, почти равнодушно, в то же время твердо:

- Будет какое-нибудь трудное дело, дайте мне его, кто-то все равно должен рисковать. И все...

Да, на Егорова можно было положиться. Этот парень дела не испортит.

Хуже вел себя Зверин. Он слишком часто вскидывал голову и

посматривал на конвоиров так, будто собирался броситься на них сию секунду. Самарцев, думал я, напрасно рисковал, взяв его с собой в хвост колонны. Конечно, Михаил смел, быстр и увертлив, как кошка. При сравнительно небольшой фигуре он обладал невероятно сильными, цепкими руками: то, что хватал, у него никогда не вырывалось. Но все это, на мой взгляд, не перевешивало того риска, который создавал его неустойчивый характер.

В голове колонны я видел широкие плечи Жарикова, с немного наклоненной вправо головой, будто он прислушивался к тому, что говорил Федунов, шапка которого с заметной коричневой заплатой покачивалась рядом. Они держались в третьем ряду и могли, сделав несколько широких шагов, оказаться прямо за спиной начальника конвоя.

Ближайшие товарищи, которым я передал приказ Самарцева, плохо скрывали нетерпение. Даже Устругов, шедший рядом, уже несколько раз показывал глазами на конвоиров, подходивших вплотную, точно подталкивал: пора начинать. Я отрицательно качал головой и почти беззвучно напоминал:

- На мосту.

Красноватый каркас моста медленно подвигался навстречу. Теперь уже ясно различались отдельные фермы и переплеты, оранжевые бочки с песком, поставленные у входа на мост, и даже зеленоватые стеклянные изоляторы телеграфа, прилипшие к фермам. С реки поднимался пар.

Чем ближе подходила колонна к мосту, тем беспокойнее становилось у меня на сердце. А вдруг начальник конвоя окажется умнее того, который доставил нас в концлагерь? Он может разделить конвой на две группы: одна пойдет впереди, вторая позади колонны. Заключенным свернуть-то все равно некуда. Тогда все расчеты наши и надежды рухнут.

Волновался я напрасно. У моста начальник конвоя остановился и медленно, словно на шарнирах, повернулся. Упав во время скачек с лошади и повредив позвоночник, он носил на шее подобие жесткого корсета, который подпирал его голову и держал неестественно высоко и прямо. Старый солдафон двигался четко, как машина, и мог поворачиваться только всем корпусом. Опасаясь неожиданного нападения, он держал рядом сильного и скорого на руку вахмистра. Тот был проворен, стрелял моментально и без промаха. Но лишь несколько дней назад вахмистр вернулся из соседнего городка Бельцена с большим фонарем под глазом, распухшим носом и забинтованной правой рукой. Били этого бабника, попавшегося в руки пришедших на побывку фронтовиков, так основательно, что он даже не

замахивался на заключенных, а только хрипло орал, грозя разделаться в будущем. Начальник брезгливо осмотрел уныло бредущую толпу, потом так же медленно повернулся к ней спиной и зашагал дальше. С гулким топотом на мост вступили заключенные. Полосатый поток как бы слизывал конвоиров с обочин и нес с собой в теснину моста.

До боли в пальцах зажав ручку лопаты, я бросал взгляды то вперед, где ровно двигалась торчащая над всеми голова начальника, то назад, на хвост колонны, растянувшийся на насыпи. Мы рассчитывали ударить по конвою, когда вся колонна втянется на мост. Это явно не удавалось. Голова конвоя уже приближалась к последней ферме, Жариков и Федунов шли в затылок начальнику и вахмистру, а хвост все еще месил снег перед мостом. Прошло еще полторы-две невероятно длинных и томительных минуты, заставивших меня взмокнуть от пота, прежде чем послышался звонкий голос Самарцева:

- Бей!

В ту же секунду я вскинул лопату и с силой опустил ребром на голову конвоира. Белобрысый охранник громко крякнул, уронил руки с автомата, висевшего на груди, и, будто погружаясь в холодную воду, стал медленно оседать.

Растерявшийся на секунду Устругов рванулся к охраннику, который шел в нескольких шагах позади нас. Тот видел, как сверкнула в воздухе лопата, и, даже не сообразив, что это значит, направил автомат в нашу сторону. Но его правая рука в толстой вязаной рукавице не смогла нажать гашетку. Он сунул руку в рот, чтобы сорвать рукавицу зубами. Через одну-две секунды автомат хлестнул бы в нас сокрушающей смертельной струей.

- Бей его! Бей! - закричал Георгий, стараясь прорваться к конвоиру.

Охранник отскочил к стальной ферме и прижался к ней спиной. Нацеленная неуверенной или слабой рукой лопата плашмя опустилась на его голову. Большого вреда не нанесла, а лишь надвинула шапку конвоиру на глаза. Мгновение, которое потребовалось, чтобы оторвать руку от автомата и поправить шапку, спасло нам жизнь. Сбив двух заключенных, оказавшихся на пути, Устругов подскочил к охраннику и ударил острием лопаты в переносицу. Громко стукнувшись головой о ферму и скользя по ней спиной, тот сполз на асфальт. Георгий сорвал автомат, оттолкнул труп в сторону и присел спиной к ферме. Завладев автоматом, я подбежал к нему и опустился рядом, чтобы вместе отражать нападение.

В голове колонны треснули два-выстрела.

- Э, черт! Не сумели голову сразу снести...

Значит, Жарикову и Федунову не удалось справиться с начальником и вахмистром неожиданно и кто-то из них стрелял, либо обороняясь, либо поднимая тревогу. Будто отвечая на сигнал, в хвосте колонны пугающе громко гаркнул автомат.

- И там сорвалось. Хвост тоже не срубили...

Автомат, однако, тут же умолк, словно захлебнулся: то ли конвоир выронил его, то ли сам упал. В другом конце моста хлопнули еще два выстрела, резких и четких. Я вскочил на ноги, стараясь рассмотреть, что там происходит, но ничего не увидел.

Бурлящая толпа закрывала оба конца моста. Вокруг шла смертельная возня. Громко сквернословя всяк на своем языке, заключенные избивали конвоиров лопатами, кулаками, ногами. Несколько грязно-зеленых фигур уже валялись на мосту. Охранники покрепче остервенело отбивались. Они пытались пустить в ход автоматы. Заключенные мешали воспользоваться оружием, хватали за руки, висли на шее.

В хвосте колонны снова загремела автоматная очередь, за ней другая, более длинная. Потом сразу затрещали два-три автомата. Их говорок слился в одно злобное рокотание.

- Ложись! Все ложись! - скомандовал я и тут же с досадой выругался: меня не слышали.

То, чего мы так боялись, случилось: хвост конвоя уничтожить не удалось. Самарцев, Егоров, Зверин погибли или сейчас погибнут. Теперь нам, завладевшим автоматами, надо было заканчивать схватку в открытом бою.

- Ложись! - повторил команду Устругов громким голосом. - Все ложись!

То ли услышав приказ, то ли догадавшись, что от автоматов надо спасаться лежа, заключенные посыпались на мост. Только теперь я увидел весь мост, усеянный полосатыми и редкими грязно-зелеными фигурами. На насыпи стояла группка конвоиров. Они расстреливали лежавших старательно и спокойно. Я прицелился в высокого охранника, палившего с особым азартом, и выстрелил. Выронив автомат из рук, тот рухнул плашмя. За ним повалились, но уже по своей воле другие. Наши товарищи, завладевшие автоматами, открыли шумную стрельбу.

- Берегите патроны! - крикнул я, но услышал меня только Георгий. Он приподнял голову, чтобы посмотреть, кто это палит так неразумно, и ожесточенно рявкнул:

- Беречь патроны!

Я сказал своим безоружным соседям, чтобы ползли в дальний конец моста и тянули за собой других. Извиваясь и корчась, как от страшной боли, полосатые фигуры задвигались.

- Не поднимать голову! Не поднимать голову! - предостерегал я ползущих мимо. - За мостом сразу под откос в лес...

С умелым старанием охранники расстреливали близлежавших. Некоторые пытались спастись бегством. Но, едва поднявшись, вновь падали, чтобы не подняться уже никогда.

- Они так перебьют всех, - растерянно пробормотал Устругов и сделал телом такое движение, будто собирался уползти вместе с другими. Я придержал его за плечо.

- Нам надо подобраться к ним поближе. И дать бой.

- Дать бой? - удивленно переспросил Георгий. - Вдвоем?

- Нет, не вдвоем. Со всеми, кто автоматы захватил.

- А как их соберешь? Они же по всему мосту...

- А вот так, - перебил я, вскакивая на ноги, и бросился вперед, крича во все горло: - За мной, кто с автоматами! За мной!..

Двумя секундами позже Георгий уже бежал рядом. Навстречу нам загремели автоматы. Быстро и ловко, как падают во время перебежек на фронте, мы упали и поползли, раздвигая людской поток. Оглянувшись, я заметил, что за нами ползут еще несколько полосатых фигур: обладатели автоматов правильно поняли наше намерение.

Георгий вдруг резко взял вправо. Окликнутый мною, он показал пальцем вниз и крикнул:

- Я - под мост...

С неожиданным проворством он просунул свое большое тело между горизонтальными фермами и исчез. Несколько минут я полз вперед один. Меня догнал Стажинский. Тронув за плечо, сказал:

- В лоб их не возьмешь... Надо бы под мост двух-трех послать... чтоб со спины или с боков конвоиров ударить.

- Устругов уже под мостом.

- Устругов? Что может сделать Устругов? В воду только угодит...

- Он великолепный сапер... и побывал уже под столькими мостами, сколько мы с вами в жизни не видели, и он...

Вспыхнувшая на насыпи перестрелка прервала меня. Мотнув головой в ту сторону, я не мог удержаться от радостного восклицания:

- Молодец, Егор!

В схватке, где решала неожиданность, была дорога каждая секунда. Я взметнулся на ноги и, сделав несколько прыжков, начал стоя стрелять по охранникам. Разбившись на две группы, они ожесточенно палили по обе стороны насыпи, целясь под мост. Рядом вырос Стажинский, вскоре присоединились другие.

Два эсэсовца, лежавшие к нам боком, выронили автоматы и

плотно улеглись на снег, будто собирались отдохнуть. Третий попытался повернуться в нашу сторону, но тут же завалился на бок, потом на спину. Молодой охранник, виляя задом и пятясь, пополз от моста. Подгоняемый страхом, он вскочил и побежал. Пойманный пулей, рухнул в кювет с такой силой, что скрылся в снегу из виду.

Стрельба прекратилась. Из-под моста выскочили Георгий и Федунов. Держа автоматы наготове, они ногами поворачивали лежавших ничком охранников, чтобы убедиться, не притворяются ли. Устругов с такой внимательностью рассматривал их, что я спросил, кого ищет.

- Гробокопателя, - глухо и злобно ответил он. - Гробокопателя... Утром там, в лагере, он ставил нас в колонну... Мне показалось, что бандюга в хвосте конвоя идет.

- Нет, Гробокопатель в лагере остался, - сказал подошедший к нам Стажинский. - Я видел его рядом с Дрюкашкой, когда ворота закрывали.

Устругов пнул ожесточенно ногой мертвого охранника и погрозил кулаком в сторону лагеря:

- Я до тебя и там доберусь, громила! Доберусь, подстерегу... У живого руки лопатой отрублю...

Он вскинул автомат на плечо, готовясь идти назад, к лагерю. Я остановил его, сказав, что у нас нет времени для личной мести. Устругов удивленно и сердито посмотрел на меня, послал было к черту, но вернуться к лагерю все же не осмелился.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тогда нам, конечно, было не до Гробокопателя: мы только что вырвались на свободу и ею следовало воспользоваться прежде всего для того, чтобы убежать подальше от концлагеря. Но затем в Бельгии мы охотились за ним и отправили на тот свет несколько охранников, похожих на него. После войны я поехал в Германию, чтобы разыскать преступника. Поиски ничего не дали: Гробокопатель исчез. И лишь тринадцать лет спустя повстречался вдруг с ним в нью-йоркском ресторане.

Зибертхоф не испугался нас, да и чего ему было бояться? У него были здесь сильные покровители. Однако до конца обеда мы больше не видели его. Нам ничего не оставалось, как только расплатиться и уйти: перерыв заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, на которое спешил Стажинский, кончался.

После охлажденного воздуха ресторана на улице было особенно жарко и душно. Подобно огромному голубому рефлектору, небо посылало на асфальт и камень большого города изнуряющий жар южного солнца. Бетонно-стеклянные коробки домов, громоздившиеся вокруг, не укрывали от него. Казалось,

они сами излучали сверкающую жару, и на них больно было смотреть. Раскаленный блеск отбрасывали и автомобили, которые катились мимо беспрерывно и густо, как отара овец по деревенскому проулку. Палимые солнцем, ослепляемые сверканием стекла и металла, пешеходы жались к стенам, в узкую бледную тень нью-йоркского полдня.

Мы невольно задержались под мелким козырьком ресторанного крыльца и осмотрелись по сторонам, как осматриваются люди, не решающиеся шагнуть прямо под проливной дождь. Стажинский, достав большой пестрый платок и собрав в мягкий комок, пошлепал по щекам и лбу, на которых уже блестели крупные капли пота.

- Ну и жарища!

- Жарища, - поддержал я.

Казимир повернулся ко мне.

- Ты туда же? В ООН?

- Да, туда же, в ООН.

Он нахлобучил шляпу, как забрало, на глаза и двинулся вдоль раскаленной стены. Следуя один за другим, мы молча добрались до Сорок второй улицы. Тень тут была плотнее, шире, и мы могли идти рядом, хотя торопливый людской поток часто разъединял нас. То протискивался между нами решительный мужлан, то врезывалась разгоряченная, с обнаженными красными плечами и руками дама или девушка в легком платьице. Бесцеремонно толкаясь, они бросали на нас негодующие взгляды. Мой спутник поймал меня за локоть и притянул к себе.

- Если не секрет, что ты поделываешь в этой говорильне?

Он сделал такой сильный упор на "ты", точно и представить не мог, какое занятие нашел я в Организации Объединенных Наций.

- Слушаю, что тут говорят, и рассказываю тем, кто не может сам услышать.

- Значит, ты журналист?

На частоколе флагштоков, вытянувшемся перед 38-этажным зданием ООН, безжизненно висели в неподвижном воздухе восемьдесят флагов. Национальные символы 80 стран - красные и голубые, зеленые и желтые, двухцветные и трехцветные, с простыми знаками и сложными рисунками, с крестами и звездами, с птицами и зверями - покорились зною и духоте Нью-Йорка. Вид их, несмотря на пестроту, был однообразно уныл.

Стажинский указал на флаги, усмехнувшись.

- Единственное место, где все страны - большие и малые, капиталистические и социалистические, развитые и отсталые, демократические и диктаторские - мирно, без соперничества

стоят в одном ряду. Всех с одинаковым усердием печет солнце, поливают дожди, треплет ветер. И это единственная в мире шеренга, где великие державы, привыкшие стоять на правом фланге, на самом видном месте, оттерты в дальний левый конец. И собраны, как нарочно, вместе США, СССР, Соединенное Королевство.

К главному подъезду подкатывали, сверкая никелем и лаком, большие лимузины. Останавливались на полминуты у длинного и пестрого, как зебра, навеса, защищающего от солнца, и выпускали пассажиров. Зеваки, собравшиеся у подъезда беспокойной толпой, встречали приезжающих соответственно их важности. Восторженным шепотом, а иногда даже аплодисментами как бы обволакивали министров. Седые или лысые, худые или с животиками, они "прибывали" (в отличие от простых смертных, которые "приезжают") в огромных машинах, под флагами своих стран, шествовали по коридору, образованному зеваками, медлительно и так важно, будто каждый из них - и только он один! - нес на своих плечах так называемый "свободный мир" со всеми его бедами и тревогами. Рядом семенили молодые и стройные в коротких туго обтягивающих фигуру платьях жены или переводчицы. Просто с обывательским любопытством рассматривали зеваки более мелких по личности, менее важных по походке, но все же достаточно самоуверенных советников, приезжавших по двое, по трое в машине. И без всякого интереса пропускалась мимо подваливающая пачками суетливая, торопливая и шумливая секретарская мелкота.

Вслед за дипломатами вошли мы в главный подъезд, проскользнули в стеклянные двери и попали в просторное фойе с охлажденным воздухом. Министры и советники, не задерживаясь, поднимались узким эскалатором на второй этаж. Секретари стайками растекались в разных направлениях. Они сгибались под тяжестью своих портфелей. Это были необыкновенные портфели! Новенькие, безукоризненно желтые и толстые, как дорожные чемоданы. И со множеством отделений, застежек "молний" и замков.

В этих портфелях хранилась вся премудрость "классической дипломатии". Меморандумы и справки, охватывающие международные отношения последних полутора или двух веков. Сводки и цифры почти обо всем на свете: от выработки деловой древесины в южных районах Лапландии до среднегодовой смертности на Огненной Земле. Вырезки и цитаты из газет и журналов большей части мира. Поговорки и ходячие анекдоты от "Ромула до наших дней". И многое, многое другое. Поверх всего лежали заранее заготовленные, отредактированные, одобренные

премьер-министрами, президентами, даже королями и идеально отпечатанные речи. Речи грозные и примирительные. Речи мягкие и саркастические. Речи уничтожающие и хвалебные. Словом, речи на всякий случай и под всяким соусом.

Каким-то путем эти портфели оказывались за креслами глав делегаций и советников раньше, чем те сами добирались до зала заседаний. Когда министры горделиво оглядывали друг друга, журналистов и зрителей, а советники дремали, полузакрыв глаза, секретари, засунув в эти портфели головы, лихорадочно листали меморандумы и справки, выписывали цифры и цитаты, заготовляли впрок поговорки и остроты.

В большом устланном коврами холле на втором этаже дипломаты собирались перед заседанием. Министры либо пожимали друг другу руки, либо просто раскланивались. Рукопожатия означали наличие тесных, дружеских отношений между странами, которые представляли. Поклон свидетельствовал об отсутствии таковых. В этом, казалось бы, простом жесте был мудрый и многозначительный ритуал. Одним посылался низкий, почти в пояс, поклон и сладкая улыбка, задерживающаяся на лице, как вывеска доброжелательства. Другим - лишь полупоклон и улыбочка, исчезающая, как только кланяющийся выпрямлял голову. Третьим пренебрежительно бросался едва заметный кивок, сопровождаемый коротким, тоже едва уловимым обнажением зубов, которое автоматически получается, если сказать "чиз" (сыр по-английоки).

Мой спутник, продираясь сквозь дипломатическую толпу, то сильно наклонял вперед свое большое плотное туловище и широко улыбался, то лишь бодал воздух седой головой и раздвигал губы, показывая на секунду золотую змейку. В середине холла он поймал меня за локоть и повернул вполоборота.

- Посмотрите туда. На тех, что у окна.

Там стояла группка высоких, узкоплечих и худых мужчин в темных, но не черных костюмах, поседевших но не седых, идеально причесанных.

- Английские дипломаты? - спросил я, не понимая, зачем понадобилось Казимиру привлекать к ним внимание. Не отвечая, поляк продолжал всматриваться в них со своей упрямой цепкостью.

- Посмотрите на того... с носом торчком, - прошептал он.

У самого окна, рядом с министром, стоял очень худой, уже начавший сутулиться человек. Распахнув борт пиджака, он держал руки в карманах брюк, и тесный жилет обтягивал ввалившийся живот и плоскую грудь. На узком длинном лице с

серыми, почти бесцветными глазами и острым, загнутым вперед подбородком вызывающе торчал нос, очень похожий сбоку на треугольник. Прямая линия его шла ото лба, без переносицы и горбинки, загибалась под четким углом и опускалась на тонкую верхнюю губу.

- Вы думаете, это...

- Крофт это, - поспешил Стажинский, все еще рассматривая его. Крофт.

Англичанин, заметивший особое внимание к его персоне, бросил на нас несколько удивленный взгляд, но ничего интересного не обнаружил и отвернулся.

Мы не решились подойти к этой группе: было немыслимо заговорить с английскими дипломатами без официального представления. Казимир удалился в зал заседаний, бормоча: "Крофт это, Крофт..." Я пошел длинным пустым коридором на свое место, повторяя не очень уверенно: "Нет, нет, нет..."

Однако на полпути я повернулся, побежал в справочную библиотечку и взял список английской делегации. "Досточтимый Лесли Крофт" значился там советником. Сомнений не оставалось: это был тот самый Крофт.

...Единственный в нашем лагерном бараке англичанин Крофт появился на своих ногах, а не был притащен, как другие, избитым до беспамятства. Он остановился в узком проходе между нарами и с нескрываемым отвращением осмотрел длинный темный сарай с обросшими и истощенными людьми в полосатых фуфайках и штанах, повернулся к охраннику, доставившему его, и потребовал:

- Где мое место?

Эсэсовец от удивления даже рот раскрыл.

- Какое тебе место?

Англичанин вытянулся, будто перед строем, и выкрикнул:

- Не смейте говорить мне "ты"! И сейчас же покажите место!

Большерукий верзила, привыкший отвечать на возражения заключенных кулаками, оторопело протиснулся мимо новичка и молча показал нары. Англичанин бросил туда сверток, бывший у него в руках, и повернулся к охраннику спиной, выражая всем видом брезгливость и презрение.

Крофт был самоуверен и смел, и нам это нравилось. Однако вскоре обнаружилось, что и на соседей своих он смотрит теми же равнодушно-холодными, презирающими глазами. Молчаливый и замкнутый, англичанин умел уединяться даже на людях: просто не замечал других, точно те вовсе не существовали. И в том бараке, забитом нарами в три яруса, Крофт пытался жить по английской пословице: "Мой дом - моя крепость". Как и все, он

владел только этими нарами, очень похожими на гробы: они были так коротки и узки, что, укладываясь, приходилось упираться головой и ногами в спинки, а руки вытягивать вдоль тела или класть, как у покойников, на грудь. Сходство с гробом довершалось высокими - в целую доску - стенками по бокам. Не хватало только крышки. В этом-то гробу Крофт прятался от соседей, вызывая неприязненное недоумение и насмешки...

Едва объявили перерыв, я вскочил и побежал в холл, где собираются дипломаты. Спешил сказать Стажинскому, что англичанин действительно наш знакомый Крофт. Но опоздал. Через стеклянную дверь холла я увидел, что Казимир уже обнимает дипломата и треплет по узкой сутулой спине обеими руками. Крофт также обнимал поляка, хотя его руки как-то вяло, точно перебитые, лежали на толстых плечах Стажинского. Заметив меня, поляк повернул англичанина ко мне.

- Вы не узнаете его, мистер Крофт?

Прежним равнодушно-презрительным взглядом, который так раздражал нас тогда, дипломат скользнул по мне сверху вниз, снизу вверх и с вопросительной улыбкой посмотрел на Стажинского.

- Это наш сотоварищ по бараку штрафных в Бельцене и побегу в Голландию к Арденнам - Забродов. Помните?

Крофт с готовностью подарил мне "чиз" и подал костлявую потную руку, заговорив с заученной, почти автоматической равнодушной вежливостью:

- Очень рад видеть вас снова, мистер Забродов. Очень рад. Мне совсем недавно напомнили о вас и даже спрашивали, не знаю ли я чего-нибудь о вашей судьбе.

- Кого могла заинтересовать моя судьба?

Англичанин улыбнулся сочувственно и в то же время насмешливо: знаем, мол, что скрывается за вашей наивностью.

- Перед поездкой сюда я был в Бельгии, выставку смотрел, - сказал он. - И встретил там наших знакомых.

- Неужели Валлона?

Крофт отрицательно покачал головой, вопрошающе посматривая то на меня, то на Стажинского: "Ну, угадайте, если можете, угадайте".

- Дюмани?

- Аннету.

- Аннету? Где вы видели ее? В Брюсселе?

- Нет, не в Брюсселе. Там, на старом месте, в Марше.

- В "Голубой скале"?

- В "Голубой скале".

- Ну как она? Как старый Огюст?

- Старый Огюст умер несколько лет назад, и Аннета живет теперь одна.

- Одна? А где же Мадлен?

- Мадлен давно замужем.

- Мадлен замужем? Давно замужем?

Англичанин рассмеялся.

- Что же тут удивительного? Ей уже за тридцать.

Крофт пожалел, что не встретился со мной раньше: он мог бы сообщить Аннете, что Забродов жив и, судя по всему, вполне здоров. Она едва ли узнала бы в нынешнем Забродове узкоплечего худого парня, которого помнит.

- В знак старой дружбы... - англичанин остановился усмехнувшись, думаю, старой дружбы больше к вам, к русским, бельгийка отказалась взять с нас, с меня и моего приятеля - нашего дипломата в Брюсселе, - плату за бутылку действительно великолепного старого вина. Подавая вино, Аннета заметила, что оно хранится с того времени, когда русские были в Арденнах.

Дипломат замолчал, раскланиваясь со знакомым, потом повернулся ко мне с улыбкой, в которой насмешка сочеталась с недоумением.

- Как видите, вы оставили о себе неплохую память. По крайней мере в отдельных местах Бельгии и у отдельных людей.

- Этих отдельных мест и отдельных людей не так уж мало, - заметил Стажинский, видимо покоробленный тоном англичанина. - И не только в Бельгии. И в Голландии. И во Франции. И в других странах.

Глаза Крофта посерьезнели, точно похолодели, на тонких губах появилась знакомая нам самоуверенная и пренебрежительная улыбочка.

- Не могу судить... хотя и сомневаюсь.

- Как же можно сомневаться, если вы не можете судить?

- Не вижу противоречия, дорогой мой мистер Забродов. Недостаток знаний или осведомленности естественно ведет к сомнению. Когда получу подтверждение того, о чем говорит мистер Стажинский, я поверю в это. Вы же знаете, мы, англичане, реалисты и всегда признаем факты, если они существуют.

- Но часто с опозданием.

Крофт согласно наклонил голову.

- Верно, мистер Стажинский, мы не спешим признавать даже факт, пока он не стал... э-э-э... твердым, бесспорным фактом. Мы не принимаем цыпленка за курицу, пока он не вырастет.

Это комическое сравнение рассмешило нас, Крофт засмеялся тоже, и разговор принял дружески-шутливый характер.

Перерыв кончился. Дипломаты устремились в зал заседаний,

журналисты и гости заторопились на свои места.

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Время от времени наша память извлекает из своих глубин отдельные события и встречи. Чтобы вспомнить давно пережитое, вспомнить до мелочей, нужен сильный внешний толчок, новое событие, которое было бы тесно связано или перекликалось с прошлым.

Таким толчком оказалась для меня встреча с "воскресшим из мертвых" Казимиром Стажинским и Крофтом. Конечно, и до встречи с ними я не раз вспоминал пережитое. В первые годы после войны я, как, наверное, многие участники ее, часто совершал весь путь - от дома до фронта, затем вместе с фронтом в глубь Родины и в тыловой госпиталь, потом снова на фронт, к новым боям и... плену. Почти с физической болью шел я вновь мучительной дорогой от родных мест до лагеря военнопленных в северо-западной Германии. В страхе вскакивал по ночам, увидев себя во сне в немецком концлагере.

Сначала эти возвращения в прошлое с его бедами и горем, с неудачами и ошибками, смертями и ранами вызывали боль, острую, как ожог, тревожили, как свежие ссадины. С годами боль утихала, ожоги и ссадины покрывались "корочкой". Чем дальше в глубь истории уходила война, тем реже и менее остро вспоминалось трагическое прошлое. Время - великий исцелитель душевных ран - сгладило многое. Оно примирило то, что казалось непримиримым, заставило простить то, что нельзя было вообразить прощенным, сблизило то, что представлялось навсегда диаметрально противоположным. И случайный, короткий взгляд, который бросает человек время от времени назад, в свое прошлое, схватывает теперь только неясную, как бы подернутую осенним туманом картину.

...В тот вечер, простившись с Казимиром Стажинским у здания ООН, я долго ходил по каменным коридорам Нью-Йорка. Накаленные за день стены домов все еще излучали жару, воздух был недвижим и душен. Мысли мои метались между нынешним и прошлым, и вместе с ними я то уносился в далекую Германию или Бельгию, то возвращался в Нью-Йорк. На горячем камне заокеанского города перед моим мысленным взором вырастали вдруг заснеженные леса или заросшие горы и тут же исчезали, уступая место огромным черным коробкам.

В грустные воспоминания врезался пугающий вопль ночного газетчика:

- Катастрофа голландского самолета! Сто человек погибли в Атлантике! Гибель самолета! Гибель самолета!

Звонкий мальчишеский крик остановил меня и заставил осмотреться. Черные стены коридора с редкими пятнами света тянулись неведомо откуда и неведомо куда. Они поднимались отвесно к звездному небу, в котором мерно гудел невидимый самолет. Лишь его оградительные огни - зеленый и красный вспыхивали на мгновение по очереди, как два подмигивающих друг другу глаза.

- Катастрофа голландского самолета! Сто погибших в Атлантике!..

Я не сразу понял, почему этот крик так напугал меня. Катастрофы в воздухе происходят нередко, и в те дни в США разбились несколько самолетов. Потом догадался: гибель "летучего голландца" встревожила потому, что я прилетел в Америку именно с этим самолетом и на нем же должен был вернуться пару дней спустя.

Газетчик, мальчик лет четырнадцати, разложил газеты прямо на тротуаре перед большим, ярко освещенным окном аптеки. Он, вероятно, только начинал свою карьеру, находил в ней удовольствие и самозабвенно орал:

- Грандиозная катастрофа! Сто пассажиров на дне Атлантики!..

В свете аптечного окна я прочитал страшный и загадочный рассказ об исчезновении в Атлантическом океане "летучего голландца". Катастрофа произошла необъяснимо и настолько быстро, что команда не успела послать по радио ни призыва о помощи, ни прощания. Все погибли, не оставив живущим ни единого слова, которое могло бы объяснить причину трагедии. Специалисты не исключали возможность диверсии. Исходя из этого, Голландская авиакомпания временно прекратила полеты через океан, чтобы проверить другие самолеты.

Океан, когда находишься по ту сторону его, предстает огромной и мощной преградой. Пока не переберешься через него, все время чувствуешь, что не сделал еще самого главного. И хотя от Англии, Франции или Португалии до дома далеко, все же, ступая ногами на твердь Европы, вздыхаешь с облегчением: главное препятствие позади. Кажется, что с любого края европейского континента можно домой пешком дойти. Там, в Америке, вольно или невольно всегда ощущаешь, что тебя отделяет от дома, от Родины океан, могучий и загадочный, большой и жестокий.

Озабоченный неожиданно возникшим затруднением, я начал уже рано утром на другой день названивать в конторы авиационных компаний. Скандинавская, Панамериканская, Трансмировая, Британская, Французская ответили вежливо:

- Очень жаль... Ничего в течение ближайшей недели.

Почти без надежды набирал я номер бельгийской компании "Сабена". В Брюсселе шумела Всемирная выставка, и в Бельгию рвались из Америки тысячи и тысячи туристов. Билеты туда были раскуплены на месяцы вперед. И вдруг клерк вместо обычного "очень жаль" попросил подождать "одну секунду" и примерно через две минуты деловым тоном сообщил:

- Случайно освободилось одно место. Только взять его надо сейчас же...

Жизнь или случай вели меня к местам и людям, с которыми было тесно связано мое прошлое. Помимо моей воли из этого прошлого перебрасывался мост в настоящее, и я готов был идти по нему, куда бы он ни привел меня.

День спустя в аэропорту Айлдуайльд я вновь встретился со Стажинским, летевшим домой также через Брюссель. Измученный душными бессонными ночами и дневной жарой, Казимир выглядел утомленным и более старым. На бледно-желтом лице резко выделялся розовеющий шрам, и морщинки, обрамлявшие его, были гуще и глубже. На вопрос, как он поживает, Казимир обреченно махнул рукой.

- Задыхаюсь.

- Жарко?

- Очень... Мечтаю поскорее оказаться в воздухе и как можно выше, чтобы поспать, наконец...

Мы прошли в ресторан аэропорта, где было сумрачно и прохладно, тихо, будто вдали играла музыка, и бесшумные официанты подавали запотевшие от холода бутылки с фруктовой и содовой водой. Стажинский сразу повеселел, поправил галстук, сдернутый на сторону, а через некоторое время попросил официанта дать "что-нибудь покрепче, чем фруктовая вода".

Репродуктор, хриплый, едва внятный, как репродукторы на всех вокзалах и во всех аэропортах, пригласил пассажиров, летящих в Брюссель, к выходу. Прервав разговор, мы расплатились и покинули ресторан. В шумном холле снова попали в раскаленно-душную атмосферу, и капли крупного пота заблестели на большом бледном лбу Стажинского, будто на него брызнули водой.

У широких стеклянных дверей, ведущих на поле аэродрома, мы столкнулись с кучкой высоких тощих людей с серыми лицами, в серых полуспортивных костюмах. Почти с первого взгляда выделил я среди них человека с впалой грудью и узким лицом, на котором треугольником торчал нос. Я поклонился. Крофт изобразил тонкими серыми губами "чиз" и едва заметно кивнул.

Однако минуты через две, извинившись перед своими

соседями, Крофт подошел к нам и начал задавать обычные, пустые вопросы: "Как поживаете? Что чувствуете? Не правда ли, сегодня погода все-таки лучше, чем вчера?"

Он оживился несколько, узнав, что мы оба летим в Брюссель. Крофт считал, что нам повезло: мы сможем и непременно должны посмотреть выставку.

- В покорении природы человек проявляет больше ума и смелости, чем в покорении своих собственных страстей, - заметил он. - Вы увидите там, что человек проник в атом, в молекулу, в кристалл...

Англичанин помолчал немного, почему-то вздохнул и совсем другим тоном добавил:

- А вот в сердце другого человека проникнуть не может...

В голосе дипломата послышались неожиданно печальные нотки. То ли после очередной выпивки, то ли от нью-йоркской жары лицо его было особенно серо и помято, светлые глаза смотрели холодно и устало.

Перед расставанием во мне снова проснулось старое чувство дружбы, которое держало нас вместе в концлагере, во время побега через Германию. Снова увидел я перед собой не надменного английского дипломата, а товарища по бедам.

- Помните, Лесли, было время, когда нам не стоило большого труда проникнуть в сердца друг друга? Чужие и разные, мы жили и часто действовали тогда как братья. Ведь так?

Крофт одобрительно закивал головой.

- Конечно. Конечно, так.

Он вдруг нахмурился, точно вспомнил о серьезной и неустранимой неприятности.

- Да, но тогда была особая обстановка. Мы не можем загнать все человечество в концентрационный лагерь, чтобы люди раскрыли друг другу свои сердца и стали братьями.

- Вы думаете, что это возможно только в концлагере?

Англичанин пожал плечами.

- Я ничего другого не вижу. Технические способности человека оказались, к сожалению, выше его моральных качеств: уже теперь он способен уничтожить не только себя, но и все живое на этой планете, а построить человеческое общество как единую счастливую семью не в состоянии.

- Вы настроены слишком мрачно, Лесли.

Дипломат скривил в горькой усмешке тонкие бледные губы.

- Я не всегда так настроен... Но иногда мне действительно противно думать о людях. И тогда хочется либо взорвать к чертовой матери земной шар, либо пустить пулю в лоб...

Мы группкой вышли на площадку перед большим зданием

аэровокзала со сплошной стеклянной стеной. Наши самолеты стояли на одной бело-красной линии метрах в сорока друг от друга. До ближайшего к вокзалу самолета "Сабены" мы шли молча, перед ним остановились, опустили портфели и дорожные сумки к ногам и простились с Крофтом.

Когда наш самолет вышел на старт и ринулся по сверкавшей под вечерним солнцем дорожке, я забыл об англичанине и даже Стажинском, сидевшем недалеко. Мое внимание было целиком захвачено взлетом. Навстречу неслись, все убыстряя бег, резко вспыхивающие стеклянные пузыри светового ограждения, ускорялось вращение огромного зеленого диска аэродрома, центром которого было светло-серое здание аэровокзала. Бетонно-асфальтовый холст дорожки летел назад, будто неведомый гигант за нашей спиной рванул его из-под колес самолета с колоссальной силой и яростью. Земля со всеми постройками, самолетами, автомашинами и полосатыми будками замедлила свой бешеный бег лишь после того, как самолет, перестав сотрясаться, оторвался от нее. Чем выше взмывал он в воздух, тем медленнее двигалось все земное, удаляясь от нас и уменьшаясь в размере, словно сжимаясь.

Справа появился огромный город: Нью-Йорк. Даже в то погожее предвечерне он был сер и мрачен. Сквозь грязный полог, висевший над ним, едва пробивалось сверкание рек Хадсона, которую мы с давних пор зовем по-немецки Гудзоном, и Восточной. В центре Манхэттена - острова, где расположен основной район Нью-Йорка, - полог пронизывали заостренные, как карандаши, верхушки дюжины небоскребов. На них вспыхивало иногда яркое золотое пламя: солнце посылало городу прощальные поцелуи.

Неуловимо, но все же заметно отдалялся от нас этот большой многоэтажный город со своими бесчисленными одноэтажными пригородами. От Нью-Йорка к пригородам тянулись дороги. Как паутина, исходящая из одного гнезда, они захватывали городки, поселки, отдельные усадьбы и фермы. По дорогам текли автомобили.

Вместе с Нью-Йорком и его пригородами отступала в глубь все растущего дымно-голубого пространства зеленая твердь, усыпанная городками и поселками, исполосованная дорогами. Поросшая лесами, поредевшими, правда, под напором домовитого и в то же время непоседливого человека, Америка медленно отодвигалась назад, поближе к большому, уже негреющему солнцу. А распластавшийся внизу океан, величественный и могучий, катил и катил на нее свои серебряноспинные синие волны, точно подталкивал материк все

дальше и дальше на запад.

Одинокий и беззащитный, наш самолет, казалось, повис в беспредельном пространстве между небом и океаном. Чувство одиночества и беспомощности усилилось, когда Америка утонула в бездонности сумерек, наступивших там, внизу, значительно раньше.

Сбоку, но немного выше нас появилась луна. Сначала почудилось, что кто-то заботливый и огромный поднял высоко фонарь, чтобы нам веселее и легче было добираться ночью до Старого Света. Но когда самолет вдруг стал нырять и метаться, этот желтый, как подсолнечник, круг показался мне отвратительной рожей злобного чудовища, которое заглядывало в квадратное окошко и ухмылялось: "Попались, голубчики! Вот как запущу в океан... Навсегда отлетаетесь!"

И самолет, ставший игрушкой этого чудовища, то падал так, что у пассажиров внутренности стискивались к горлу, то взмывал вверх, вдавливая нас в кресла, то раскачивался из стороны в сторону, как на качелях. Лишь натешившись вдоволь, чудовище оставило нас в покое, спрятавшись само не то в бездонной темноте неба, не то в невидимом теперь океане.

К полуночи в большой сигароподобной кабине все угомонились. Расположившись по-домашнему в откинутых назад креслах, пассажиры спали. Одни запрокинули головы, другие склонили их на плечо, третьи уронили на грудь. На круглом стуле у буфета задремала маленькая белокурая стюардесса. Струйки света, бьющие из узких щелей в потолке, желтыми полосами падали на проход, выхватывая из сумрака лишь подлокотники крайних кресел да беспомощно повисшие с темными веточками вен руки спящих.

Только я не мог заснуть. Мысли мои все чаще возвращались то к Стажинскому, дремавшему в своем кресле, то к Крофту, который тоже летел теперь над океаном, может быть, так же прижимая лоб к холодному квадрату окошка и всматриваясь в черную пустоту. Сначала я вспомнил расставание на аэродроме, потом встречи в Нью-Йорке, затем разговоры о старых друзьях и давних событиях.

Память моя уходила все дальше и дальше в прошлое. Я опять вспомнил, как вместе с Самарцевым поднял с мокрого земляного пола и положил на нары поляка с черной запекшейся пятеркой на изуродованном лице. Так же ясно представил, как впервые узрел в проходе между нарами англичанина с носом торчком и презрительно оттопыренной нижней губой. Я снова перенесся в барак штрафных, на нары, и, как бы закатив глаза под лоб, вновь увидел через заплаканное окошко петлю виселицы, похожую на

руку смерти. Вокруг меня снова появились обросшие, истощенные лица моих друзей и товарищей, вместе с которыми я вышел в тот холодный зимний день за ворота лагеря. Я опять шел той дорогой среди белых полей, дымящихся поземкой, до моста через реку - самого памятного моста в моей жизни: мы вступили на него заключенными, а пересекли уже вольными людьми. Но как дорого заплатили тогда за свободу! Страшно дорого! И не только на мосту, а и позже, по пути в Голландию...

В затемненном самолете, летящем глухой ночью со спящими пассажирами через Атлантический океан, ничто не могло оторвать, отвлечь меня от воспоминаний, все сильнее захватывающих меня, вернуть из прошлого в настоящее. Не тревожимый никем, я остался в этом прошлом на всю ночь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Всякое дело начинается избранными. Неважно, избрали они сами себя или их избрал кто-то другой. По каким-то явным или тайным причинам двое, трое, десятеро договорились действовать совместно. Взвесив - открыто или в уме сильные и слабые стороны друг друга, решили, что могут добиться желанной цели. Иногда они полагаются только на себя, иногда заранее рассчитывают на поддержку других. В первом случае замысел более или менее сохраняется, во втором - часто меняется. Силы, примкнувшие к инициаторам, придают их начинанию иное направление, ставят новые цели.

Мысль о побеге сидела как заноза в каждом обитателе концлагеря, но план побега вынашивался, разрабатывался до мельчайших деталей маленькой группкой, которую избрал Самарцев, а мы, участники замысла, согласились с его выбором. Мы надеялись, что удар, который первыми нанесем охранникам, будет поддержан другими. И наша надежда оправдалась. В схватке на мосту нам удалось избавиться от конвоя и получить желанную свободу. Однако первый удар оказался единственным шагом, сделанным по нашей воле, согласно с нашим замыслом. Все остальное развивалось совсем, совсем не так, как нам хотелось.

Мы потеряли на мосту Егорова, Зверина и Жарикова. Вася Самарцев был тяжело ранен. Из первой семерки, которая подготовила схватку, остались трое: опасно неуравновешенный от крайнего ожесточения Федунов, медлительный тугодум Устругов и я. Все трое могли идти за кем-нибудь, но не могли вести. Ни у кого из нас не было жизненной мудрости и обаяния Самарцева, ни командирского опыта Жарикова.

Бремя ответственности, которое свалилось на нас, повергло в смятение. Мы не знали, что делать дальше. И долго не могли

даже решить, что делать с Самарцевым. Сбитый им охранник запустил очередь из автомата по Васиным ногам и почти перерубил их выше колен. Собравшись над ним тесным кружком, мы только сочувственно охали и ахали, поносили самыми грязными словами охранников. Самарцев пытался подняться, ухватившись за мою ногу, но тут же со стоном падал назад.

- Не бросайте меня здесь, - говорил он торопливо и испуганно. - Я не хочу оставаться в их руках. Они теперь со мной что-нибудь особенно страшное сделают.

И опять старался оторвать спину от асфальта. Я нагнулся и придержал его за плечи.

- Лежи, не возись. Ты только хуже себе делаешь...

Федунов молча отстранил меня, взял руку раненого и сунул в нее пистолет. Зажимая его пальцы на ручке пистолета, глухо пробормотал:

- Не пойдешь ты никуда, не сможешь... Ноги у тебя начисто перебиты. Не повезло тебе, друг Вася... А нам бежать надо. Иначе все тут останемся.

Самарцев поднял руку, чтобы посмотреть, что дали ему. Синевато-черный "люгер" с плотной ручкой и длинным стволом удивил его. Внимательно и тревожно рассматривал он пистолет, словно впервые видел, и никак не мог понять, зачем его дали. Вдруг поняв, метнул взгляд, полный смертельной тоски и ужаса, на меня, на Устругова, на Стажинского. Никто не осмелился посмотреть ему в глаза. Тогда раненый, точно стыдясь чего-то, закрыл глаза и, положив руку с зажатым пистолетом на грудь, затих.

Эта обреченная покорность была тяжелее страха смерти, и я готов был завыть от горя и обиды бессилия. Вокруг нас расстилалась вражеская страна. Сама жизнь зависела от того, насколько быстро будем двигаться мы. Люди, теряющие способность передвигаться, теряли самую жизнь. Окружившие Самарцева понимали это и смотрели на него такими же опустошенными глазами, какими смотрят на могилу, принявшую в свое сырое черное ложе гроб с близким человеком. Вот тогда-то мрачно-молчаливый Устругов, вдруг грубо выругавшись, оттолкнул локтем Федунова и, нагнувшись над Самарцевым, вырвал у него пистолет.

- Мы возьмем его с собой, - объявил он, не глядя ни на кого.

- Он же шагу ступить не может, - резко бросил Федунов. - Ты только измучаешь его, а конец все равно один. Знаю я вашу интеллигентскую жалость: за нее втридорога платить придется.

Устругов повысил голос:

- Мы возьмем его с собой!

- Действительно, мы только затянем агонию, - сказал кто-то за моей спиной.

- Мы возьмем его с собой! - почти закричал Георгий. - Возьмем с собой! Возьмем!..

Он распахнул шинель одного из убитых охранников, расстегнул китель и, добравшись до белья, сорвал нижнюю рубашку. Поняв его намерение, я сделал то же. Разодрав рубашки, мы забинтовали поврежденные ноги. Поверх повязки положили дощечки от разбитой бочки, закрыли разрезанными штанинами и закрутили срезанным телефонным проводом.

После перевязки Георгий надел на раненого шинель охранника, его рукавицы и шапку. Затем так же торопливо снял для себя шинель и сапоги с другого охранника. Мы последовали его примеру: уже почувствовали, что появился новый враг - холод. Лишь Федунов отказался переодеваться, с отвращением плюнув на труп конвоира, которого указали ему.

Устругов взял Василия на руки, и вся группа почти бегом пересекла мост, задержавшись на минуту над телом Жарикова. Капитан лежал, широко раскинув руки. Повернув лицо на восток, он смотрел туда широко открытыми, остановившимися глазами.

Пока добирались до леса, погода ухудшилась. Снова надвинулись тучи, иссиня-черные и тяжелые, как чугунная заслонка. Посыпались крупные хлопья. Сначала редкие и легкие, они реяли в холодном воздухе, словно не решались опуститься на поле. Потом, заметно плотнея и убыстряясь, повалили настолько густо, будто на нас низринулся белый водопад. Затем этот отвесный водопад стал более отлогим, но скорость его вопреки законам тяготения не уменьшилась, а возросла. Через несколько минут снег полетел над полем с такой силой, что нам пришлось повернуться к нему спиной и пробираться дальше боком. Метель, бушевавшая здесь последние дни, вернулась.

Это обрадовало нас и напугало. Радовались мы потому, что снег заносил следы и затруднял преследование. Боялись того, что холод убьет плохо одетых, голодных людей раньше, чем охранники бросятся в погоню.

В лесу, который вырос перед нами темной гудящей стеной, было тише. Над головами свистели и скрипели верхушки деревьев. Снежные хлопья сыпались вперемежку со старыми черными листьями, умершими еще осенью, но удержавшимися где-то наверху. Еловые лапы, согнувшиеся под тяжестью снега, цеплялись за людей и сбрасывали на них свой холодный груз.

- Остановимся на минутку, - попросил Георгий, кивнув головой на три ели, тесно стоявшие недалеко от опушки. Их плотные ветки создавали что-то вроде естественного шалаша.

Сюда ветер не замахивал, и сухая трава была лишь припорошена.

- Рано останавливаться, - пробурчал кто-то. - Нас тут сразу сцапают.

Я оглянулся, чтобы узнать, кто возражает. За нами двигались человек семь-восемь, наверное поджидавших за крайними деревьями. Одинаково одетые, одинаково обросшие и истощенные, они походили друг на друга, как пни после лесного пожара. Так и не узнав, кому принадлежал голос, я поддержал:

- Остановимся тут.

Беглецы расположились вокруг раненого тесной группкой. Нас оказалось совсем немного. Вероятно, остальные, вырвавшись на свободу, убежали в глубь леса. Страх погони - они ведь не знали исхода схватки - будет подстегивать их до тех пор, пока они не попадают от изнеможения. Заключенные не знали о нашем замысле, но каждый мысленно совершал побег из лагеря ежедневно, обдумывал в деталях, мечтал о нем. Каждый давно избрал свой путь. Не многие дойдут до конца его, но все будут пытаться дойти.

Быстро оглядев собравшихся здесь, я еще больше упал духом. Обдумывая свой замысел, мы допускали, что кого-то потеряем в схватке или в пути. Но не думали, что вольными или невольными участниками побега окажутся чужие нам люди, на которых трудно положиться, которым нельзя доверить свои жизни.

У самых ног раненого сидел голландец Хаген. Он с удивлением посматривал то на Стажинского, то на меня. Озадаченно оглядывался вокруг, словно хотел, но не решался спросить: "Зачем мы здесь? И долго ли тут пробудем?" Он еще не пришел в себя после того, что пережил на мосту.

В лагере рыхлый, неповоротливый и неуклюжий голландец был воплощением беспомощности. Его широкое лицо, бывшее когда-то, вероятно, круглым и полным, напоминало плохо испеченное яблоко - сильно помятое, со сморщенной, жухлой кожей. Под глазами чернели иссеченные морщинами мешки. По лицу Хагену можно было дать все пятьдесят, хотя на самом деле ему совсем недавно исполнилось тридцать пять лет. Встречаясь с соседями по бараку взглядом, он улыбался приветливо и немного заискивающе, а обращаясь к кому-либо, неизменно извинялся:

- Прошу прощения...

Соседи недоумевали, как, чем мог этот бывший учитель заслужить немилость нацистов? Голландец охотно рассказал, за что попал в концлагерь. Он удивил всех как поступком своим, так и рассуждениями. Оказалось, Хаген решил не подчиняться порядкам, установленным чужаками в родном городе. Первое же нарушение полицейского часа привело его в немецкую

комендатуру. Там учителя продержали до утра и выпустили, посоветовав в будущем внимательнее смотреть на часы. Второй раз с ним имели разговор. Немецкий поручик с явным удовольствием напирал на умственную ограниченность местных жителей, не умеющих даже соблюдать порядок, наведенный, наконец, другими. В возмутительной склонности к беспорядку поручик видел главное доказательство разложения Запада и обещал покончить с этим. После третьего задержания Хагена предали военному суду: хотели его проучить и других постращать.

На суде учитель попробовал доказывать, что сердце человека, его ум нельзя покорить силой, что их можно покорить только умом и сердцем. Ошеломленный председатель суда, полковник, сорвал с носа очки, пошептался с членами суда, майором и лейтенантом, и тут же лишил подсудимого слова. Не выходя из-за стола, суд торопливо посовещался и определил: в концлагерь на три года.

- Вздор! - презрительно бросил сверху Крофт, когда Хаген закончил рассказ. Его нары были над нарами голландца, у которых мы собрались, и англичанину пришлось свесить голову. - Какой вздор!..

Учитель вскочил и, растерянно улыбаясь, поклонился верхним нарам.

- Прошу прощения... Почему же это вздор?

Крофт приподнял голову и показал пальцы, сложенные в щепоть.

- Потому что, если сложить все в скорлупу ореха, то все, что вы рассказываете и что проповедуете, вздор, и больше ничего.

Хаген обиженно скривил губы, замигал большими светлыми глазами и двинул руками снизу вверх: то ли хотел поднять нас с нар, то ли призывал в свидетели.

- Это, прошу прощения, неверно. Я рассказываю не вздор и никакого вздора тоже не проповедую...

Озлобленные и потому огрубевшие, мы все же не решались осуждать или высмеивать учителя, хотя, конечно, не разделяли его взглядов. Мы-то хорошо знали, что с захватчиками нельзя меряться сердцем и умом.

- А почему бы нет? - удивленно вопрошал голландец. - Почему бы нет? В наш век цивилизации, где все создано разумом человека, главная сила - он, разум...

- Разум, конечно, сила, - отозвался Самарцев. - Все же я думаю, что с нацистом, одетым в военную форму, лучше разговаривать с дубиной в руках.

Хаген даже всплеснул руками.

- Это как раз то, что пытаются делать они! Нацисты подкрепляют свои неубедительные доводы дубиной. А чего добились? Сначала почти вся Европа, а затем добрая половина мира вооружилась дубинами, чтобы опровергнуть их доводы. Нет, нет, в век идей дубина устарела. С идеями можно состязаться только идеями, как с музыкой только музыкой. И сердце человека можно покорить только сердцем, ум - умом...

И теперь он вопрошающе поглядывал на нас покрасневшими и плохо видящими без очков глазами, явно не зная, что делать с неожиданно свалившейся свободой.

Крофт, тоже оказавшийся здесь, оставался, наоборот, равнодушно-сдержанным, будто ничего особенного не случилось. Он снял бутсы и вытряс снег, тщательно очистил жалкое подобие носков. Англичанин занимался этим с такой серьезной озабоченностью, точно ничего важнее на свете не существовало.

В противоположность ему бельгиец Валлон, казалось, кипел от возбуждения. Он никак не мог усесться как следует, двигал ногами, шевелил грязными узкими руками. Его черные глаза, особенно выделявшиеся на бледном худом лице, светились радостью. Валлон осматривал всех с таким видом, словно говорил: "Наконец-то мы вырвались! Теперь мы покажем, что значит быть свободными".

- Молодцы! Вот молодцы! - проговорил он, улыбаясь Стажинскому, Федунову, Георгию, мне. - Я даже не догадывался, что вы подготовили это дело. И так великолепно, чисто сделали!

Устругов сердито вскинул голову.

- Великолепно... чисто... - передразнил он. - Мы там половину друзей своих оставили. Самарцева вот в каком состоянии подобрали...

Валлон пожал плечами, явно жалея, что его неправильно поняли. Он понимал, наверное, наши чувства, но радовался за себя, и глаза его продолжали по-прежнему излучать сияние. Англичанин оторвался от своих бутсов, услышав раздраженное замечание Устругова, его тонкие губы сложились в улыбочку, которую можно было принять и за насмешку и за укор. Но он тут же вытянул губы в нитку, придав им вновь равнодушно-безучастное выражение.

С горечью увидел я француза Бийе. Нет, он не был беспомощным пацифистом, как Хаген, или себялюбцем, как Крофт, или вертлявым болтуном, каким прослыл в лагере Валлон. Француз был близок нам по духу, по поведению, по симпатиям к советской земле. Охранники били этого еще молодого человека не меньше, чем других, но побои почти не оставляли на нем следов. Кровоподтеки исчезали у него в один день, а синяки

сливались с темным цветом кожи. Черные глаза француза искрились не то радостью, хотя радоваться было нечему, не то внутренним огнем. Он насвистывал веселые мелодии даже тогда, когда весь барак был охвачен унынием.

- Молодец! - говорил про него Самарцев. - Не сдается, что бы эти мерзавцы ни делали...

Дрюкашка запретил ему свистеть, но Бийе не затих. Тогда эсэсовцы вытащили его из барака на площадку под виселицу, долго били и топтали ногами. У Бийе несколько дней подряд шла горлом кровь, он стал кашлять. Француз все же пытался свистеть, но вскоре бросил: его угнетали те жалкие звуки, которые раздавались теперь вместо прежних мелодий.

Бийе пробежал от моста до леса не больше полутора километров, а уже сильно устал. Вытирая рукавом пот с высокого морщинистого лба, он тяжело, со свистом дышал, часто надрывно кашлял. Правда, он посматривал на соседей с радостной улыбкой, которая еще больше подчеркивала его истощенный, больной вид. Ввалившиеся глаза блестели ярче обычного, румянец на серых щеках приобрел кирпично-фиолетовый оттенок. Бийе не мог далеко уйти, и уже по пути сюда его подхватывал под руку чех Прохазка.

Чешский историк и литератор Прохазка, сидевший за спиной француза, посматривал на меня и Устругова с явной укоризной, точно говорил: "Нехорошо вы поступили со мной. Очень нехорошо". Я понимал упрек и старался не смотреть в сторону чеха. Мы действительно нехорошо поступили с ним.

Прохазка казался слишком изнеженным и мягким, и мы с самого начала не хотели привлекать его к делу, которое требовало смелости, решительности и даже жестокости. Чех же, случайно толкнув локтем кого-нибудь или наступив на ногу, смущался и просил извинения таким тоном, что становилось жаль самого. По утрам, поднявшись с нар, он непременно раскланивался со своими ближними и дальними соседями и желал им "доброго утра". Двигаясь по проходу между нарами, он рассылал свои "добрые утра" по всем углам. На улице приветствовал "добрым утром" даже охранников. По вечерам, укладываясь спать, желал соседям "спокойной ночи" с таким усердием, будто верил, что, не пожелай этого, люди будут томиться всю ночь.

- Что же тут плохого? - удивился Стажинский, выслушав мое ироническое замечание. - Вежливость - одно из приобретений цивилизованного человека, которое позволяет ему награждать других и не беднеть самому, а становиться богаче. Прохазка хочет показать, что охранники не лишили и не могут лишить его этого

приобретения. Отсутствие вежливости - первый признак оскудения души.

Самарцев, которому я рассказал о словах поляка, подумал немного и решительно согласился:

- Верно. Грубому озверению нацистов чех противопоставляет яркую человеческую черту. Это как насвистывание мелодий Бийе, только более надежно. За вежливость даже охранники не решатся выбить зубы или растоптать сапогами легкие.

Прохазка знал Германию, в совершенстве владел немецким языком, а также французским и английским. Его знания мы рассчитывали использовать после того, как вырвемся на волю. Пока же старались держать чеха подальше от своих приготовлений. Однако Прохазка заметил, что советские люди что-то замышляют. Улучив удобную минуту, подошел ко мне.

- Когда бы и на что бы я ни потребовался, русские друзья могут располагать мною, как собой.

Я постарался изобразить на своем лице удивление, но, встретив прямой и понимающий взгляд чеха, пробормотал:

- Спасибо... Будем полагаться на вас, как на себя...

И мы стали скрывать свои приготовления еще усерднее. Перед схваткой с конвоем я хотел предупредить и чеха, но не нашел его в полосатой одноликой толпе. Помогал он нам или нет, я не знал.

Уже совсем с неприязнью и даже раздражением обнаружил я среди бежавших немца Брюкнера и своего соотечественника Масленкина. Брюкнера все считали врагом. Ненависть, которую зажгли в наших сердцах немцы в военной, особенно в эсэсовской форме, была так сильна, что должна была обжечь и его. Как на грех, немец, говоривший немного по-русски, назойливо старался сблизиться с нами. Заговаривал несколько раз о Ленинграде, где будто бы работал в тридцатых годах. Пожаловался, что в Германии его подвергли какому-то страшному наказанию за разговоры против войны. Наконец обругал Гитлера и компанию за несчастья, выпавшие на долю Германии. Мы единодушно решили, что Брюкнер - шпион и провокатор, и стали готовиться к расправе над ним.

Немец, вероятно, понял, что ему не пробить невидимую, но ощутимую стену враждебности. Чувствуя, что за настороженным равнодушием соседей зреет удар против него, подошел как-то ко мне:

- Я есть не враг вам, я есть друг вам.

- Мы знаем, кто вы, - ответил я. - Иначе вы не были бы среди нас.

Глаза, наверное, выдали меня. Схватив мои руки выше локтя,

Брюкнер почти с отчаянием зашептал:

- Вы должны мне верить, что я не враг есть...

Мы не верили ему, остерегались его, как шпиона Дрюкашки, и искали случая избавиться от него. Но не избавились в лагере, не избавились и на мосту. Теперь он посматривал на нас выжидательно и твердо, точно говорил: "Как бы вам ни хотелось, я все-таки тут и останусь с вами. Можете замышлять против меня что угодно, ваших забот и хлопот я облегчать не буду".

Он явно сторонился Масленкина, которого тоже подозревали в шпионстве. Низкорослый, необычайно широкий в кости Масленкин появился в лагере откормленным толстяком, и его большой живот нависал на самые колени. Грузная, неповоротливая фигура настолько не вязалась с какой-либо деятельностью, наказуемой концлагерем, что его стали расспрашивать, что он такое натворил. Толстяк кивал на эсэсовцев:

- Спросите их.

Охранников, конечно, не спрашивали: за такое любопытство полагалось избиение. И все же Медовкин узнал, что новый заключенный помогал немцам "наладить торговлю" в Бобруйске и ухитрился "загнать налево" несколько грузовиков картошки. Его поймали, судили и прислали сюда.

За первые три-четыре недели Масленкин растерял жир, превратившись в большой скелет. С тех пор ни о чем, кроме еды, не говорил и ничем не интересовался. Прекратил эти разговоры лишь около месяца назад, начав заметно поправляться. Удивленные соседи нашли у него кусок сала. Охранники подкармливали толстяка за какие-то подлые услуги, и мы стали опасаться его не меньше, чем Брюкнера.

Масленкин догадывался о нашем отношении к нему и старался держаться теперь около немца: как же, соучастники! Немец, однако, ушел от него под соседнюю елку. Вскоре и Масленкин перебрался туда же.

Федунов заметил это и подошел к ним.

- Затесались-таки... Честные люди на мосту полегли, а эти целехонькими оказались...

Немец и Масленкин подняли на него испуганные глаза, ничего не ответив. Павел с ожесточением сплюнул.

- Подождите, уйдем подальше, мы вывернем вам души и посмотрим, что там у вас на дне прячется.

Был тут еще один - Калабутин, которого я совсем не знал. Он попал в лагерь, вероятно, недавно: его лицо не было еще истощено, хотя достаточно изуродовано.

То, что все люди носили такие же, как у нас, полосатые

фуфайки, штаны и бутсы, не делало их надежными товарищами на долгом и трудном пути, который лежал перед нами.

Мы не могли сказать им: "Останьтесь здесь, мы уйдем одни". Подготовили побег, совершили нападение на конвой и избавились от него люди, которые знали, верили друг другу, как самим себе. Но участников побега мы уж не могли выбрать: обстоятельства, не зависящие от нас, привели к нам и случайных людей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Нас пока связывала общая опасность, и мы, не рассуждая долго, решили уходить отсюда в глубь леса. Исчезновение колонны заключенных могло быть скоро обнаружено. Машина, посланная на поиски, наткнется на трупы на мосту. Погоня, естественно, бросится в соседний лес.

Удерживала нас вместе также беспомощность раненого Самарцева. Упрямый Георгий хотел нести его один: "Сам взял, сам и понесу". Другие воспротивились этому: мы хотели поделить бремя. По совету Стажинского сделали носилки и переложили раненого. Сначала несли Устругов и я, потом Федунов и Стажинский, Прохазка и Калабутин. Затем к носилкам протиснулись Валлон и Хаген и потребовали, чтобы им тоже дали понести Самарцева. Бийе и немец не нашли нужным спрашивать у кого-либо разрешения, молча взяв носилки из рук бельгийца Хагена, будто считали это не только своей обязанностью, но и правом. Француз не смог долго нести, и равнодушно-безразличный Крофт сам вызвался заменить его.

Лес то редел, то становился гуще, снег под ногами почти совсем исчезал, то доходил до колен. Метель не унималась, хотя в глубине леса только раскачивающиеся вершины свидетельствовали о ее буйности. Временами раскачивание верхушек уменьшалось, скрип стволов и постукивание мерзлых сучьев затихали, будто лес прислушивался к чему-то. Тогда беглецы также прислушивались, ступая осторожнее.

В одно из таких затиший мы услышали церковный звон. Одинокий колокол ронял редкие звуки, которые летели друг за другом с медлительностью утомленных птиц. Падая гулко и густо, они как бы распластывались в пространстве, становясь все тоньше и тоньше, пока не растаивали совсем. В этих воплях колокола слышались скорбь и тревога: то ли прощались с кем-то, то ли сзывали людей.

Брюкнер, несший с англичанином носилки, кивнул головой в сторону набата.

- Там есть деревня, а на деревне похороны есть.

Минуты две стояли мы, прислушиваясь, потом резко

повернули направо и пошли прочь. Набат скоро исчез, заглушенный гудением сосен. Однако, пройдя в новом направлении около часа, опять услышали звон, такой же медлительный и печально-тревожный. Беглецы остановились, повернувшись к немцу. В их взглядах было недоумение и требовательность.

- Имеется еще одна деревня с еще одни похороны, - сказал Брюкнер без прежней уверенности.

Настороженно и озабоченно прислушивались мы, словно хотели узнать по редким и тягучим стонам колокола, куда попали. Даже Самарцев приподнял на носилках голову, чтобы лучше слышать. Все помнили, что повернули прямо на ветер и шли против него. Однако две деревни с похоронами в такую погоду... Уж не обманул ли ветер, который покружил нас по лесу и вывел к той же деревне?

Беглецы совсем растерялись, когда, повернувшись спиной к деревне и пройдя по лесу еще около часа, опять услышали рыдающий набат. Носясь на крыльях ветра, он звучал то едва слышно, очень далекий, приглушенный, то обрушивался на нас силой, будто колокол висел прямо над головой где-то на вершине сосны. Столпившись вокруг носилок, мы всматривались в низкое темное небо, сеющее снег, точно в самом деле надеялись увидеть, откуда раздаются эти медные вопли.

Федунов растолкал беглецов и остановился перед немцем. Резко выпячивая нижнюю губу, что всегда было у него признаком ожесточения, издевательски спросил:

- Еще одна деревня с похоронами?

Брюкнер лишь пожал плечами. Тогда Федунов повернулся к нам и тихим, дрожащим от крайнего озлобления голосом, сказал:

- Этот проклятый немец водит вокруг одной деревни, чтобы охранники подоспели и сцапали...

И хотя Брюкнер шел впереди нас меньше, чем остальные, все уставились на него. Утомленные и голодные, мы были раздражены. Лишенные способности спокойно думать и взвешивать, легко поверили, что немец действительно обманывает нас.

- Убить его, гада! Мы далеко не уйдем, если сейчас же не избавимся от этого шпиона.

- Я есть не шпион, - твердо возразил Брюкнер.

- Не шпион! - передразнил Федунов. - Так мы тебе и поверили! Ведь тебя и в барак наш подсадили шпионить.

- Я не был подсажен к вам никем, - так же твердо опроверг немец. - Я был, как все, туда посажен, и они мне такую же судьбу приготовленной сделали.

- Врешь ты, гадина! Тебя и по-нашему говорить научили, чтобы русских подслушивать и коменданту доносить.

- Я русский язык в Ленинграде выучил, - защищался Брюкнер. - Я там на "Электросиле" почти два года техником работал.

- На "Электросиле" работал? - спросил молчавший всю дорогу Самарцев, приподняв на носилках голову.

Он учился в Ленинграде, знал город и хотел проверить Брюкнера.

- А где жили немцы с "Электросилы"?

Брюкнер с готовностью, даже обрадованно повернулся к нему:

- На Васильевском острове, на Детской улице, дом три жили.

- Верно, я знаю ту улицу, - подтвердил Самарцев. - Это на самой окраине Васильевского острова. И дом тот знаю, где немцы жили.

- Эка невидаль! - воскликнул Федунов. - Улица, дом... Может, его потому и подбросили к нам, что жил у нас и лопотать по-нашему научился.

- Я не был к вам никем подброшен. Я в концентрационный лагерь послан был, потому что против войны с Россией говорил.

- За это тут посылают не в концлагерь, а на фронт, - заметил Стажинский. - В штрафные батальоны на восток.

- Со мной они еще хуже сделали.

- Что же они сделали с тобой? - спросил Устругов с неприязненным интересом.

- Я не могу этого сказать, - тихо ответил немец. - Мне стыд большой будет.

- Вон оно что! Стыдится секрет свой выдать! - издевательски выкрикнул Федунов. - Как девчонка, потерявшая невинность... Смотрите, он даже краснеет, как девчонка!

Немец испуганно оглядывал людей, окруживших его. Он искал сочувствия. Обросшие лица были одинаково жестоки, ввалившиеся глаза смотрели со злым ожиданием.

- Так что же они сделали с тобой? - повторил Георгий с такой суровостью, что Брюкнер втянул голову в плечи, будто его ударили. Он всегда побаивался этого большого и молчаливого русского, который перенес свое озлобление против Гробокопателя на всех немцев.

- Они меня бесчестным сделали, - тихо проговорил Брюкнер, смотря себе под ноги.

- Что-о-о-о? - удивленно протянул Федунов. - Обесчестили? - Он подпрыгнул на месте и захохотал, откинув голову так резко, что его шапка отлетела метра на два. - Обесчестили!.. Невинности лишили!.. Ха-ха-ха-ха!

Красное лицо немца покрылось капельками пота. Он облизал дрожавшие губы и так же тихо подтвердил:

- Да, обесчестили... Они меня из мужчины в немужчину сделали.

Брюкнер расстегнул ворот полосатой фуфайки, поднял на соседей испуганные и упрашивающие глаза, но увидел на их лицах лишь злорадное любопытство и снова уставился себе под ноги. Он понимал, что недоверие только увеличится, если не ответить на вопрос. И, вдруг решившись, комкая фразы и путая русские слова с немецкими, стал рассказывать свою действительно страшную и постыдную для тогдашней Германии историю.

После возвращения из Ленинграда в конце 1933 года Брюкнер поступил на завод в Альтоне, под Гамбургом. Нацисты уже хозяйничали в Германии, и некоторые его знакомые по "Электросиле" отправились прямо в тюрьму. Он политикой не интересовался, держался от всего такого в стороне: "Меня не трогают - и мне трогать никого не надо". Но новые хозяева страны скоро затронули и его: налоги повысили, питание урезали, молодых заставили маршировать по вечерам и воскресеньям, пожилых - заниматься пожарным делом. Когда началась война, жить стало еще голодней и тяжелей: днем приходилось работать, вечером - дежурить на крышах, тушить пожары.

Нападение на Советский Союз совсем расстроило Брюкнера. Он увез из России симпатии к этим странным, так не похожим на немцев людям. Правда, он не любил склонность, может быть, даже страсть некоторых русских много говорить прежде, чем что-либо сделать. Ему даже казалось, что слишком много энергии уходит у них на словесные бури. Но их простота, душевная искренность и щедрое гостеприимство перевешивали недостатки. Он радовался их увлечению трудом, видел, с каким напряжением создавали они новую жизнь, и понимал, что скорее умрут, чем позволят кому-либо вернуть их назад, к прошлому. Брюкнер был глубоко убежден, что немцы не имеют права вмешиваться в жизнь русских, и говорил об этом своим родственникам, друзьям, соседям.

Одни молча и опасливо выслушивали его, другие останавливали и советовали покрепче держать язык за зубами, третьи горячились и кричали, что советская зараза, сидевшая где-то внутри него, пробилась, наконец, наружу. Однако после провала немецкого наступления на Москву в Германию двинулись эшелоны с обмороженными и ранеными, его друзья, соседи и родственники заговорили сами и даже резче, чем он. Неудача всегда тащит за собой недовольство.

Среди рабочих Гамбурга, который совсем недавно звали "красным Гамбургом", недовольство прорвалось наружу: на заводах заговорили о необходимости кончать войну, в двух или трех местах даже забастовали. Власти арестовали "для острастки" несколько сот человек. Всех, кто мог носить оружие, тут же послали на фронт, Брюкнера, арестованного одним из первых, почему-то нашли выгодным объявить "главным смутьяном". Он, дескать, ведет разговоры против войны, потому что боится, а боится потому, что не мужчина. По приказу начальника гестапо Гамбурга его отвезли в клинику, там связали по рукам, по ногам, положили насильно на операционный стол и... оскопили. Когда рана немного зажила, его снова доставили на завод, где работал, и провели раздетым перед строем рабочих. Власти хотели показать, что всякий мужчина, выступающий против войны, будет лишен мужских качеств. Прямо с завода Брюкнера привезли в Бельцен.

Исповедь немца потрясла меня, хотя мы уже видели немало жестокостей и злобного изуверства. Я поверил ему: рассказ дал объяснение некоторым непонятным явлениям, отмеченным еще в бараке. У Брюкнера совсем не росла борода, и его грубовато-хриплый, сильный голос все чаще срывался на неприятно-писклявый. Георгий и Стажинский тоже смотрели на немца мрачно, но со скорбным сочувствием. Федунов, однако, не был тронут рассказом. Бросая острый и недоверчивый взгляд то на немца, то на нас, потребовал:

- Пусть докажет, что не морочит нас.

Брюкнер с испугом и отвращением посмотрел на него и отрицательно завертел головой. Это еще больше обозлило того. С криком: "А ну, показывай!" - Федунов кинулся на немца, пытаясь повалить его. Брюкнер оторвал его руки и оттолкнул от себя; оступившись в снег, Павел упал. Быстро вскочив на ноги, он подобрал толстый сук и тихо, как бы крадучись, пошел на немца.

В два больших прыжка Устругов оказался между ними. Взяв автомат за ствол, вскинул его на плечо и негромко, почти шепотом пригрозил:

- Только тронь, голову размозжу! Только тронь...

Я понимал его. Георгий не хотел допустить, чтобы мы, сами вытерпевшие столько мук и унижений, повторили здесь, в лесу, то, что нацисты сделали на гамбургском заводе. Все мы искренне считали самым страшным падением, самым грязным позором для человека сравняться в чем-либо или уподобиться нацистам. Еще раз, тише, но с прежней решительной угрозой Устругов повторил:

- Только тронь...

С минуту удивленный Федунов смотрел на него, ничего не

понимая, потом грубо выругался:

- Защитник нашелся... Слюнтяй!.. Интеллигентский слюнтяй!.. Бабья душа!..

Все стояли некоторое время молча. Неоправданный гнев, как гнев толпы, подобен большому электрическому заряду: он может, как молния, уничтожить, испепелить; вовремя разряженный исчезает, не оставив никаких следов. Мы стыдились посмотреть друг другу в глаза: каждому хотелось загладить вину перед Брюкнером, но никто не знал, как это сделать.

Немец правильно понял наше состояние и, чтобы облегчить его, посоветовал Хагену, стоявшему рядом, поправить ноги Самарцева, взялся за передние ручки носилок и сказал:

- Это есть время дальше идти.

Голландец поднял носилки, и все мы двинулись дальше, прочь от печального звона. В густеющих сумерках он звучал еще более уныло и тревожно. (Только после войны узнал я, что в тот день в Германии был объявлен траур в связи с гибелью немецкой армии под Сталинградом и все колокола звонили, как на похоронах.)

Совсем стемнело, когда беглецы наткнулись на лесную сторожку. Едва различимая в окружении черных сосен, она казалась одновременно укромным уголком и ловушкой. В маленькой избушке расположились прямо на полу, прислонившись спинами к бревенчатым стенам. Тут было так темно, что мы не видели друг друга, и только по голосам можно было определить, кто где устроился. Умолкнув, мы оказывались наедине с темнотой и холодом. Темнота не трогала спрятавшихся в ней людей, холод нападал. Постепенно, но неотвратимо отнимал он у беглецов тепло, накопленное по пути сюда, потом, незаметный и неотразимый, стал пробираться к телу, захватывая ноги, руки, шею, проникал внутрь с каждым вздохом. В черной тишине раздалось вдруг лясканье зубов. Оно прерывалось несколько раз: видимо, замерзающий пытался сжать зубы. Это не удавалось, и они снова выбивали четкую дробь.

- Огонь, пожалуйста, огонь! - попросил Бийе.

- Он действительно замерзает, - как-то странно, будто зевая, подтвердил Валлон и добавил таким тоном, точно сделал открытие: - А ведь тут в самом деле холодно.

- Нужно бы развести огонь, - сказал Хаген.

- Огонь, пожалуйста, огонь! - попросил Бийе.

- Это опасно, - возразил Георгий. - По дыму нас могут издали услышать, а по свету найти.

- А все-таки давайте разведем огонь, - просительно сказал Валлон. - С огнем опасно, а без огня все замерзнем к утру.

- Нужен огонь...

- Нельзя огонь: увидят...

- Погибнем от холода...

- Почуят дым, отыщут по свету...

- Зажечь огонь...

- Не зажигать...

Выкрики сыпались на русском, немецком, французском языках, перемешиваясь часто в смешное, но для нас понятное сочетание. Лишь Крофт молчал.

Эта жалкая разноголосица вызывала у меня горечь и досаду. Беглецы подняли такой гвалт по поводу простого выбора - развести огонь или не разводить. Сколько же, думал я, потребуется разговоров, споров, криков, чтобы решить более серьезное дело? Мое уныние возросло, когда сторожка утихла. Сторонников огня было явно больше, чем противников. Однако никто не тронулся с места, чтобы принести дров и развести огонь. Победило, как часто бывает, бездействие. Те, кто был за огонь, не собрались с силами, чтобы претворить желание в дело. Это неумение или нежелание воплотить свою волю в действие беспокоило и раздражало больше, чем риск, который мог создать разведенный огонь. Я тоже боялся ошибочных шагов, однако бездействие пугало меня всегда больше, чем ошибки.

Когда в холодной тишине вновь раздалось мелкое постукивание зубов, Устругов, плечо которого я чувствовал, завозился, стараясь подняться. Я поймал его за карман.

- Ты куда?

- Дров принести. Тут почти все за огонь, а чтобы развести его, никто двинуться с места не хочет.

- Но сам-то ты против огня. Чего же ты чужое дело на себя берешь?

- Мало что сам...

В разных углах сторожки завозились, поднимаясь, люди.

- Я тоже пойду...

- И я пойду...

- И я... И я... И я...

- Никого не надо, - с сердцем сказал Георгий. Он пошарил рукой, нащупывая дверь, открыл ее ударом ноги и вышел, впустив в сторожку невидимое, но ощутимое облако еще более холодного воздуха.

Самарцев, лежавший рядом с нами, нащупал мою руку и потянул к себе.

- Ты знаешь, Костя, - зашептал он, горячо дыша в мое холодное ухо, Георгий-то лучше и умнее, чем кажется.

Похвала была неожиданна и необъяснима, особенно после того, как Устругов вопреки собственному убеждению решил выполнить чужое желание.

- Я знал, что он медлителен и неуклюж, - также шепотом ответил я, но такое безволие вижу впервые. Не могу понять, чему тут радоваться?

Самарцев стиснул мою руку, будто пытался этим пожатием передать что-то такое, чего я не мог понять.

- Понимаешь, - шептал он, - понимаешь, не велика доблесть для сильного или власть имущего навязать свою волю беспомощным людям. Этим кичатся очень многие. Нужно уметь подчинять свое желание желанию других, если оно разделяется многими, если оно для многих важно... Егор наш любит людей, они скоро поймут это и оценят...

В тот трудный метельный и кровавый день мой друг не раз удивлял меня. Я поразился его проворству и смелости на мосту, хотя считал, что Георгий действовал так хорошо потому, что я подсказывал ему. Однако без подсказки он решил взять с собой раненого Самарцева. Мне это казалось там, на мосту, геройской, но бессмысленной затеей. Ни один он, ни мы вдвоем не смогли бы унести далеко нашего несчастного друга. Я не ожидал, что беглецы, щедро расходуя остатки сил, понесут Самарцева вместе с нами. Не ведая того, Устругов затронул своим поступком лучшие чувства людей. Георгий удивил и восхитил меня своим быстрым и суровым вмешательством в защиту Брюкнера: спас нас от позора.

Дров, принесенных им, оказалось достаточно, чтобы накалить чугунную печку до того, что она стала светиться в темноте. Сгрудившись вокруг нее, беглецы быстро договорились, что делать дальше: бежать в Голландию.

- Голландцы примут нас, - говорил Хаген, протягивая руки к светящемуся зеву печи. Он то разжимал, то сжимал пальцы, будто надеялся захватить в кулак и сохранить подольше тепло. - Накормят, помогут переодеться, чтобы выглядеть по-человечески. Спрячут, если потребуется.

Его внимательно и обрадованно слушали. Лица беглецов

были неровно освещены: из густой, смятой и грязной растительности выступали носы и лбы, глазные впадины казались черными провалами, в которых поблескивали, как вода в глубоком колодце, глаза. Беглецы вздрагивали и отклонялись, когда поленья стреляли искрами в полусумрак.

Валлон советовал бежать в Бельгию, в Арденны. Это не равнинная Голландия, открытая взору немцев. В Арденнах - леса, горы, овраги. Деревушки там разбросаны по таким глухим местам, что до них добраться-то без провожатых нельзя. А народ там гостеприимный, чужакам не выдаст и в обиду не даст.

Голландец возражать не стал: в Арденны так в Арденны. Но бежать все же лучше через Голландию: ближе всего. У нас была, конечно, мечта, даже не мечта, а дума, глубокая и постоянная, как боль в сердце, - пробраться домой, в родные места. Но теперь она казалась совершенно неосуществимой: куда побежишь с безногим Самарцевым на руках? Обстоятельства навязывали свою волю, и мы подчинялись этому.

Ранним утром покинули сторожку. В лесу было еще сумрачно, хотя небо над соснами из черного превратилось в фиолетово-синее, потом просто синее, а синева становилась с каждой минутой нежнее и ярче. Выйдя на просеку, проложенную невдалеке, остановились. Налево, в дальнем конце ее, пылал горизонт: там всходило большое красное солнце. Мы повернулись к нему спиной и пошли вдоль белого коридора, огражденного с обеих сторон мощным частоколом затихших сосен. Вытянувшись цепочкой, шли торопливо и настороженно. Когда лес впереди редел, задерживались, посылали кого-нибудь узнать, что там. Деревни и хутора, расположенные обычно на опушках, обходили стороной, безлюдные поляны пересекали в узких местах.

Большие неприятности доставляли дороги. По ним то с грохотом и звоном катились грузовики, то, шурша шинами, проносились легковые машины. Мы бросались в снег и обеспокоенно следили за ними сквозь замерзшие черные кусты. Улучив момент, когда дорога очищалась, бегом пересекали ее и скатывались с насыпи по другую сторону. Проваливаясь в снег и падая, поспешно вскакивали и бежали дальше, снова проваливаясь и падая. Стиснув зубы, обливаясь потом, уходили подальше от дороги, где снова слышалось гудение машин.

Перед вечером обнаружили, что Масленкин и Калабутин исчезли. Стажинский припомнил, что видел их последний раз, когда группа миновала одинокий крестьянский двор. Сразу же появилось подозрение: не сбежали ли?

Федунов ожесточенно пнул ногой гнилой пенек.

- Зря мы эту гадину, Масленкина, сразу не пристукнули...

Коротко посовещавшись, решили быстрее уходить. Прошли, однако, не больше двух-трех километров, когда услышали, что кто-то гонится за нами. Посоветовав Георгию и Федунову побыстрее двигаться с носилками, я, спустив предохранитель автомата, спрятался за деревом.

Догонявший нас с треском ломал ветки, падал, издавая стон, похожий на крик. Преследователь совсем не заботился о том, чтобы подкрасться незаметно.

Вскоре из кустов выбежал Калабутин. Он смотрел только себе под ноги, на след, оставленный нами. Окликнутый мною, рванулся в панике назад. Лишь пробежав шагов пять, остановился: только теперь до его сознания дошло, что позвать по фамилии мог лишь свой. Калабутин повернулся на зов и, увидев меня, с рыданием повалился в снег. Я бросился к нему. Схватив его за плечи, попытался поднять.

- Где ты был? Почему отстал? Где Масленкин?

Захлебываясь слезами, он только мычал да указывал рукой в ту сторону, откуда прибежал. Я натер ему лоб и щеки снегом. Немного придя в себя, он смог, наконец, рассказать, что случилось.

После полудня у одинокого двора Масленкин шепнул ему, что тут "есть чем в смысле жратвы поживиться". Калабутину очень хотелось есть, и он согласился попытать счастья. Выждали, когда спутники скрылись в лесу, затем повернули назад и пробрались к двору. Масленкин постучал в дверь и, когда та открылась, произнес два немецких слова, которые знал в совершенстве: "эссен" (есть) и "шнель" (быстро).

Крестьянин, пораженный полосатой одеждой просителя, отступил в удивлении, потом бросился на него и стал крутить руки. Калабутин поспешил на помощь товарищу. Увидев еще одного в тюремной одежде, немец отпустил Масленкина, юркнул в сени и через несколько секунд выскочил с вилами в руках. Они кинулись со всех ног прочь. Пробежав шагов двадцать, Калабутин услышал страшный вопль, заставивший его оглянуться. Навалившись всем большим телом на ручку вил, крестьянин вдавливал их в полосатую фигуру, распластавшуюся на снегу. Калабутин побежал еще быстрее и остановился только в лесу, попав в яму. Выбравшись из нее, нашел наш след и побежал.

Калабутин все еще вздрагивал, ужас так и стоял в его глубоко запавших глазах. Пока нагоняли товарищей, он несколько раз падал, и мне приходилось поднимать его. Беглецы встретили отставшего сурово, даже злобно. Думая только о себе, он подводил всех: полиция теперь знает, где мы находимся. А уж если Калабутин сумел найти след и догнать нас, то полиция

сделает это быстрее. И мы еще больше заспешили, делая вынужденные остановки все реже и короче.

Густая тьма, свалившаяся на лес, укрыла нас, но сделала слепыми. Идти наугад было опасно: мы могли повернуть назад или напороться на полицейскую засаду. Пришлось заночевать в лесу. Среди плотных елей нашли подходящее место, наломали веток, чтобы снизу было теплее, и расположились, прижавшись друг к другу. Утомленные и удрученные, беглецы даже не шептались, а лишь вслушивались в темноту лесной ночи. Над нами тихо поскрипывали деревья, слышался невнятный, но постоянный гул да легкий хруст под осторожными ногами лесных обитателей. Плохо одетые и голодные, мы не могли долго хранить тепло, и сон - этот предательский союзник холодной смерти - стал наваливаться на сидевших, увлекая в небытие.

- Заснуть - никогда не проснуться, - шепнул я Устругову, который тоже начинал дремать. Он чаще и больше всех нес раненого, устал, конечно.

Георгий встрепенулся, переспросив испуганно и недоверчиво:

- Совсем спать нельзя? Даже вздремнуть немного?

- Спать совсем нельзя. Сон - это верная смерть...

С минуту он сидел тихо, то ли вдумывался в мои слова, то ли всматривался в ночь. Потом, вздрогнув всем телом, тронул меня за плечо.

- Так чего ж ты? Поднимать всех надо.

И тут же начал толкать соседей.

- Спать нельзя!.. Спать никак нельзя!..

Те старались держать головы прямо, а глаза открытыми. Но усталость и холод давили людей, глаза снова закрывались, головы падали на грудь. И мы снова трясли их. К полуночи, однако, встряхивания и уговоры перестали действовать. Поднявшись сами и подняв Федунова, Стажинского, Прохазку, мы подхватывали сонных под мышки, ставили на ноги и приказывали топтаться.

- Спать нельзя! Сон - это погибель...

Заставляли собирать сучья для костра, разводить который не намеревались: огонь мог выдать нас. Бросив охапку валежника в кучу, выросшую рядом, Крофт, долго не желавший подниматься, снова пристроился под елями. Едва свернувшись, он заснул. Я разбудил его и вновь насильно поставил на ноги. Крофт вырывался из моих рук, ругался, кричал, что никто не имеет права заставлять его, офицера его величества короля Великобритании, делать то, что он не хочет.

- Я свободный человек, - сердито выкрикивал он, - и никому не позволю командовать собой!

Все же топтался, постепенно согреваясь. Некоторое время спустя, согревшись и утомившись, Крофт снова стал пристраиваться под елями. И я снова поднимал его, как и других, упрашивал топтаться, ругал и даже дал несколько раз пинка, когда уговоры и ругань перестали действовать.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Разные события по-разному раскрывают один и тот же характер. Одно и то же событие по-разному раскрывает разные характеры. Нашими спутниками оказались разные люди, поэтому их поведение в ту тяжелую ночь было различным. Утомленный, но упрямо сильный Устругов почти автоматически тряс и поднимал замерзающих людей, ставил на ноги и заставлял топтаться. Стажинский уговаривал, убеждал, легонько подталкивал, словно боялся растратить собственные силы. Федунов выбирал только своих, считая излишним возиться с "чужими". Хаген покорно делал то, что от него требовали. Бельгиец "ловчил": послушно вставал на ноги, быстро отходил в сторону и снова укладывался спать.

Перед утром Прохазка шепнул мне, что Федунов подозрительно возится с немцем, который добросовестно топтался здесь и вдруг оказался по другую сторону кучи хвороста на снегу. Я побежал туда, схватил за воротник фуфайки Федунова, склонившегося над Брюкнером, и резко рванул вверх:

- Ты что с ним делаешь?

- Ничего, - растерянно и виновато ответил тот. - Совсем ничего. Он упал и...

- И ты воспользовался этим?

- Ничем я не воспользовался, - отрезал Павел. - Очень мне нужно воспользоваться!

- Так чего же ты делаешь с ним? Ты же давно с ним возишься...

- А я виноват, что он не поднимается? - вопросом ответил он. - Я с ним и по-хорошему и кричал на него, а он все равно не поднимается. Что я с ним сделаю? Не оставлять же на снегу. Он так через полчаса богу душу отдаст.

Сказано это было резко, как говорят только сильно обозленные люди. И я готов был обругать его за это, но вдруг в какую-то долю секунды меня осенила догадка: да ведь он грубит, чтобы скрыть смущение! Я обнял его за плечи и притянул к себе.

- Правильно, Павлуха...

Этот жест еще больше задел его. Федунов сердито сбросил мои руки со своих плеч.

- Что же тут правильного? Ну что?

Не получив ответа, сам сказал с ожесточением и сожалением:

- Слюнтяи мы, вот что. Закипим ненавистью - готовы на части разорвать обидчика, остынем - жалеть станем. Паршивые у нас душонки... Не могут ненависть долго хранить, а без этого с обидчиками нашими никогда не рассчитаемся.

- Рассчитаемся, - заверил я, вовсе не думая о расчете. Меня волновало тогда другое: сумеем ли уберечь жизни этих людей? Взяв за локоть, я толкнул Федунова в сторону немца.

- Сбереги его, Павел. Подними на ноги, потопчись с ним.

- Еще чего! Топтаться с немцем! Может, целоваться с ним прикажешь!..

Я только шлепнул его ладонью по спине. За Брюкнера можно было не беспокоиться: в сердце его ненавистника произошел перелом.

А сердце Федунова оказалось не только жалостливым, но и самоотверженным. И мы узнали об этом на следующий день.

После той тяжелой ночи продвигались медленно, часто останавливались и отдыхали. Особенно долго задерживались перед пересечением дорог: копили силы, потом, улучив удобный момент, поднимались и бросались через дорогу, пробегали метров пятьдесят и падали в изнеможении.

Дорогу Хальдер - Эммерих - последнюю дорогу, которая отделяла нас от Рейна и Голландии, - усиленно охраняла полиция. Низкие, длинные, будто раздавленные, полицейские машины носились то в одну, то в другую сторону. Полицейские с карабинами в руках пытливо всматривались в кусты орешника, за которыми прятались мы. Остановиться и пойти в эти кусты все же не решались.

Подгоняемый нетерпением и голодом, Федунов предлагал "пугнуть" их.

- Трахнуть чертей, чтоб знали, что мы не беззащитная лесная дичь.

Устругов досадливо отмахивался:

- Попробуй трахни... Тут такую облаву устроят, что и под землей не спрячешься.

Павел смерил его насмешливым взглядом.

- Мы перебьем этих толстых крыс в два счета и очистим дорогу. Пока тут облаву устроят, наш след простынет. Ударим, а?

Беглецы не отзывались. Мы не хотели ни пугать, ни учить полицейских. У всех было одно на уме: перескочить дорогу незамеченными. Страх буквально прижимал нас к земле, когда на дороге показывалась машина. Федунов пренебрежительно оглядывал соседей, лежавших ничком, и бормотал:

- Трусы!.. Слюнтяи!..

Георгию надоело это брюзжание, и он посоветовал Федунову

помолчать. Замечание, сделанное спокойным и даже просительным тоном, почему-то взорвало того.

- Распоряжаться да командовать желающих много, а подставить свою шкуру, чтобы другим помочь, никого нет.

- Свою шкуру подставляй, да других не подводи.

- Я и не собираюсь подводить. Только если никто не рискнет, то нам через дорогу до ночи не перескочить. А ночью опять плясать на одном месте придется.

Мы промолчали. Павел посмотрел на Устругова и на меня, точно ждал согласия или возражения, затем, будто разговаривая сам с собой, пообещал:

- Я бы этим свиньям тут жару дал, чтоб они сюда все сбежались. А тем временем остальные через дорогу в другом месте перемахнули бы и в том лесу скрылись.

- А сам?

- Что сам?

- Ведь тут остаться придется.

- Где-нибудь все равно придется остаться.

- Где-нибудь да когда-нибудь! А тут вот, за этим кустом, и через каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут.

Почти до вечера ползали мы вдоль дороги и, вероятно, так и не перебрались бы через нее, если бы не Федунов. Этот парень, которого считали малокультурным, недалеким и черствым, решил в одиночку, молча, пожертвовать собой, чтобы помочь другим. Опасаясь, что Георгий и я помешаем его замыслу, Павел исчез незаметно. Некоторое время спустя мы услышали резкую автоматную очередь за поворотом дороги, куда только что промчалась полицейская машина.

"Федунов", - сразу же подумал я. Та же догадка мелькнула и в голове Устругова. Он приподнялся и осмотрел беглецов.

- Федунов! Где Федунов?

Вместо ответа в лесу татакнул автомат, за ним звонко, раскатисто прогремели винтовочные выстрелы. Расстилая по дороге белые хвосты, туда пронеслись еще две полицейские машины. Винтовочные выстрелы в той стороне посыпались чаще.

- Павел очистил нам дорогу, - сказал я Георгию, который, кажется, готов был броситься туда. - Он стянул к себе полицейских, чтобы мы могли перескочить дорогу тут.

Устругов понимающе и сурово посмотрел на меня, подумал немного, потом молча поднялся и исчез в кустах позади нас. Через минуту вернулся, неся на руках Самарцева, и, коротко бросив мне: "Возьми носилки", - вышел на дорогу. Стараясь ступать ему вслед, мы пересекли шоссе, перебрались через маленькую полянку и снова вошли в лес.

Там остановились, прислушиваясь к перестрелке. Винтовки били и били, автомат отвечал все реже и короче. Среди винтовочных выстрелов мы хорошо различали его "голос" и ждали с таким нетерпением, с каким ждут появления пульса у больного после серьезной операции. Мы знали, какой будет конец. И все же, когда автомат замолчал, долго не могли поверить, что тот замолк совсем. В наступившей тишине пугающе резко прозвучали два пистолетных выстрела, которые заставили меня вздрогнуть и вобрать голову, будто стреляли в меня. Все поняли, что означали эти последние выстрелы, хотя только Прохазка поспешно и испуганно снял шапку.

Тяжело переступая и громко дыша, беглецы двинулись дальше. Мы пытались ускорить шаги, но это уже не удавалось. Останавливались и отдыхали через каждые сто - сто пятьдесят метров. Всем хотелось посидеть побольше, и только остервенелое упрямство Устругова толкало вперед. Теперь он почти бессменно нес носилки, поднимался первым и торопил других, то уговаривая, то понуждая:

- Пошли, пошли... Долго сидеть нельзя...

Лишь на рассвете добрались до Рейна. В белых берегах река казалась неподвижно мрачной и черной. С нее летел сырой ветер. За Рейном темной немой стеной стояли леса. За ними была Голландия!

День наступил быстро, нам пришлось спрятаться в одинокой риге, стоявшей у оврага. Закрыв изнутри ворота, мы залезли на сено, сложенное в углу, и протиснулись к самой крыше. Едва согревшись в сене, изнуренные беглецы засыпали, словно проваливались в небытие. Мы с Георгием и Стажинским бодрствовали по очереди, будили храпевших слишком громко и прислушивались к звукам за ригой.

Сон немного восстановил растраченную силу. Дурманящий туман усталости рассеялся, и мы почти вслух начали мечтать о том, что ночью будем в Голландии, где найдем теплый ночлег и пищу.

Перед вечером услышали два голоса - грубоватый басок мужчины и тонкий, ломающийся голос мальчика, которые приближались к риге. У ворот мужчина сказал с укором:

- Опять ты забыл щеколду как следует задвинуть. Видишь, она отошла назад. Будь ветер посильнее, он распахнул бы ворота.

- Я задвинул щеколду, - оправдывался мальчик, - ей-богу, задвинул!

- Не божись понапрасну, бог накажет, - совестил мужчина. - Щеколда сама не может отодвинуться.

- Отодвинулась сама, ей-богу, сама, - уверял мальчик и вдруг

осекся, будто открыл что-то необыкновенное, а затем позвал: - Посмотри-ка сюда, папа, видишь, след от оврага в воротам? Тут, наверно, вор был.

- Хм... Вор? Нет, Пуцци, это не вор. Следы-то - видишь - в одну сторону, только в ригу. У нас кто-то прячется.

Он распахнул ворота и крикнул:

- Кто тут? Кто тут прячется?

Не получив ответа, вошел в ригу и, заметив сбитое сено, догадался:

- Эй, кто там на сеновале? Слезай!

Все затаили дыхание, я положил ладонь на горячие и шершавые губы раненого.

Крестьянин приблизился к сеновалу.

- Ах, не хочешь слезать?.. Значит, от властей прячешься. Но мы тебя все равно достанем, если даже мне придется все сено из одного угла в другой перетаскать. Слезай, дьявол!

Он несколько раз выкрикнул: "Ну! Ну же! Ну!" Потом сказал сыну:

- Пуцци, беги к дяде Гансу, скажи, что у нас в риге преступник какой-то прячется. Пусть мчится сюда, награду за поимку пополам разделим.

И тогда я почувствовал, как Брюкнер, лежавший справа, приподнялся, нащупал меня и едва слышно прошептал:

- Он думает, что здесь один есть. Я вылезу к нему, и он больше искать не будет. Всем нам теперь уйти нет возможно.

Я сунул ему в руку пистолет.

- Трахни его.

Брюкнер вернул пистолет.

- Стрелять нельзя. Всполошим деревню - всем конец.

Я поймал руку немца и крепко сжал ее. Брюкнер ответил коротким сильным пожатием. Он быстро выбрался наверх и соскользнул с сеновала, заставив крестьянина отпрянуть к воротам.

- Э, да ты, я вижу, крупная птица, - злорадно определил он. - Из концлагеря: За тебя награда солидная будет. И раз я тебя один самолично захватил, она мне одному и достанется. Пошли-ка, я тебя сам в город, в полицию, доставлю.

- Ну, что ж, доставляй, иуда, - сказал ему Брюкнер. - Не принесут тебе счастья деньги, которые за меня получишь.

- Принесут или не принесут - это не твое дело, - проворчал крестьянин, - мне бы только побольше за тебя получить.

Он с шумом захлопнул ворота, резко стукнул щеколдой и увел Брюкнера, продолжая что-то бормотать.

Некоторое время все лежали молча, не зная, что подумать,

что сказать. Долгое время ненавидимый и презираемый нами немец пошел умирать за нас. И ему потребовалось лишь несколько минут, чтобы решиться на это.

Мы поспешно спустились с сеновала, осторожно вынесли Самарцева, которому в тот день стало заметно хуже, и длинным отлого спускающимся оврагом выбрались к реке. Вода тихо шлепала о берег и поблескивала даже в темноте.

Без труда нашли рыбачьи лодки, которые видели еще утром, спустили на воду и торопливо расселись. Мы с Георгием, Васей Самарцевым и голландцем оказались в одной лодке. Хаген советовал держаться середины, а когда пройдем Эммерих, взять немного влево: ниже Рейн распадается на два рукава, и нам надо попасть в левый - в Ваал. Река приведет прямо к Неймегену, а оттуда до Бельгии совсем недалеко.

Едва мы оторвались от берега, как течение повлекло наши лодки вниз. Они шли рядом, и мы видели силуэт соседей, слышали легкие всплески весел и невнятное бормотание воды за кормой. Левого берега не было и в помине, высокий правый берег казался черной стеной, еще более черной, чем непогожее зимнее небо.

Некоторое время спустя где-то вверху послышалось далекое гудение. Гул приближался с запада, и скоро можно было определить, что создавали его десятки моторов: английские "ланкастеры" или американские "летающие крепости" шли бомбить Германию. Прямо над нами сверкнул синевато-белый луч прожектора и уперся в низкое небо за Рейном. С реки он казался прозрачно-светлой аркой, мостом, выросшим в одно мгновение. Через полминуты рядом с ним возник еще один такой гребень правого берега с какими-то постройками и редкими деревьями. Рейн заблестел вдруг, словно наполняла его не мутная холодная вода, а черный лак.

Мы стали грести с лихорадочной поспешностью и напряжением. Хотелось поскорее выбраться из-под этих прозрачно-белых мостов. Они исчезли так же неожиданно, как возникли, оставив нас в еще более густой тьме. Но мы все гребли, гребли, со страхом ожидая, что прожекторы вновь осветят реку.

Минут через десять-пятнадцать, а может быть, тридцать - время для нас перестало существовать - подняли весла и прислушались. Над Рейном стояла тишина. Лишь далеко на юге, где как будто вспыхивали необычные зарницы, раздавались глухие вздохи: шла бомбежка. Совсем рядом звонко падали в воду капли с весел. Мы не услышали, однако, того, что хотели слышать: скрипа уключин. Подождав немного, тихо позвали Стажинского, Прохазку, потом Валлона, Калабутина, Бийе. Рейн

молчал. Мы решили, что спутники уплыли вперед. Гребли минут десять, не останавливаясь, затем снова прислушались и позвали. Тьма не откликнулась.

Всю долгую зимнюю ночь мы то гнали лодку вперед, то останавливались, вслушивались и звали товарищей. Они исчезли, словно проглоченные глубокой рекой. Ночью на реке два раза вспыхивала перестрелка, и я боялся, что с друзьями случилось несчастье.

Эта мысль настолько угнетала, что мы не обрадовались, увидев в сером рассвете печального дня голландскую деревню. Она показалась из-за высокого глинистого берега. Кирпичные домики с черепичными крышами еще спали. Лишь на самой окраине белая ветряная мельница махала крыльями, точно звала: "Скорее, скорее!"

Мы пристали к берегу, поросшему мелким леском. Вытаскивая нос лодки на песчаный выступ, Хаген задыхался от радости.

- Спасены! Спасены! - восклицал он. - Я узнал место. Тут живет брат моего приятеля. Он приютит нас. Спасены, спасены!..

Я выпрыгнул на песок, чтобы помочь ему. Устругов шагнул на корму, где, опустив голову на грудь, полусидя спал Самарцев. Георгий тронул его за плечо и, когда тот не проснулся, тряхнул посильнее. Голова спящего мотнулась из стороны в сторону. Устругов присел на корточки.

- Вася! - с испугом позвал он. - Вася!..

Он энергично потряс друга, все еще надеясь разбудить. Самарцев не очнулся. Георгий схватил его голову обеими руками, подняв, заглянул в остекленевшие, мертвые глаза. Только тут понял он, что случилось. Прижав к себе голову мертвого, он заплакал от горя. Я бросился к нему, обнял одной рукой безжизненно спокойного Самарцева, другой вздрагивающего от рыданий Устругова и втиснул свое лицо между ними. Щека мертвого была шершава и холодна, щека Георгия тепла и мокра.

В моей жизни не было более близких людей, более верных друзей, чем те двое. И нас свела вместе не только трагическая судьба, которая бросила в плен, а затем в концентрационный лагерь. У нас было много общего: взгляды, вкусы, склонности. Мы делились пищей и мыслями, горем и радостью, ненавистью и любовью.

Все люди смертны... Сколько раз говорилось и писалось это! Сколько раз каждый думал об этом, относя, однако, эту неопровержимую и страшную истину ко всем, кроме себя, своих близких! Соглашаясь с нею, мы невольно делаем это исключение, потому что верим, что сами мы и наши близкие будем жить... ну,

если не всегда, то по крайней мере долго! И смерть близких всегда предстает перед нами как неоправданное нарушение обещания, как разрушение веры, которая не должна была разрушаться.

И смерть Васи Самарцева казалась мне тогда чудовищной несправедливостью, подлым ударом из-за угла, предательством. Подумать только! Смерть сберегла его на мосту, хранила во время тяжелого побега и поразила тогда, когда помощь была близка.

Хаген потряс меня за плечи. Растерянный и удрученный, стоял он рядом, не зная, что сказать. Голландец сочувствовал нам, но беспокоился за себя и за нас еще больше: смерть никогда не прекращала и даже не уменьшала забот у тех, кто оставался жить.

- Прошу прощения, - бормотал он, - надо уходить отсюда. И как можно скорее. Тут нас могут увидеть издали. Попадемся на глаза мерзавцу-муссертовцу* - все наши усилия пропадут даром.

_____

* Фашисты, члены партии гитлеровского ставленника в Голландии

Муссерта.

Пораженный горем Устругов смотрел на реку невидящим взглядом, поглаживая плечи мертвого. Он не слышал или не понимал того, что говорил Хаген. Согласно и как будто одобрительно кивая головой, едва слышно, почти шепотом повторял:

- Пропадут даром... все даром... даром...

Мне пришлось взять Георгия за руки, повернуть к себе и повторить слова голландца. С той же автоматической готовностью он закивал головой, но не тронулся с места. Лишь когда я сам попытался поднять тело Самарцева, он оттолкнул меня. Осторожно и нежно, как берут детей, взял мертвого на руки, положил голову себе на плечо и вынес из лодки.

Вместе с Хагеном мы быстро втащили лодку в кусты и вернулись к Устругову, окаменевшему со своей ношей. Голландец тронул его за локоть и повел за собою через лесок. Мы взобрались на высокий берег, который врезался здесь в Ваал. На вершине тихо гудели сосны, высокие, стройные, с густыми шапками. Отсюда была видна мощная река, огибающая выступ. Ее просторная долина, поросшая лесом, уходила на восток и запад до самого горизонта.

- Мы похороним его тут, - сказал голландец, - не сейчас, прошу прощения, а вечером. Вернемся с лопатами и похороним тут, на самой вершине, под этими соснами. И когда прогоним

немцев, поставим белый памятник. Обязательно белый, чтобы виден был всем, кто плывет по реке. И напишем на памятнике золотыми буквами что-нибудь такое... хорошее... Что-нибудь вроде того... что он покорял только умом и сердцем, потому что ум был у него ясный и честный, а сердце большое и любящее.

До вечера тело надо было спрятать в кустах. Покорно и равнодушно Георгий последовал за Хагеном, опустил останки друга на землю, выбрав место посуше, поправил голову и выпрямил перебитые ноги с такой осторожностью, словно боялся причинить боль. Он озверело посмотрел, когда мы стали заваливать труп валежником, рванулся было, чтобы сбросить его, но вовремя остановился, отвернулся и пошел тяжелым шагом прочь, сильно сутулясь, точно сгибался под непосильным грузом.

Вечером, когда мы зарыли под соснами, на самом краю высокого берега, уже окаменевшее тело, Георгий, обняв вдруг меня, заплакал.

- Это несправедливо, это несправедливо, - бормотал он, всхлипывая. Мы же по-честному все, как надо друзьям, а нас обокрали... Обокрали... Выходит, к чему ни стремись, сколько сил ни вкладывай, в конце концов все напрасно... напрасно... напрасно...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

После похорон друга Георгий затосковал. Возбуждающая напряженность побега, обостренная опасность сменились бездействием, и он все чаще предавался нерадостным мыслям.

- Ты только подумай, - говорил он мне, - ты только подумай, какие хорошие ребята погибли! А зачем? Неужели только затем, чтобы мы с тобой снова оказались замурованными в этих четырех стенах?

- Мы вовсе не замурованы, Гоша. Здесь мы на свободе.

Он пожимал плечами и усмехался.

- Конечно... На окошке нет решетки, а на двери - замка. Но покинуть эту избушку все равно не можем.

Мы действительно не могли пока покинуть наше убежище. Даже в единственное окошко выглядывали украдкой. Оно выходило на просторный, обнесенный кирпичной стеной двор. Пригретые весенним солнцем, там бродили коровы и телята, важно шествовали через лужу гуси. Мы отскакивали от окошка, когда во двор выбегали двое мальчишек лет семи-восьми. В синих комбинезонах, серых шапочках с большими козырьками, они так походили друг на друга, что мы не могли различать их. Мальчишки замахивались на гусей, и те с угрожающим шипением вытягивали к ним длинные шеи. Забияки отбегали, но птиц в покое не оставляли. Тогда из дома появлялся высокий старик с

красным лицом и громким хриплым голосом. Вооружившись хворостиной, он с шутливой свирепостью гонялся за мальчишками. Дети не знали, что в пристройке к коровнику кто-то скрывается. Старик, наверное, знал это и бросал иногда в наше окошко короткие пристальные взгляды.

Хаген покинул нас на другой день, пообещав прислать кого-нибудь, кто увел бы отсюда. Однако прошел день, другой, третий, четвертый, бесконечно длинные ночи сменяли их, а от ушедшего не было ни посланцев, ни вестей. И в мою душу закрадывалась тревога: "Сбежал, пацифист? Или опять в немецкие руки попался?"

- Что слышно от Хагена? - спрашивал я нашего хозяина, когда тот приносил еду.

- Ничего, - отвечал после некоторого раздумья голландец. Он расставлял на столе миски, немного отодвигался в сторону, давая нам место, и еще раз подтверждал: - Ничего...

- Почему же ничего? Забыл он о нас, что ли?

- Не знаю, - так же односложно и неторопливо отвечал хозяин, - не знаю...

Он был очень неразговорчив и медлителен, этот высокий, крепко сложенный крестьянин с продолговатым узким лицом, на котором особенно выделялся прямой тонкий нос, нависающий над маленьким тонкогубым ртом. Его светлые глаза почти всегда оставались неподвижными. Когда крестьянин задумывался, они совсем останавливались и казались парой оловянных пуговиц с коричневыми точечками в центре.

Сначала крестьянин очень не понравился мне. Опасаясь встретить посторонних, мы не решились сразу подойти к его дому. Долго прятались в кустах, подкарауливая хозяина. Дождались, наконец, когда тот оказался почти рядом, и окликнули его. Увидев перед собой обросших людей, в оборванной полутюремной, полуэсэсовской одежде, крестьянин не вздрогнул, не испугался. Он смотрел на нас с таким равнодушием, точно встречал беглецов ежедневно.

- Крейс, - обратился к нему Хаген, - Крейс, ты не узнаешь меня?

Крестьянин не проявил ни удивления, ни интереса.

- Не узнаю.

- Я - Хаген, друг твоего брата Пауля. Лет семь назад я почти все лето тут прожил. Помнишь?

- Помню.

- А потом у вас перед самой войной был. Тоже, наверно, помнишь?

- Помню.

- Крейс, немцы арестовали меня, судили и в концлагерь посадили. Ты, наверно, слышал об этом?

- Слышал.

- Я бежал из лагеря, Крейс. Не один я. Вот эти русские. Еще русские были, бельгиец, поляк, француз, англичанин. Всех по пути растеряли, сюда только трое добрались. Мы устали, Крейс, нам нужно поесть, отдохнуть, переодеться. Примешь нас, Крейс?

Тот задумался, вперив свои глаза-пуговицы в какую-то точку поверх наших голов. Не промолвив ни слова, он медленно повернулся и поманил нас за собой. Сделав по кустам полукруг, мы оказались за его двором. Жестом руки Крейс приказал остановиться, пролез во двор через калитку, тщательно закрыв ее за собой. Пропадал не менее получаса, заставив нас то надеяться, то терять надежду, то надеяться вновь. Открыв калитку, хозяин издали позвал нас к себе, пропустил мимо во двор и опять так же тщательно запер калитку. По-прежнему молча он провел в избушку, пристроенную к коровнику.

В избушке с низким потолком, большим дубовым столом, приспособленным под верстак, и топчанами, усеянными обрезками кожи, пахло дегтем и стружкой. Вероятно, хозяин плотничал и шорничал здесь. Без видимых усилий Крейс поднял стоявший перед окном стол и перенес в угол, сказав:

- Лучше на чужие глаза не попадаться.

Он тут же покинул нас, вернулся не скоро, пряча что-то в свертке под мышкой. Но мы немедленно узнали, что он принес: запах жареной картошки был раздражающе силен. Мы набросились на еду. Крейс следил за нами равнодушным взглядом, однако поспешил порезать хлеб, который мы кромсали руками, налил в чашки молоко. Сдвинув затем пустые миски и чашки в сторону, он выложил ножницы, бритву, оселок для точки, кусок мыла и кисточку.

- С такими физиономиями и в окно выглянуть нельзя, - проговорил он, покидая нас. На пороге остановился, будто вспомнив что-то важное, и посоветовал: - А лучше не выглядывать. Мальчишки у меня... Народ любопытный, а язык за зубами держать еще не могут...

Стрижка и бритье продолжались часа два. Впервые за многие месяцы получили мы возможность заняться своими лицами и делали все тщательно. Хотя процесс преображения проходил на глазах и совершался нашими собственными руками, конечный результат поразил нас. Лица изменились, точно мы сбросили маски. У Хагена оно было дряблым, не по летам морщинистым. Уструговское лицо, освобожденное от грязной свалявшейся растительности, было бледным, с каким-то синеватым отливом,

щеки ввалились так глубоко, что казались склеенными внутри рта. Вокруг темных глазных впадин резко выделялись глубокие старческие морщины. Это в двадцать пять лет! Больше всего, однако, удивили меня его губы. Когда-то полные и безвольные, "девчачьи", как сказал его приятель в Химках, они стали тоньше, жестче, в самом очертании их появилось что-то решительное и суровое. А когда уголки рта опускались, все лицо приобретало жесткое, даже злое выражение. Также впервые за многие месяцы я мог, наконец, рассмотреть в маленькое зеркало и свое лицо - очень узкое, с большим носом, с желтовато-серыми щеками и складками по углам рта.

Еще более преобразились мы, когда хозяин принес одежду. В поношенном, но еще хорошем костюме Пауля Хаген стал вновь походить на учителя. Перед нами стоял степенный, респектабельный человек, как будто только вышедший из больницы после долгой тяжелой болезни. Георгию костюм с хозяйского плеча был широк, но короток, и он выглядел в нем немного комично. Крейс осмотрел нас, остался, кажется, не очень доволен, хотя отметил:

- Все лучше, чем арестантская одежда.

Он собрал в охапку сброшенное одеяние и унес.

- Сожгу.

Некоторое время мы еще обдергивали на себе пиджаки, поправляли перед зеркалом прически и воротнички слишком просторных для нас рубашек, потом снова сняли костюмы, аккуратно сложили и улеглись спать - впервые на топчанах, впервые в тепле, на матрацах, набитых сеном, впервые сняв верхнюю одежду.

Вечером похоронили Васю Самарцева. Ночью, сидя в темноте, долго говорили о нем, вспоминали, каким замечательным товарищем он был, сколько хорошего сделал и как безжалостно, жестоко поступила с ним судьба: сначала лишила ног, а когда он был близок к спасению, отняла жизнь.

Наутро Хаген ушел, мы ждали, когда нас уведут отсюда, тревожились, волновались и чувствовали себя порою так же плохо, как в концлагере. Молчаливый Крейс понимал наше состояние и старался облегчить его. Он заглядывал к нам, хотя чаще всего сидел молча, лишь изредка обмениваясь дружелюбными взглядами. Сердцами мы понимали друг друга.

В великом смешении народов, созданном войной, этот "язык сердец" был нередко главным средством общения между людьми разных национальностей. Общая беда рождала общее чувство. Общее чувство ненависти к захватчикам, общее стремление к свободе объединяло людей, устраняя языковый барьер.

Голландцы, французы, бельгийцы быстро находили общий "язык" с советскими людьми, оказавшимися по злой, чужой воле в Западной Европе.

Иногда голландец клал свою крепкую, костистую руку мне на плечо и немного сдавливал его.

- Не горюйте сильно. Раз никого нет - значит пока нельзя. Будет можно - придут...

Пришли за нами только через неделю. Под вечер по-весеннему солнечного и теплого дня Крейс привел в пристройку бледнолицего веснушчатого парня. Подавая мне руку, парень четко произнес по-русски:

- Здравствуй, друг!

Это было так неожиданно, что я подпрыгнул от радости, обнял его и, все еще тиская, засыпал вопросами:

- Кто такой? Откуда? Знаешь кого-нибудь из наших?

И, только увидев на лице парня недоумение ничего не понимающего человека, опомнился: да ведь это же голландец!

- Простите, пожалуйста, - сказал я, переходя на немецкий. - Я принял вас за своего.

- Я и есть свой, - возразил парень тоже по-немецки. - Я прислан за вами.

Он повернулся к Устругову и, пожимая его руку, снова четко и безукоризненно правильно сказал по-русски:

- Здравствуй, друг!

Это было все, что он знал. Не выпуская руки Георгия, парень, точно продолжая приветствие, добавил по-немецки:

- Мне приказано доставить вас в Неймеген, а оттуда вас поведут дальше.

- Куда?

Парень пожал плечами.

- Этого я пока не знаю.

- Пока? - переспросил я. - Значит, потом будете знать?

- Этого я тоже пока не знаю. Я буду знать, если мне поручат проводить вас дальше.

Он помолчал немного, затем деловито и коротко представился:

- Меня зовут Макс.

- Макс... А дальше?

Парень решительно рубанул рукой, словно отсекал что-то:

- Просто Макс...

Крейс проводил нас до узкой тропинки, которая выводила на неймегенскую дорогу. Он молча пожал нам руки, молча кивнул в ответ на горячую благодарность и пошел своей неторопливой походкой назад.

Молодой проводник, шагавший быстро и легко, был так же сдержан. Всматриваясь зеленоватыми глазами в дорогу, он вежливо, хотя немногословно отвечал на вопросы, если они касались окрестностей, погоды, Неймегена, но настороженно замолкал, как только мы начинали расспрашивать о нем самом или о тех, кто послал его. Когда я пытался настаивать, он вежливо, но решительно воспротивился:

- Этого я не могу сказать. Это говорить не приказано.

- Не приказано говорить или приказано не говорить?

Макс подумал, чтобы уяснить разницу, потом ответил:

- Нет, не приказано говорить.

- Значит, вы говорите только то, что приказано?

- Нет, зачем же? - резонно возразил он. - Я говорю многое, что вовсе не приказано говорить. Но о том, что вы спрашиваете, говорить не нужно и нельзя.

- Не доверяете? А ведь мы вам жизни свои доверили.

- Да ведь и я свою жизнь вам доверяю, - тихо отозвался Макс. - А жизни других доверить не могу и от вас этого тоже не прошу.

Некоторое время шагали молча. Потом я спросил, как чувствует себя Хаген. Вопреки ожиданию Макс с готовностью ответил, что Хаген устроен надежно, немного побаливает, но в общем чувствует себя не плохо.

- Как он теперь? Все еще верит, что нацистов можно победить силой разума?

- Нет, этого он не говорил, - ответил парень и, помолчав немного, добавил: - Концлагерь - страшная школа, но учат там хорошо. И Хаген тоже многому научился, но, кажется, еще не всему.

И, встретив мой удивленный и выжидательный взгляд, пояснил:

- Не всему я говорю потому, что работать с нами не решается.

- С кем это с вами?

- С коммунистами.

Устругов, молча слушавший наш разговор, повернулся к голландцу.

- Ты... ты... тоже коммунист?

Признание Макса обрадовало его, точно в чужом далеком краю неожиданно встретил старого верного друга. Я понимал Георгия, потому что чувствовал то же самое. Мы уже успели убедиться, что между коммунистами разных стран существует особая внутренняя близость, подобная братской, которая заставляет их держаться плечом к плечу. Несмотря на смертельно опасный риск разоблачения, коммунисты старались искать друг друга даже в концентрационном лагере, чтобы знать, на кого

положиться в трудную минуту. Обнаруживая еще одного коммуниста, радовались: рядом друг, который не выдаст и не подведет. Как на друга, смотрели мы на голландца. Георгий сграбастал его в свои тяжелые объятия и почему-то шепотом произнес:

- Это очень хорошо, что ты коммунист, очень хорошо...

Настроение наше поднялось. Мы радовались тому, что вырвались, наконец, из четырех стен пристройки во дворе Крейса. Отдохнувшие и окрепнувшие, с удовольствием шагали по лесной дороге, посматривая на еще черные деревья, притихшие в ожидании ночи. Дышали и не могли надышаться сырым, но уже теплым весенним воздухом.

Стараясь заглянуть хоть немного вперед, я спросил парня, кто же, если не он, поведет нас дальше.

- Подземка.

- Подземка? Какая подземка?

Макс обескураженно всплеснул руками, только сейчас сообразив, что проговорился. Виновато улыбнувшись, пояснил:

- Это мы так называем людей, которые занимаются переправкой беглецов из Германии, а также тех, кто скрывается от преследования.

- Ты тоже подземка?

Макс только кивнул головой и приосанился: он был еще в том возрасте, когда люди охотно гордятся собой и не скрывают этого. Он нравился нам. Я представил себе, что такие вот парни движутся от границы к границе, сопровождая беглецов, прячут их от опасности, ведут ночами, минуя немецкие посты и заставы, потому что знают местность лучше, чем захватчики.

Георгий посматривал на меня с таким видом, словно говорил: "Вот видишь, мы не одиноки, у нас и тут есть верные друзья". - "Конечно, не одиноки", - подмигивал я ему, кивая на Макса. И оба мы верили, что где-то здесь, в голландских городах и поселках, были другие, пока неведомые нам друзья, готовые рисковать своими жизнями, чтобы сохранить наши. Разве может быть более убедительное доказательство дружбы?

В Неймеген пришли ночью. В одном из окраинных домиков нас встретил человек, по виду мелкий чиновник. Он молча пожал нам руки, затем, светя карманным фонариком под ноги, проводил к лестнице на второй этаж и по лестнице в маленькую комнату. Показав лучиком фонаря на две кровати, посоветовал сразу же ложиться спать.

Когда его шаги затихли на скрипящей лестнице, Устругов спросил, у кого остановились. Невидимый в темноте Макс шепотом заметил:

- Никогда не расспрашивайте о людях, которые будут давать вам приют на всем пути. И старайтесь не запоминать, как они выглядят, не примечать места, где стоят их дома. Тут всегда есть риск попасть в руки врага, а он умеет допрашивать. Не расскажет наверняка тот, кто не знает...

- Понятно, - со вздохом покорности отозвался Георгий, однако, опускаясь на кровать, все же не утерпел: - Это подземка?

- Подземка, подземка...

Невидимая и до того дня вообще неведомая нам "подземка" уже приобрела в моем представлении очертание надежной человеческой цепочки. Чтобы справиться с трудной задачей, люди становятся вплотную в один ряд и действуют совместно, скованные одним желанием. И они почти всегда добиваются того, чего хотят. Я поверил, что эта цепочка, образованная верными друзьями, доставит нас туда, куда хочет доставить. И она действительно повела нас от одного пункта к другому, передавала с рук на руки, оберегала, кормила, вносила изменения и улучшения в нашу одежду.

Хозяин поднял нас еще ночью, вручил небольшие бумажные свертки ("Друзья покушать прислали") и вывел на улицу. Мартовская ночь была так темна, что нельзя было рассмотреть даже друг друга. Темь и тишь. Только где-то на другом конце города погромыхивал далекий поезд, переходивший через мост.

Мы пересекли дворик, протиснулись в калитку и двинулись вдоль забора. Напряженно всматриваясь в предутреннюю темноту, я видел только широкую спину проводника, шагавшего легко и уверенно. Скоро в тишине ночи мы услышали знакомый голос леса, который подходил к самому городу. Лес шептался, но не враждебно-пугающе, как это было в Германии, а сочувственно, почти по-приятельски, будто говорил: "Ну, вот вы пришли ко мне, и я буду прятать вас от злых вражеских глаз".

Когда рассвело, проводник свернул с дороги на лесную тропинку, которая долго извивалась среди кустов орешника, елей и сосен и вывела, наконец, к хутору, рассыпавшему свои краснокрышие домики вдоль опушки. Несколько особняком стояла ветряная мельница. Белая в мутном свете утра, она возникла перед нами неожиданно, и мне показалось даже, что какой-то гигант в белой ночной рубашке раскинул руки, чтобы схватить нас. Хутор просыпался. Хлопали двери, скрипели ворота, где-то звонко звенели не то ведра, не то бидоны, сердитый мужской голос звал кого-то. В сыром воздухе тянуло теплым дымом.

Проводник, оставив нас в кустах, направился на хутор и вернулся минут через сорок с заспанным взъерошенным

пареньком лет четырнадцати-пятнадцати.

- Мой племянник... Отведет вас к надежному человеку. Тот переправит через Маас и доставит в Эйндховен.

Наверное, заметив беспокойство в наших глазах, проводник понимающе улыбнулся и положил руку на плечо мальчика.

- На него можете вполне положиться. Он места эти лучше всех знает...

Он пожал на прощание руки и отступил немного назад, молча предлагая нам повернуться и уходить прочь. Мне хотелось обнять его. Мы провели ночь в его доме. Он снабдил нас едой и привел сюда, рискуя, конечно, собой, семьей, родственниками. Сдержанность пожилого чиновника мешала мне выразить чувства самой искренней благодарности. Но Георгия она не остановила. Он шагнул к голландцу, стиснул его плечи в своих больших руках и поцеловал в щеку.

- Спасибо вам! Большое спасибо за помощь!

Голландец растерялся, покраснел и неуклюже потянулся губами к его щеке.

- Это вам спасибо, вам... Разве может наша помощь сравняться с тем, что вы, русские, для всех сделали? Мы не вам, а себе помогаем. Вам большое спасибо...

Затем, словно стыдясь своих неожиданно прорвавшихся чувств, чиновник еще отступил, сделал глубокий поклон, быстро повернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Когда он исчез за деревьями, паренек солидно покашлял, чтобы обратить внимание на свою персону. Он был серьезен и важен и показывал всем видом своим, что понимает ответственность поручения. Однако удержать маску важности надолго не мог, и лицо его осветилось славной, застенчивой детской улыбкой.

Несколько часов продирались мы сквозь лес, лишь изредка выходя на просеки или попадая на тропинки. Паренек шустро бежал впереди, то ныряя в кусты, то обходя их, то скатываясь в лесные лощины и овраги, то огибая их. Старый лес сменялся молодняком, невысоким, но густым, и ровные аллейки недавних посадок вели нас от одной чащи к другой.

К полудню вышли к большой реке. Мощная и мутная, она медлительно несла свои воды, едва державшиеся в плоских берегах. Наш молодой проводник повернул вдоль реки, к маленькому кирпичному домику. Дверь домика оказалась на запоре, и на стук мальчика никто не отозвался. Тогда он потянулся за притолоку, достал ключ и, распахнув дверь, сделал приглашающий жест обеими руками, точно вносил что-то в дом. В просторной комнате, окна которой смотрели прямо в воду, пригласил нас сесть и тут же исчез.

Вернулся он лишь через полчаса в сопровождении невысокого мужчины, большерукого и плечистого. Его широкое лицо было морщинисто. Светлые пятнышки чешуи поблескивали на замасленном комбинезоне, и от него несло сильным запахом рыбы. Рыбак остановился у двери и осмотрел каждого из нас по очереди: сначала и с особым вниманием Георгия, потом меня. Видимо, осмотр удовлетворил его, потому что морщинки вокруг серых, глубоко сидящих глаз стали резче, глубже, темные шелушащиеся губы раздвинулись в улыбке, и он шагнул к нам, протягивая большую руку с жесткой исполосованной шрамами ладонью.

- Как добрались? Устали?

Он с явным удовольствием выслушал ответ, что добрались хорошо. Не отрывая от наших лиц своего взгляда, поймал левой рукой голову мальчика и притянул к себе.

- Проводник у вас хороший был, - сказал он, не глядя на того. Следопыт. Настоящий следопыт...

Рыбак покормил нас и уложил спать, сказав, что ночью пойдем дальше. Мы слышали, как он закрыл дверь и ушел. Некоторое время лежали, прислушиваясь к большой, как будто бескрайной тишине, которая царила вокруг.

Георгий поднял голову и вопросительно посмотрел на меня.

- И тут подземка, - шепотом проговорил он, не то спрашивая, не то утверждая.

- Наверно, подземка.

- Подземка, - уже более уверенно повторил Георгий. - Крестьянин, Макс, чиновник, подросток, рыбак... Хорошо организовано!

- Хорошо.

Мое подтверждение показалось ему почему-то неубедительным. Он повернулся ко мне, опершись подбородком на поставленную на локоть руку.

- Но главное, конечно, не в хорошей организации. Нельзя послать людей на такое дело, если они не хотят рисковать собой. А они сильно рискуют, чтобы помочь нам.

- Чиновник сказал, что они себе помочь хотят.

- Чиновник мог сказать это, он, вероятно, понимает, как все переплетается. А этот подросток? Или рыбак? Разве могут они понять?

- Наверно, могут. Или чутье у них какое-нибудь есть.

Устругов недоверчиво усмехнулся, уронил голову на подушку и лишь после долгого молчания с сомнением повторил:

- Чутье...

Рыбак вернулся, когда уже совсем стемнело. Покормив нас и

заботливо осмотрев нашу обувь, он вывел из домика. Шли долго, молча, только проводник изредка шипел - "ш-ш-ш", - предупреждая о неведомой нам опасности. Три раза пересекали не то реку, не то канал. Рыбак легко находил лодки, будто те были заготовлены для него заранее, греб сильно и осторожно, безошибочно и бесшумно приставал к другому берегу. На рассвете он привел нас к затемненному городу и, найдя среди многих маленьких домиков на окраине именно тот, который нужен, облегченно вздохнул:

- Слава богу, до Эйндховена добрались благополучно...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В том домике мы пробыли два дня и одну ночь, не покидая узкой и почти темной мансарды. Свет, пробивавшийся в единственное маленькое окошко, был так слаб, что едва освещал железную девичью кровать и старенький диван всю обстановку мансарды. Мрак по углам не рассеивался, и время от времени мы направляли туда пытливые взгляды: а не прячется ли там кто? Под самым окошком тихо покачивались ветки фруктовых деревьев с уже набухшими почками. Садик внизу был пуст и мал, он отделялся от другого такого же садика прочной кирпичной стенкой. Соседний садик, такой же пустой и маленький, также отгораживался от других, а те от своих соседей. Сверху эти мелкие кирпичные квадратики, треугольники и пятиугольники казались пустыми сотами какого-то большого улья.

Хозяин домика - пожилой мужчина с крупными руками рабочего и большелобым обветренным лицом - взбирался по скрипучей лестнице в мансарду утром и вечером. Он приносил еду и, пока мы кушали, тихо расспрашивал о самочувствии. От него всегда пахло машинным маслом и углем, и мы решили про себя, что он паровозный машинист. На наши вопросы, когда и куда отправимся дальше, машинист только пожимал плечами, делал вид, что не понимает достаточно хорошо наш немецкий язык. Перед вечером второго дня он принес батон хлеба и большой кусок сыра.

- Прячьте. Может, вам два-три дня ничего не удастся достать.

- Уходим?

- Уезжаете.

- Куда?

- На юг, поближе к Арденнам...

Поздно вечером он вывел нас на улицу. Миновав другие такие же маленькие и затемненные домики, мы направились по узкой, недавно протоптанной дорожке через поле или пустырь. Прямо перед нами звонко, хотя не громко, вскрикнул паровоз, потом, невидимые во тьме, застучали, звякая буферами, вагоны.

Мы уперлись в насыпь, взобрались на нее и, нырнув под вагон, оказались между длинными черными составами.

У вагона с будкой кондуктора машинист остановился и постучал костяшками согнутых пальцев по стенке.

- Вилли... Вилли... Принимай гостей.

Из будки вылезла и проворно спустилась на полотно большая черная фигура. Кондуктор нащупал во тьме мою руку и молча тиснул с такой силой, что я с минуту тряс потом пальцы. Наверное, в устругoвской руке он почувствовал достойного соперника, потому что удивленно произнес: "О!" взял Георгия под локоть и повел, не считая нужным сказать мне, чтобы я следовал за ними. Быстро и бесшумно кондуктор отодвинул дверь одного из вагонов, помог Устругову влезть, затем подставил руку мне и с силой подтолкнул вверх. Так же не говоря ни слова, закрыл дверь вагона и звонко стукнул запором. Оставшись в кромешной тьме, мы с тревогой прислушивались к четким тяжелым шагам, которые, удаляясь, скрипели все тише и тише. Георгий взял меня за плечо, притянул к себе поближе и прошептал:

- Это тоже подземка?

- Вероятно, - подтвердил я, хотя на самом деле уверенности у меня не было.

До сих пор непрерывная и верная цепочка "подземки" вела нас. Но ведь во всякой цепи бывают слабые и ненадежные звенья. Немцы не настолько наивны, чтобы не знать о "подземке", и не настолько беспомощны, чтобы не суметь вклиниться в цепочку. Мысль об этом, появлявшаяся и раньше, была на этот раз особенно ноюще-неприятной.

- Наверно, подземка, - более твердо повторил я, стараясь словами рассеять опасения. И Георгий, ободряя меня и себя, поспешил подтвердить:

- Конечно, подземка.

Поезд тронулся, дернув наш вагон так неожиданно, что нам пришлось схватиться друг за друга, чтобы устоять на ногах. Чем больше скорости набирал он, тем легче становилось на сердце: пока поезд двигался, мы были в безопасности. И самочувствие наше соответствовало его движению. А поезд, как на грех, шел очень неровно: то мчался как сумасшедший и вагон раскачивался из стороны в сторону, то едва тащился, то останавливался совсем и надолго. А потом вдруг, коротко свистнув, дергался, колотясь буферами, набирал скорость и опять мчался, грохоча над мостами и мостиками.

Ранним утром на третий или четвертый день поезд остановился на тихой-тихой станции. Где-то совсем рядом гомонили по-весеннему птицы. Какой-то горластый разбойник

звонко выкрикивал, точно допрашивал: "Куда-да? Куда-да?" Другой, не интересуясь ни вопросами, ни ответами на них, самозабвенно свистел, даже не желая убедиться, слушает его кто-нибудь или нет. Все пернатые приветствовали утро с азартом и восторгом, веселящим человеческое сердце, особенно сердце затворника.

Увлеченные разноголосым и нестройным хором птиц, мы не услышали шагов на полотне, поэтому вздрогнули, когда с внешней стороны двери резко щелкнул отброшенный запор. Автоматы мы зарыли в лесу около двора Крейса, сохранив только пистолеты. Но у каждого было лишь по одной обойме, и мы могли сопротивляться в случае необходимости очень недолго. Мы приучили себя не хвататься за пистолеты и не тянуться рукой к карману, где прятали их. Тут, однако, не удержались. Великан, просунувший голову в приоткрытую дверь, увидел пару пистолетов, нацеленных в него.

- Стоп, стоп! - негромко, хотя и поспешно бросил он. - Свой, свой... Уж очень вы нервные...

Он подождал немного, укоризненно усмехаясь, и приказал:

- Ну-ка, прыгайте сюда...

А когда один за другим мы, опираясь на его мощное плечо, спрыгнули на песок и щебень полотна, кондуктор, поманив нас за собой, нырнул под вагон. На другой стороне показал на лес, подступавший прямо к железной дороге.

- Теперь в этот лес. И немного назад вдоль дороги. Метров триста отсюда одинокий домик. Скажите там: Вилли прислал...

Неожиданно проворно для его большой фигуры он нагнулся и исчез под вагоном. Я присел, намереваясь поблагодарить его, но увидел только большие, крупно шагающие ноги.

Утренний туман был настолько плотен, что с насыпи казалось, будто деревья стоят в воде. Вода, однако, исчезала, отступая дальше, в глубину леса, по мере того как мы приближались к нему. Там, где виднелась вода, мы находили лишь мокрые гнилые листья да крупные светлые капли на кустах.

Домик, о котором говорил кондуктор, был действительно одинок. Кирпичный, под зеленой крышей, он смотрел тремя почти квадратными окошками на лужайку между лесом и железной дорогой. За ним виднелись хозяйственные пристройки: сарай, кладовка, навес для сена. Выложенная кирпичом дорожка вела от домика к колодцу с ручным насосом, а от колодца вниз, к ручейку, поросшему высоким кустарником. Над крышей поднимался легкий, как пар, дымок, донося вкусные запахи.

В домике, очевидно, готовились к завтраку. Съев за трое суток только батон и кусок сыра, мы были достаточно голодны,

чтобы тут же подумать о еде. Чувство опасности было все же сильнее голода, и мы не рискнули подойти прямо к домику. Спрятавшись в кустах, долго не сводили с него глаз.

Обитатели домика не знали, может быть, и не хотели знать, что в сорока или пятидесяти метрах от них в мокрых кустах лежали два голодных человека. Да и что им до нас? Они были в тепле. Они были сыты. И главное они могли не бояться, что их схватят, изобьют и вернут в Германию, в концлагерь, где психопаты-садисты придумают беглецам какой-нибудь изощренно-жестокий конец.

Примерно час спустя дверь домика отворилась, выпустив на крыльцо девочку-подростка в клетчатом, немного тесном для нее платье. Она постояла на крылечке, размахивая ведром, потом спрыгнула сразу обеими ногами на ступеньку, затем на другую, на третью, производя страшный грохот деревянными башмаками. Шаркая гремящей обувью по кирпичам, девочка побежала к колодцу.

Пока она накачивала воду, повернувшись к нам спиной, я поднялся и пошел, рассчитывая оказаться между колодцем и домом, когда девочка наберет воды. Георгий оставался в кустах: рисковать обоим не следовало, да и девочка могла напугаться, увидев двух небритых, свирепого вида мужчин. Кроме того, мой друг гордился знанием французского языка, но по-немецки говорил с трудом, голландский понимал плохо. Во всех случаях, когда объясняться приходилось не с французами, он говорил мне:

- Иди. Ты скорее объяснишься.

И я шел. Практика, которую получил я в концлагере по совету Васи Самарцева, очень пригодилась. Зная немецкий, хуже английский и французский, я действительно мог "объясняться" почти со всеми, кто встречался на нашем пути.

Девочка не испугалась, увидев меня на дорожке. Остановившись шагах в пяти от меня и опустив ведро, она вопрошающе уставилась мне в лицо карими глазками с такими маленькими зрачками, что их даже рассмотреть было невозможно.

- Можно у вас напиться? - спросил я по-немецки. Этот язык достаточно близок к голландскому, чтобы голландка могла понять простую фразу.

Девочка удивленно посмотрела на меня. Лишь по моему невольному жесту в сторону ведра она догадалась, чего я хочу. Показав пальцем на ведро, она наклонила голову.

- Можно у вас напиться? - повторил я по-французски, смутно надеясь, что мы уже в Бельгии.

На веснушчатом лице расплылась довольная улыбка.

- Да, месье... Конечно, месье. Только лучше в дом зайти, кружку взять...

Я сделал два шага в сторону, освободив дорожку. Подхватив ведро, девочка, сильно клонясь вправо, простучала своими тяжелыми башмаками мимо меня и только на крыльце обернулась. Чувствуя себя более уверенно, она улыбнулась и пригласила следовать за собой.

- Может, лучше ты вынесешь кружку, - попросил я, все еще не решаясь сразу войти в дом. - Или позови отца.

- Отца дома нет, - сказала она, вдруг посерьезнев. - Он в плену.

Она скрылась, захлопнув дверь. Я остался перед крыльцом, опасливо прислушиваясь к неясным шумам чужого дома. Снова хлопнула дверь, и на пороге появилась еще молодая женщина с красивым, но каким-то жестким лицом. Нос у нее был слишком прямой, костисто-тонкий, рот правильно очерчен, но губы сжаты, большие черные глаза блестели слишком ярко. Она посмотрела на меня вопрошающе и настороженно.

- Я, собственно, хотел бы... ожидал... кого-нибудь из мужчин, пробормотал я.

Женщина нахмурилась.

- Что вам нужно?

- Я хотел поговорить... Нам нужно... Вилли послал сюда... сказал: метров триста назад домик у дороги... спросите хозяев и скажите, что от Вилли...

Тонкие губы раздвинулись в слабой улыбке, показав белые ровные зубы.

- Вы от Вилли? От какого же это Вилли?

Ее черные глаза, смотревшие на меня пристально, не мигая, стали еще острее и ярче.

- Вилли? - переспросил я, удивленный тем, что она не знает кондуктора, и поднял высоко руку над собой, показав его рост. - Он привез нас сюда в товарном вагоне, высадил на станции и сказал, чтобы шли к этому дому.

- А кто вы такой?

- Русский пленный.

- Бежали, значит, из плена?

- Бежал из плена, попал в концлагерь.

- Бежали, значит, из концлагеря?

- Да, бежал из концлагеря.

Она сделала шаг назад, снова оказавшись по ту сторону порога.

- Заходите в дом, раз вы от Вилли.

Она пропустила меня мимо, открыла дверь в просторную

светлую комнату, обставленную с деревенской простотой и громоздкостью: вещей было немного, все крупные, прочные, будто рассчитанные на великанов. Посредине комнаты под висячей лампой стоял большой круглый стол с большими деревянными стульями вокруг. Под окном прочно и просторно разместился толстоногий, с мощной спинкой диван, а всю стену между дверью в соседнюю комнату и окном занимал громоздкий, почерневший от времени буфет, украшенный замысловатой резьбой.

В комнате меня встретила пожилая женщина с морщинистым измученным лицом. Она осмотрела меня почти враждебным взглядом и повернулась к молодой. Та устало махнула рукой и вздохнула.

- Русский пленный. Вилли привез.

Старуха снова оглядела меня и пробормотала с укоризной:

- Вот ведь бегут же люди. Бегут... Сколько уже тут прошло... Почему же наш-то Луи не убежит? Почему? Ноги у него отсохли, что ли? Ему ведь до дома рукой подать: Германия совсем рядом.

Молодая досадливо поморщилась.

- Я же тебе говорила, мама, что наших пленных они нарочно подальше услали. На восток, поближе к России. А русских - на запад, поближе к нам. Чтоб бежать труднее было.

- Но вот же убегают люди...

- А им разве легко?

В ее голосе было понимание и сочувствие, хотя лицо оставалось по-прежнему холодным и строгим.

- Ты чего у двери топчешься? - сердито обратилась вдруг ко мне старуха. - Садись, набегался, наверно. Да не жмись ты, как девчонка. Снимай-ка пальтишко, на диван садись. Убежать хватило смелости, а тут чисто мокрая курица, а не солдат.

- Видите ли, - замялся я, - у меня там... в кустах, товарищ прячется. Можно его позвать?

Старуха только развела руками, сердито фыркнув, а молодая улыбнулась теплее, сразу став привлекательней.

Рост, плечи Устругова вызвали у старухи восхищение. Посадив нас завтракать и советуя есть побольше, она обращалась только к нему, точно меня вовсе не было, умиленно смотрела на него и почему-то вздыхала.

Сразу после завтрака молодая коротко и сухо, как все, что говорила, объявила, что оставаться долго тут нельзя и что лучше поскорее уйти дальше в леса и горы. Однако, когда мы потянулись к своим пальто, она с усмешкой остановила, поманила за собой на кухню и показала на уголок вымытого до белизны стола. Там лежали бритвенные принадлежности,

заботливо приготовленные хозяйкой.

- Побрейтесь сначала, - посоветовала она и с легкой, немного насмешливой улыбкой добавила: - С такими лицами не только женщин, но и медведей испугать можно.

Мягкая улыбка озарила красивое, но жестковатое лицо, когда, убирая бритву, она заметила:

- Мужняя... Сколько русских лиц эта бритва побрила!.. Приходят обросшие, страшные, а побреются - видишь: хорошие, добрые лица. Измученные, правда... Но как тут не измучиться?

Пожилая осмотрела нас после бритья, полюбовалась еще Георгием и почему-то укоряюще заметила, обращаясь на этот раз ко мне:

- Мы вот принимаем, кормим, прихорашиваем... А примут ли нашего Луи где? Накормят ли? Дадут себя в порядок привести?

- Ну, что вы, мама! - поспешно вмешалась молодая. - Конечно, и Луи нашего примут. Я уверена в этом. Каждая жена, по-моему, должна принимать других так, как хотела бы, чтобы ее мужа принимали. Ведь верно? Всегда нужно поступать с другими так, как хочешь, чтобы с тобой поступали.

- Конечно, верно, - подхватил Устругов. - Это самое хорошее правило... И верьте, пожалуйста, если ваш муж попадет в русскую семью, он будет, безусловно, хорошо принят и обласкан.

- Да я-то не сомневаюсь в этом, - отозвалась молодая. - Беда всех нас вместе свела, вроде как бы сроднила. Я это чувствую, и ваши жены - или ваши матери - это тоже чувствуют. У вас, у мужчин, разные дела, разные заботы и разные желания. У женщин забота одна: муж и дети, желание тоже одно: держать их поближе к себе и чтобы они сыты были, чтобы здоровы были...

Она провела нас в тот же лесок, откуда пришли. Туман совсем рассеялся, и редкий лес казался прозрачным. Хор пернатых не стал стройнее, хотя, безусловно, многоголосее и мощнее. Лишенные дирижера, певцы заливались каждый по-своему, в меру своих сил и талантов. Все вместе они создавали ту чудесную музыку леса и весны, которая никогда не надоедает, никогда не утомляет слуха. Проникая в наше сердце, она вызывает то успокоительно-радостное настроение, какое музыке, созданной человеком, вызвать часто не удается.

По лесной дороге, указанной бельгийкой, мы добрались до маленького поселка, стоявшего на развилке дорог. Красностенный и краснокрыший, он вытянулся между двух лесистых холмов, изогнувшись по маленькому быстрому и прозрачному ручью. Поселок был пустынен и тих. Его жители прятались за кирпичными стенами и занавешенными окнами, и нам показалось, что тут никого нет.

И даже когда мы постучали в дверь крайнего домика, где жил брат бельгийки, никто не отозвался. Пришлось стучать еще раз, стучать более настойчиво и громко. Только после этого, громыхнув в сенях чем-то тяжелым и с силой дернув внутрь дверь, перед нами предстал грузный мужчина лет сорока, небритый, с бельмом на правом глазу.

- Ага, еще пара птичек, - объявил он, едва выслушав мое сообщение, что нас прислала сестра, которая просила переправить дальше. - Издалека летите?

Мы переглянулись, не зная, говорить ему правду или соврать. Георгий пожал плечами: будь что будет.

- Из концлагеря Бельцен.

Одинокий глаз удивленно уперся в мое лицо.

- Где это?

- Недалеко от Мюнстера.

Бельгиец присвистнул даже.

- Далеко улетели. Молодцы... А теперь в наших горах запрятаться поглубже хотите? Что же, прячьтесь, прячьтесь... Раз вырвались из неволи, погуляйте в наших лесах и горах. Тут места хватит... Сильно устали? - И, не приглашая в свой дом и не уступая прохода, продолжал сыпать: - Горы наши, конечно, не Альпы и не Пиренеи, но спрятаться в них вполне можно. Глубоко и надолго. Тут есть такие деревни, куда только пешком да верхом пробраться можно. Да и то, если дорогу твердо знаешь. Тут можно так спрятаться, что ни один черт не найдет. Отдохнуть хотите?

Мы не успели ответить, как он опять забормотал:

- И народ у нас тут хороший, приветливый. На чужих-своих не делит. Да и как делить, когда у нас тут, в Арденнах, смесь? Сплошная смесь. Валлонцы. Фламандцы. Французы. Голландцы. Немцы. И люксембуржцы. Вот еще странный народ, эти люксембуржцы. Помесь немцев с французами. Но немецкое явно перевешивает. Три к одному. Не меньше. Не случайно немцы из всех западных только люксембуржцев арийцами признали. Ни голландцев, ни фламандцев, близких им по языку, а только люксембуржцев. Может, покушать хотите?

Теперь мы даже не пытались отвечать, покорно стоя перед ним. А он говорил, говорил, говорил. Продолжая говорить, жестом пригласил в дом, так же жестом представил жене, полной женщине с маленькой черной, очень подвижной головкой, и жестом усадил за стол. Он говорил, пока хозяйка кормила, говорил, провожая на отдых в мансарду, говорил на всем пути к перекрестку дорог за поселком, говорил, пока ждали обещанную им грузовую машину. Когда впереди послышалось гудение

мотора, воющего на подъеме, мы бросились к кустам.

- Не бойтесь, - остановил он нас, - немцев у нас почти не бывает. Это единственный в наших местах грузовик, и ведет его человек, который нужен. Он уже немало беглецов разных перевез и сегодня вас увезет.

- Куда?

И только тут этот человек, страдающий недержанием речи, не нашел слов, коротко буркнув:

- Это вы скоро сами узнаете...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Шофер грузовика оказался молодцеватым, красивым парнем лет двадцати пяти - двадцати восьми. Осадив машину почти на полном ходу, он высунул в окно приветственно поднятую руку и крикнул:

- Еще пара птенцов?

Как и одноглазый, он отнес нас к семейству пернатых, но тот назвал нас "птичками", а этот "птенцами". Посмотрев на Георгия со стороны, я невольно ухмыльнулся; "Хорош птенец, косая сажень в плечах".

- Еще пара, - быстро отозвался наш провожатый и тут же посыпал: Прилетели издалека. Исколесили половину Германии, Голландию сначала с востока на запад, а потом с севера на юг. Здесь уже порядочно отмахали. Летят хорошо и смело. И просто удача, что ты именно сегодня приехал. Я знал, что ты обратно этой дорогой поедешь, и привел их сюда. Они испугались, заслышав шум мотора, да я успокоил их. Сказал, что Шарля бояться нечего, что ты уже много людей перевез, и всех без единой неприятности...

- Одного могу в кабину, - сказал Шарль, воспользовавшись тем, что говорун вдруг закашлял, - другому в кузове придется.

Нам не хотелось разъединяться.

- А можем мы оба в кузове ехать?

Шофер подарил мне понимающую и одобрительную улыбку.

- Вы, оказывается, по-французски прилично говорите. Это очень хорошо. Тогда, может, вы сядете со мной, а ваш товарищ - в кузове?

- Товарищ тоже говорит по-французски.

С той же одобрительной улыбкой Шарль посмотрел на Георгия и показал через плечо большим пальцем левой руки на кузов: полезайте, не мешкайте.

Одноглазый уцепился за наши руки, протянутые из машины, и затараторил:

- Тут дорога хорошая, извилистая, правда, но не избитая. По ней немцы в сороковом году на Францию прошли. Прошли

быстро, без задержек и осложнений. Их тут, чертей, не ждали, и боев никаких не было. Думали, что немцы ударят через канал Альберта или на линию Мажино, южнее пойдут. Об этом тогда наши газеты каждый день трезвонили. Об Арденнах молчали, будто их и вовсе не было. А немцы выбрали Арденны. Сумасшедшие! Ведь газетные вояки говорили, что в Арденнах один наш солдат сто немцев остановит. Взорви один мост в горах, и все наступление сорвется. Или скалу на дорогу повали, чтобы стратегически важное движение прервать. Действительно, только сумасшедшие могут выбрать этот путь. Иначе наши газеты тогда не выражались. И настолько убедили наших генералов, что те оставили Арденны совершенно без войск. А немцы не поверили газетам, совсем не поверили.

Уже отпустив наши руки, он шел рядом с машиной и выкрикивал:

- Они выбрали Арденны. И прошли... Прошли без задержек и осложнений. Каково, а?

Шарль послал ему восхищенную улыбку, повернулся, посмотрел в заднее окошко кабины и кивнул в сторону оставшегося на дороге: видели вы где-нибудь такого? Он был слишком разговорчив, наш случайный хозяин, но все же гостеприимен, рисковал из-за нас, и мы не могли не ответить Шарлю улыбкой сочувствия и симпатии.

Дорога действительно была извилиста. Она петляла меж холмов, не решаясь пересечь их, иногда выходила на речонку или ручеек и долго вилась рядом. Иногда она вытягивалась вдоль крутого склона или скалистого обрыва, и мы чувствовали тогда прохладную сырость.

Когда тьма сгустилась настолько, что перестали даже угадываться очертания лесистых холмов, начал накрапывать дождик. Шарль остановил машину, открыл дверь и, став на подножку, заглянул в кузов.

- Слезайте сюда. Разместимся как-нибудь. Дожди у нас бывают сильные. Вы не только промокнете до нитки, но и простудитесь. Завтра - верный грипп. А вам это сейчас меньше всего нужно.

В кабине грузовика было тесно, я прижался к Георгию, чтобы не мешать водителю. Машина шла теперь медленнее: затемненные фары бросали лишь узкие короткие полосы света. В них сверкали серебряные пунктиры дождя.

Осторожно и вежливо Шарль начал расспрашивать, откуда мы бежали, хотя наш говорливый проводник успел рассказать, кто мы такие, долго ли воевали и чем занимались до войны. Видимо, то, что узнал он, устраивало его, и шофер, явно

довольный результатом расспроса, наконец, изрек:

- Это хорошо, что вы бежали сюда. Тут хорошие люди нужны. Надежные и опытные.

- Ну, какой у нас опыт! - возразил я. - Кроме умения воевать, мы ничему не научились.

- Ныне именно этот опыт ценится больше всего. Война же кругом...

- Кругом, но не здесь... Зачем здесь нужны люди с военным опытом?

Шарль повернулся вполоборота ко мне, но в сумраке кабины, вероятно, ничего не увидел и снова уставился на сверкающий серпантин, в который врезывался нос машины. Лицо шофера слабо освещалось снизу щитком приборов, выделяя особенно четко энергичный подбородок. Вместо улыбающегося красивого парня я увидел лицо сурового человека, решительного и твердого. Он молчал, пока машина с визгом и воем брала скользкий подъем. Лишь после того, когда она выбралась на ровную дорогу и покатилась легче, Шарль заговорил.

- Видите ли, после того, что случилось с немецкой армией там, у вас, в России, - начал он медленно, будто вслушиваясь в каждое свое слово, настроение и тут начало меняться. Долгое время здесь все жили, притаившись и выжидая. Многие и сейчас хотят жить так же. Народы наши, говорят они, маленькие, слабые, нам нельзя ввязываться в драку гигантов, гиганты раздавят нас под своими ногами и даже не заметят этого. Наш удел, говорят они, терпеть и ждать, кто выйдет победителем, а затем покориться ему. Другие говорят: ждать нельзя, надо действовать. Враг у нас один, поэтому и действовать надо сообща, а не ожидать исхода драки. Мы не можем, говорят они, быть простыми наблюдателями: ведь от исхода этой драки зависит и наша будущая жизнь, жизнь наших детей. И ныне тех, кто говорит так, становится все больше и больше. Одни пока только говорят, другие готовы действовать. Действовать тут, у себя. А чтобы действовать с пользой, с умом, нужны люди, которые знают, как действовать, умеют действовать. Нужны люди с военным опытом.

- Вы-то сами к какой группе относитесь?

Водитель усмехнулся.

- К последней, конечно.

Светлая полоса, летящая впереди машины, купалась в упругих струях, выхватывая порою на поворотах то белые столбики ограждения, то скалы, нависающие над дорогой.

- А вы сами как? - спросил он тихо, лишь поведя глазами в нашу сторону. - Устали сильно? Отдохнуть хотите?

- Нам не до отдыха, - сказал я, - мы готовы...

- Наотдыхались достаточно, - перебил меня Георгий. - В плену отдыхали, в концлагере отдыхали. Наотдыхались, хватит... У нас такой счет к ним, - кивнул он головой назад, хотя немцы были не только позади, но и впереди и по бокам, были со всех сторон. - Целой жизни не хватит, чтобы рассчитаться с ними...

Счет! Георгий нашел правильное слово - "счет". У нас действительно был огромный счет к виновникам наших бед и страданий. И вероломное нападение на нашу землю. И разрушение родных городов и сел. И миллионы человеческих жизней. И унижение плена. И гнусности озверелых охранников в концлагере. И гибель Медовкина, Егорова, Зверина, Жарикова, Федунова. И смерть Васи Самарцева.

- Мы готовы действовать, - продолжал я, когда мой друг замолчал. Готовы действовать хоть сейчас, сию минуту...

Шарль молча кивнул головой, наклоняясь вместе с поворотом руля и машины влево.

- Сейчас, сию минуту действие не потребуется, - сказал он. - Но скоро может потребоваться. И ваш опыт потребуется. Тут у нас кое-что уже есть.

"Кое-что уже есть..." Я вдруг вспомнил, что именно эти слова произнес наш сотоварищ по лагерю и спутник по побегу бельгиец Валлон. Когда, покинув лесную сторожку после первой ночи на свободе, мы двинулись в сторону Голландии, он взял меня под локоть и кивнул на носилки Самарцева.

- Надо уберечь его. Другого такого мы не скоро найдем...

- Другого какого? - в недоумении переспросил я. Самарцева мы берегли, и это напоминание со стороны чужого человека казалось излишним.

- Руководителя такого, - ответил Валлон. - Нам нужен человек, который знал бы военное дело, сумел бы объединить и повести за собой разных людей.

- Кому это нам? И каких людей он должен объединить и повести? нетерпеливо и резко спросил я, удивленный и даже задетый новым, каким-то хозяйским тоном бельгийца. Он и раньше не нравился мне. Среди обитателей барака Валлон выделялся настороженной подвижностью. Он совал свой длинный тонкий нос во все дела. Подходя к человеку, вплотную придвигал свое узкое с обтянутой кожей лицо, будто обнюхивал, и, обменявшись парой совершенно пустых фраз, отходил. От серьезных разговоров, которые иногда пытались завязать с ним, отделывался шуточками и анекдотами. Только с Самарцевым, да и то редко, говорил спокойно, без кривляния. На мой вопрос, о чем тот может серьезно говорить с этим болтуном, Василий ответил уклончиво:

- В нашем положении, брате мой, лишние знания не приобретение, а тяжелый и опасный груз. И за этот груз приходится иногда расплачиваться даже своею кровью...

Я очень сомневался, что голова Валлона хранит какой-либо "груз", но настаивать не стал. Охранники с особым азартом выбивали "признания", если подозревали, что заключенный что-то знает. Попробуй докажи, что "груз" бельгийца выеденного яйца не стоит...

- Кому это нам? - еще более настойчиво и резко повторил я, когда бельгиец замялся. Не получив ответа, я освободил свой локоть и ускорил шаг: не хочет говорить - пусть не лезет с советами. Валлон догнал меня и, уже не решаясь брать под локоть, пошел рядом.

- Не сердитесь на меня, что я не все говорю, - пробормотал он. - Дело в том, что у нас в Арденнах кое-что уже есть... А вот сердцевины хорошей, магнита, который всех бы к себе стянул и повернул, куда надо и как надо, нет... Самарцев мог бы быть этим магнитом, мог бы стать умом и сердцем очень большого и нужного дела, которое там у нас, в Арденнах, намечается.

И весь предыдущий разговор и настойчивые уговоры Валлона накануне в сторожке не искать убежища в Голландии, а пробираться в Арденны стали понятны.

- Я-то думал, что вы просто домой хотите добраться, - пробормотал я. - Или в Арденнах понадежнее спрятаться.

- Нам нельзя прятаться, - серьезно возразил бельгиец. - Никак нельзя. Тот, кто прячется, заранее признает себя побежденным и сдается на милость победителя. Мы же - я имею в виду всех нас: бельгийцев, русских, голландцев, французов, поляков - не можем сдаться на милость завоевателей и отказаться от будущего, лишить будущего наших детей.

По четкости мысли и несколько возвышенному стилю изложения я понял, что передо мной человек, привыкший выступать публично, говорить образно, с увлечением. Валлон сбрасывал маску кривляки и болтуна, показывая свое настоящее лицо. В лагере, наверное, только Самарцев знал его, но берег секрет. И я впервые посмотрел с интересом и уважением в черные глаза Валлона...

- Люди с военным опытом нам очень нужны, - продолжал после некоторого молчания шофер. - Очень. Почти все наши мужчины, имеющие военную подготовку, были призваны в армию, а армия, как вы знаете, в полном составе, во главе с королем сдалась немцам. Парни, которые три-четыре года назад были слишком молоды, чтобы быть мобилизованными, подросли. И часть их могла бы, хотела бы... - Шарль затруднялся подобрать

нужные слова, попытаться, что ли, сделать что-нибудь... не сидеть сложа руки. Чтобы не стыдно было потом смотреть в глаза тем, кто воевал.

Он опять замолчал, направляя машину через мостик.

- Одного желания, конечно, мало, - продолжал он. - Военное дело ныне сложное, враг силен. Слышали мы, что русские и в тылу воюют, сами тоже кое-что пытаемся сделать, но все очень неуверенно, опасливо, ощупью. Вот тут-то опытные люди очень пригодились бы...

- Неужели среди бежавших сюда нет офицеров?

- Офицеры есть, только подходящих мало, - ответил Шарль. - Таких, чтобы дело знали, язык французский знали, командовать могли и людей за собой вести умели.

Устругов разочарованно вздохнул.

- Командирский опыт у нас маленький. Я саперами командовал, а какой из сапера командир? Делай шурфы или подвязывай взрывчатку, присоединяй шнур и рви.

Шофер встрепенулся и, притормаживая машину, повернул к нам голову.

- Сапер-подрывник? Дело это знаете?

И, не дожидаясь ответа, бодро, с удовольствием провозгласил:

- Это как раз то, что нужно! Именно тут мы особенно слабы. Взрывать есть что, а научить, как это делать, некому.

Он тронул меня за плечо.

- А вы?

Я сказал, что был на фронте в полевой разведке, знаю немецкий язык. У меня не хватило духу сказать, что командовал взводом целых шестнадцать дней. Слабо улыбнувшись, будто услышав детский лепет, Шарль прибавил газу и придвинулся грудью к рулю. Всматриваясь вперед, тихо и неторопливо заметил:

- Разведчики у нас хорошие. Не только немецкие силы, но и личные слабости и темные делишки их командиров знаем. А полевая разведка нам пока не нужна.

Помолчав немного, ободряюще добавил:

- Ну, ничего... Вы сравнительно прилично говорите по-французски и годитесь в связные.

- В связные? Кого же и с кем я буду связывать?

Шофер усмехнулся и уклончиво заметил:

- Наверно, бельгийцев с русскими. Тут уже немало русских, и одиночками и группками в горах прячутся. А совсем недалеко отсюда - на шахтах Льежа, Шарлеруа, Берингена - тысячи их работают. И хороший связной, - он особенно подчеркнул слово

"хороший", - может многое сделать, чтобы сблизить бельгийцев с этими русскими, а русских с бельгийцами...

Несколько ошеломленный рассказом, допросом и особенно легкостью, с какой Шарль определил, на что каждый из нас годится, я еще внимательнее присмотрелся к нему. С насупленными бровями, крепко сжатыми губами и немного выдвинутой вперед нижней челюстью, он скорее походил на кадрового военного, привыкшего командовать, нежели на шофера. Я был убежден, что он не шофер, хотя вел грузовик почти с профессиональной ловкостью и умением. Но, памятуя совет Макса, я не решался спросить Шарля, кто же он сам. Мы зависели от него и обязаны были отвечать на его вопросы. Он мог остановить машину и высадить нас тут же, на горной дороге, под проливной дождь, если бы наши ответы не удовлетворили его.

Он не высадил нас. Внутренне мы радовались тому, что повстречали человека, который может стать нашим союзником в осуществлении тех неясных планов, которые несколько облагораживали наше бегство в безопасность Арденнских гор и лесов.

Долго ехали молча. Шарль раскачивался немного из стороны в сторону вместе с машиной, делающей крутые повороты, напряженно смотрел вперед, изредка кивал головой, точно одобрял свои мысли. Около полуночи отвалился от руля, нажимая на тормоза, и облегченно вздохнул:

- Приехали...

Желтое пятно фар уперлось в большие закрытые ворота, захватив также часть дома с черным окном и дверью. Шарль выскочил из машины и постучал. Дверь тут же открылась: в доме, вероятно, услышали шум грузовика и спешили навстречу. Обменявшись парой слов с шофером, встречавший захлопнул дверь и через полминуты появился в распахнутых воротах. Это был плотный мужчина лет пятидесяти, толстоплечий, с крупным небритым и, может быть, поэтому очень суровым и недовольным лицом. Спасаясь от света фар, он прикрыл рукой глаза, вывернув широкую, почти черную ладонь в нашу сторону. Пропустив грузовик в ворота и закрыв их, подошел к машине, распахнул дверку кабины и внимательно всмотрелся в наши лица.

- Вылезайте, - хрипло и сердито скомандовал он. - И шагайте прямо за мной.

Неуверенно ступая на затекшие ноги, мы вылезли и пошли. Он подвел нас к едва различимой стене высокого дома и попридержал рукой: несколько каменных ступеней вели вниз, к двери. Мы протиснулись в плохо освещенную комнату. Повернувшись спиной к большому деревянному столу, стоявшему на середине комнаты, встречавший придирчиво осмотрел нас и перевел мелкие, глубоко сидящие глаза на Шарля с вопросом и укоризной.

- Не беспокойся, дядя Огюст, я не подобрал их просто на дороге, - со смешком сказал Шарль. - Они прошли по цепочке от немецкой границы через всю Голландию.

Хозяин сделал шаг вперед и, не меняя сердитого выражения, протянул большую руку с шершавой, как засохшая подошва, ладонью.

- Здрасте!

Он толкнул ногой в нашу сторону пару мощных стульев, огораживающих стол, и с той же лаконичностью приказал:

- Садитесь.

Сам пошел в темный угол и скрылся за дверью. Шарль проводил его восхищенным взглядом и подмигнул нам: не робейте, не так он плох, как кажется с первого взгляда. Мы ответили слабыми улыбками.

Хозяин вернулся минут через десять с большим подносом, который держал на одной руке. На подносе оказались хлеб - давно не виданный нами белый хлеб с темной корочкой, - сыр и колбаса, порезанная тонкими-тонкими ломтиками, четыре стакана и большая черная бутылка без этикетки. Он опустил поднос на стол и, сделав широкий жест, будто подгребал что-то к себе, хрипловато сказал, как скомандовал:

- Кушайте!

За столом хозяин молчал, поднимая время от времени маленькие суровые глаза то на Шарля, то на меня и Георгия, наклонял иногда голову в знак согласия с Шарлем - говорил тот один - и медленно вертел в коротких, крепких и волосатых до самых ногтей пальцах стакан с густо-темным вином. Шарль рассказывал о поездке, о встрече с каким-то барышником, который обещал что-то достать, но не достал, о дожде, который шел не переставая, и о шинах, стершихся настолько, что уже скользят на подъемах. Старик молчал, точно вдумывался в слова Шарля, а потом без какой-либо связи с рассказанным вдруг кивнул головой в нашу сторону.

- Их к Жозефу?

- Конечно, - подтвердил Шарль, - конечно. К "братьям-кирпичникам".

Мы переглянулись с Георгием: кто такой этот Жозеф? Почему именно к нему? И что это еще за "братья-кирпичники"?

Шарль поймал наш взгляд и правильно понял его.

- Жозеф - хороший, надежный парень, - сказал он. - А "братья-кирпичники" - ваши соотечественники. На брошенном кирпичном заводе недалеко от Жозефа живут.

- Пока на чердаке пристроим, - с прежней лаконичностью и опять не глядя на нас, произнес хозяин. - Жозеф придет, заберет их.

- А не опасно? - спокойно и даже равнодушно спросил Шарль. - Ведь тут иногда немцы останавливаются.

- Теперь они редко бывают.

Когда кончили поздний ужин, хозяин неторопливо поднялся и повернулся к Шарлю:

- Ты отведешь? Или мне?

Повел нас Шарль. Мы вновь вышли во двор, проскользнули вдоль стены, спасаясь от дождя, который продолжал лить, вошли в какую-то дверь, ведущую прямо на лестницу. Нащупывая ногами каждую ступеньку, поднялись по ней, открыли еще одну дверь и оказались, как догадался я, на чердаке. Тут было совсем темно. Шарль взял нас под локти и потянул вперед. Мы руками нащупали постели, устроенные не то на топчанах, не то на длинных ящиках, и опустились, не видя ни Шарля, ни друг друга. Шофер стоял где-то рядом и тихо говорил:

- Сами, пожалуйста, не спускайтесь. Внизу могут оказаться нежелательные гости.

- Немцы? - спросил я, вспомнив его собственное предупреждение.

- Не обязательно немцы. Могут быть и бельгийцы, которых нужно опасаться. Доносчиков и тут хватает, хотя в последнее

время они уже не проявляют прежнего усердия: побаиваться стали.

Он пожелал нам спокойной ночи и зашаркал ногами, удаляясь, потом, вспомнив что-то, вернулся.

- Просьба к вам одна: не спрашивайте дядю Огюста, хозяина нашего, о его сыне.

- У него есть сын?

- Был... Немцы расстреляли его в плену за какую-то мелкую провинность. И при каждом напоминании старик приходит в бешенство, злится и на тех, кто спрашивает. Может грубостей наговорить, обругать и даже прогнать.

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Привычка спать настороженно и чутко подняла меня, как только утренний свет проник на чердак. Слуховое окно, пропускавшее его, показалось сначала светлым экраном в непонятном черном пространстве. Лишь внимательно всмотревшись, я догадался, что это окно, хотя не мог понять, почему оно задернуто каким-то серым полотнищем. Я подобрался к нему и едва не свистнул от восхищения. Туман медленно поднимался, открывая маленький пестрый городок, который как бы выползал из небытия. Сначала появились мокрые крыши соседних домов, потом - дорога, круто спускавшаяся к мосту, и матово поблескивающее зеркало реки, подпертой запрудой. По ту сторону реки стояли небольшие белостенные, краснокрышие домики. За ними ряд за рядом тянулись черепичные крыши, прорезанные узкими кривыми улицами, уползавшими вдаль, к едва различимым лесистым холмам.

Что за городок? Я перечитывал рекламные призывы, начертанные черной краской прямо на белых стенах или белой краской на красных крышах домиков за рекой. Чаще всего и в разных сочетаниях попадалось слово "Дюбоне". Казалось, соседи призывали друг друга пить это вино, и весь городок только и делал, что пьянствовал. Среди реклам мелькало короткое словечко "Марш". Мне припомнилось вдруг, что Валлон упоминал Марш, городок в глубине Арденн, и даже говорил, что у него там приятель живет. Марш... Значит, мы оказались чуть ли не в сердце Арденн.

Проснувшийся Георгий подошел ко мне и положил руку на плечо.

- Где мы?

- Кажется, в Марше, почти в центре Арденн.

Тихонько, носком ноги, он тронул пол.

- А здесь?

- Гостиница как будто. Помнишь, вчера Шарль сказал, что немцы останавливаются здесь?

- Немцы могут остановиться и в частном доме.

Осторожно ступая на носки, мы перебрались в противоположную сторону чердака, где в крыше светлел круглый "глазок". Он глядел в черную мокрую скалу, над которой виднелись вонзавшиеся в белесое небо стройные сосны. По скале к задней стене двора вела вырубленная в камне лесенка. Со двора по этой лесенке можно было взобраться на скалу и уйти в лес.

Георгий кивнул на скалу.

- Лучше не придумаешь. Никто не заметит, когда придешь, когда уйдешь.

- Ты еще думаешь приходить?

Он не ответил. Помолчав немного, сказал без всякой связи с моим вопросом:

- Хозяин очень не понравился мне. Бирюк. С ним каши не сваришь. Холоден, как камень из колодца. Его ничем не разогреешь...

- Горе его заморозило, - сказал я. - И ненависть. Согреть его, конечно, не согреешь, но на него можно положиться. Для немцев он враг и навсегда останется врагом. Мы на него можем, безусловно, положиться...

На чердаке стало светлее. Кроме наших двух постелей, очень простых, но вполне терпимых, мы увидели еще шесть, таких же постелей. Несомненно, тут ночевали и до нас. Ночевали группами. И останавливались не только на ночевку. На столбе недалеко от окна висел рукомойник, под ним большой таз, а над рукомойником - зеркальце с расческой на мелком гвоздике. Заботливые руки пристроили под зеркальцем маленькую полочку, на которой лежала старенькая, сточившаяся на середине и поэтому как бы сгорбленная бритва. Рядом торчал поставленный изжеванной кисточкой вверх помазок.

- Похоже на гостиницу для тех, кто приходит и уходит по той лесенке, - заметил я.

- Хотел бы я знать, - медленно проговорил Георгий, - хотел бы я знать, кто приходит сюда! Может, наши? Откуда они? И что за люди?

- Может, те самые "братья-кирпичники", о которых вчера говорили?

Устругов, намыливая щеку, только угукнул, подмигнул мне в зеркальце, в котором встретились наши взгляды. Попробовав бритву, он крякнул и выругался.

- Брились, черти, а поточить не догадались.

- Временные обитатели... Что им? Побрились и ушли.

Георгий крякнул еще несколько раз, соскабливая мыльную пену с подбородка, потом повернулся ко мне:

- Знаешь, Костя, мне как-то не по себе оттого, что нас тут так принимают. Можно подумать, что мы бог знает что совершили, а мы ведь только шкуры свои от немцев унесли. А они все сильно рискуют из-за нас.

- По-моему, они рискуют не для тебя лично и не для меня. Нас они не знали и не знают. У нас даже имени до сих пор не спрашивали. В нашем лице, я думаю, они видят только сыновей нашей страны. Они знают о ее жертвах, знают, что сделали наши люди, и тепло, которое им хотелось бы передать нашему народу, случайно попало на нас. Мы греемся в тепле, которое, может быть, предназначено другим. Мы с тобой, Гоша, отражаем чужую славу...

- Здорово ты говоришь, - с ироническим восхищением заметил он. - Ну, прямо как... как на юбилейном обеде. Очень красиво...

Задетый его желанием уязвить, я огрызнулся:

- Не люблю серой речи, серых слов. Кто серо говорит, тот серо и думает.

Георгий даже присвистнул.

- Эка, хватил! Серая речь, конечно, плоха, но красивая не лучше.

Он еще поскоблил подбородок, крякнув снова, и опять обернулся.

- Насчет чужой славы и чужого тепла ты правильно сказал. Они, наверное, думают, что все советские люди - великаны, богатыри, если не по виду, то по духу, по поступкам, и с этой меркой ко всем нам здесь подходить будут. И нам сильно придется тянуться, чтобы к мерочке этой поближе быть.

Побритые, умытые, причесанные, мы снова подобрались к слуховому окну. Из-за далекого холма выкатилось солнце. Белесо-пепельное небо стало прозрачно-голубым и глубоким. Городок был виден теперь до самых дальних домиков, стиснутых лесистыми холмами. Плес внизу заголубел, как кусок неба. Городок просыпался. Мы еще не видели его обитателей, но уже слышали их домовитую возню: хлопали двери, звучно била в жесть вода, вырывающаяся из колонки, загремел, падая на камень, засов магазинных дверей и ворот. По булыжной мостовой цокали копыта, тарахтела повозка и позванивали бидоны: молочник развозил свой ранний товар.

- Даже трудно представить себе, что где-то идет война, - сказал Георгий, помолчал немного и зло добавил: - Запрятались так, что живого немца теперь не увидишь...

- А на что он тебе нужен, живой немец? В Бельцене не насмотрелся?

- Насмотрелся, - буркнул Устругов, сердито взглянув на меня, и отвернулся. Не отрывая глаз от верхушки дальнего холма, поросшего еще черным, прозрачным лесом, понизил голос до шепота. - Я бы теперь немца другими глазами увидел.

С досадой отошел от окна и сел на перевернутый ящик, опустив свои большие, с надувшимися венами руки меж колен. Безделие тяготило его, и Георгий, впадая в уныние, как тогда, в доме Крейса в Голландии или на чердаке в Эйндховене, начинал поносить себя, меня, весь свет и опять себя.

Пока он поносил себя, я подошел к круглому "глазку", выглянул во двор и замер. Там рядом с грязно-зеленоватой военной машиной стоял спиной ко мне немецкий офицер. Судя по погонам, обер-лейтенант. Пробор на его голове был так прям, что просвечивал, как светлая бороздка. Напомаженные волосы поблескивали под солнцем. Снежно-белый воротничок стягивал полную шею, и когда обер-лейтенант откидывал назад голову, на шее пузырились упругие складки. Засунув руки в карманы галифе, офицер медленно раскачивался всем корпусом: вперед-назад, вперед-назад, с пяток на носки, с носков на пятки. Перед ним стояла девушка, светловолосая, в светлом платье. Она щурила глаза и улыбалась то ли солнцу, то ли немцу. Девушка была высока, почти вровень с офицером, вырез платья открывал темную лощинку меж беленьких холмиков.

- Ты хотел видеть живого немца, - сказал я шепотом Георгию. - Там, во дворе, немецкий обер-лейтенант.

Георгий вскочил и сунул руку в карман, где лежал пистолет. Я перехватил его руку и, сжав, потянул к "глазку".

Офицер все еще продолжал раскачиваться с пяток на носки, с носков на пятки.

- Ночью, наверно, приехал, - шепнул я, объясняя Георгию и самому себе появление немца.

- И не один, - так же тихо отозвался он, кивнув вниз. Из дверей дома вышел солдат, шофер или денщик, остановился, увидев офицера, потом, шагнув, как в строю, с левой ноги, протопал к багажнику. Действуя с четкостью робота, он согнулся почти под прямым углом, открыл багажник, выхватил чемоданчик, закрыл багажник, выпрямился, повернулся, как по команде: "Кру-у-гом!" - и, чеканя шаг, прошествовал обратно к двери.

- Как заводной, - усмехнулся Георгий, но тут же озабоченно добавил: Этак они могли ночью на нас, как на сонных кур, навалиться, и мы пальцем не сумели бы двинуть.

- Ну, наверно, хозяева предупредили бы, если бы опасность была.

Устругов смотрел вниз, на голову обер-лейтенанта, стиснув зубы и прищурив ненавидящие глаза.

- Так бы и разворотил сейчас эту прилизанную башку, так бы и разворотил... Легкая цель...

- Нельзя, Гоша, тут нельзя. Цель легка, да расплата будет тяжелой. Они же всю семью уничтожат. Теперь и о тех, кто принимает нас, думать надо.

Он тяжело вздохнул:

- Сам знаю, что нельзя.

А обер-лейтенант, говоря что-то тихим голосом красивой, улыбающейся девушке, все раскачивался и раскачивался вперед-назад, вперед-назад. Девушка смеялась, откидывая немного голову, белые холмики в прорезе платья раздвигались, вырастая, и лощинка между ними уходила вглубь.

Солдат промаршировал от гостиницы до офицера, сделал стойку и проорал, что завтрак готов, повернулся и пробухал сапожищами к двери. Офицер покачался еще с полминуты перед девушкой, затем поклонился ей, щелкнул каблуками и ушел. Девушка пристально взглянула на наш "глазок" и нахмурилась, заставив нас податься назад.

Около часа ждали мы настороженно и опасливо, стараясь не шевелиться и не разговаривать. Наконец со двора донеслось громкое топотание солдата-робота, хлопнула дверка машины, заворчал мотор. Через полминуты шум мотора донесся с улицы. Машина проскользнула под окном и быстро унеслась куда-то вниз, к речонке.

Устругов вдруг засмеялся и закрыл ладонями лицо, будто пытался удержать смех в себе.

- Выходит, немцы спали под нами, а мы над ними! - сказал он, давясь смехом. - А между нами только потолок и три метра воздуха. Представляю, какая была бы картина, если бы мы провалились. Фрицы с ума сошли бы от неожиданности.

- Да и мы не обрадовались бы, если бы они сюда заглянули, - заметил я, не понимая причины его веселости. - Особенно когда мы спали или брились...

Георгий оборвал смех, покачал головой и опять засмеялся.

- Война... Не война, а игра в прятки.

- Не игра в прятки, а война без фронта, без окопов... Теперь нам к этой войне привыкать придется.

- Конечно, лучше называть это войной, - с иронической серьезностью подхватил он. - Звучит много лучше, чем игра в прятки. Но смысл все равно не меняется...

На лестнице послышались легкие быстрые шаги. Мы настороженно притихли, вперив глаза в дверь. Она открылась, впустив на чердак девушку с подносом. Девушка была невысокая, плотненькая, с выпуклым чистым лобиком, ярко-синими глазами, которые так не вязались с густыми черными волосами. С любопытством посматривая на нас, она остановилась на середине и вдруг улыбнулась так приветливо и радостно, точно на нас теплым ветром дохнуло.

- Доброе утро! - сказала она звучным голосом, чуть-чуть приседая. Меня зовут Аннета.

Мы вскочили, одергивая пиджаки. Я поклонился.

- Доброе утро, Аннета! Меня зовут Константин, а моего приятеля Георгий, Жорж...

Аннета внимательно осмотрела нас по очереди и подарила каждому по улыбке. Она поставила на перевернутый ящик поднос и сдернула с него салфетку.

- Я принесла вам позавтракать. Проголодались, наверно. Тут, правда, не так уж много для таких больших мужчин, но с голоду не умрете.

Пока мы раскладывали сыр на куски хлеба, она уселась на постель и, посматривая то на одного, то на другого, стала рассказывать, как переполошились они, когда поздно ночью в гостиницу начали ломиться немцы. Несколько успокоились, узнав, что немцев только трое и они просят пустить их переночевать. У них уже был однажды случай, когда немцы ночевали внизу, а гости из леса - здесь, на чердаке. Но лесные гости знали о немцах и носа не показывали, пока те не уехали.

- Вы же могли спуститься и прямо на немцев попасть. Или шум тут поднять.

- А они... под нами были? - спросил я, вспомнив, что мы ходили по чердаку и разговаривали.

- Нет, что вы! Папа отвел им самую крайнюю комнату. Чтоб вы по немецким головам не ходили. И утром мы постарались поскорее спровадить их.

Георгий показал на чердак и спросил:

- Видно, мы не первые здесь.

Аннета многозначительно улыбнулась: зачем спрашивать, когда и так ясно?

- Наши здесь бывали?

Девушка сразу посерьезнела и уставилась своими синими глазами на Устругова.

- И ваши и наши. Бельгийцы, я хотела сказать. Потому что ваши теперь, - Аннета улыбнулась своей теплой, согревающей и радующей улыбкой, - тоже вроде как наши. И вы сами теперь тоже

наши.

Она провела ладонями по своим коленям, словно разглаживала платье, и вздохнула:

- Только объясняться с ними тяжело. Есть, конечно, знают немного французский, понимают, что и как нужно делать. Чаще же попадаются как глухонемые: сами ничего не понимают и тебе ни одного слова сказать не могут.

- Нас-то вы понимаете?

- Чего же вас не понимать? - несколько удивленно поглядела она на меня. - Вы оба прилично говорите по-французски. С акцентом, конечно, но вполне прилично.

- А что это за девушка с немцем во дворе стояла? - спросил неожиданно Георгий.

- Это сестра моя, Мадлен.

- Ваша сестра? Не может быть!

- Почему же не может быть?

- Уж очень не похожа она на вас.

Девушка засмеялась.

- Нам обеим это часто говорят. Это потому, что Мадлен светлая, даже беленькая, а я вся темная.

- Ну, положим, не вся, - вмешался я, - глаза у вас серо-синие.

- А у Мадлен, наоборот, черные. Нам всегда говорят, что глаза нам перепутали. Ей дали мои, а мне ее.

- Вы близнецы?

- Нет, Мадлен на год моложе меня. И на голову выше.

- А сколько же вам?

Аннета подумала немного, точно подсчитывала в уме или соображала, стоит ли выдавать тайну.

- Мне девятнадцать с хвостиком.

- А какой же хвостик? - шутливо допытывался я, и она так же шутливо провозгласила:

- О, хвостик большой... Теперь уже не хвостик, а хвостище. Целых семь месяцев.

- Нам показалось, что ваша сестра уж очень сильно любезничала с немецким офицером, - некстати заметил Устругов.

Аннета почувствовала осуждение в его тоне, согнала улыбку, став сразу старше и холоднее.

- Любезничать приходится не всегда только с теми, кто нравится.

- Да зачем же любезничать, если перед тобой враг? - недоумевал Георгий. - Ведь немец не приказывал стоять перед ним и улыбаться?

Девушка посмотрела на него осуждающе, даже с неприязнью.

- Большие вы, мужчины, видели много, испытали тоже, а

рассуждаете, как дети. Папа нарочно Мадлен во двор послал, чтобы офицер не слишком внимательно крышу или вход на чердак рассматривал и вас не смог случайно увидеть, если из окна высунетесь. И Мадлен любезничала с этим паршивым лейтенантом, чтобы его спиной к вашему окну держать и вас от опасности уберечь. А вы еще осуждаете ее.

- Да нет же, дорогая Аннета...

- Я вам не "дорогая Аннета", - оборвала она меня.

- Да, нет же, Аннета, мы и не думали осуждать ее. Это просто у моего друга вырвалось. Мы знаем, что вы рискуете из-за нас. Благодарны вам за это. И за кров... И за пищу... За все.

Она еще минуты две-три смотрела на нас укоряюще, потом, видимо в знак прощения, снова улыбнулась и похвалила за то, что очистили ее поднос.

- Ты уж не пытайся всех на свою колодку переделывать, - сказал я другу, когда девушка ушла. - Мы в чужом монастыре, так что уставчик свой спрячь.

Устругов тяжело вздохнул.

- Трудно нам будет тут. И, наверно, не столько с немцами, сколько с бельгийцами. Может быть, в чужом монастыре нам и молиться иначе придется. То есть действовать и вести себя не так, как нам нужно, а как другие захотят.

- Подожди пугаться заранее. Не думаю, что между нами и ими большие расхождения будут. Надо найти общий язык с ними. Не поймем мы их - ничего не сделаем. Вот тогда действительно окажется, что бежали мы сюда, чтобы только шкуры свои спасти.

Георгий пожал плечами и поморщился: зачем-де изрекаешь прописные истины, я их и без тебя знаю. Он помолчал немного, потом повернулся ко мне:

- Жалко, Самарцева с нами нет. Как он нужен был бы именно теперь! Он-то со всеми язык находил и всегда знал, что и как делать надо.

Я только вздохнул:

- Да, Самарцев знал, что и как делать...

- Он умел понимать других. А мы вот, то есть я... я даже себя часто понять не могу. Как же мне других понять правильно?

Вероятно, Георгий собирался снова поносить себя. Чтобы помешать этому, я заговорил о спутниках, которых потеряли мы на Рейне. На всем пути от дома Крейса до Марша мы осторожно выспрашивали наших случайных хозяев и проводников, не слышали ли они о других беглецах, не читали ли немецких сообщений о поимке бежавших заключенных. О беглецах никто не слышал. О поимке сообщалось только раз: государственный преступник по фамилии Брюкнер был пойман при попытке

перебраться через Рейн в Голландию, возвращен в концлагерь и казнен через повешение.

Мы поговорили о пропавших товарищах, надеясь, что они тоже добрались до безопасных мест, хотя я опасался худшего.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В тот ясный, долгий и по-весеннему теплый день мы не раз подходили к слуховому окну и всматривались в городок. Он лежал по ту сторону речонки, блаженно греясь на солнце. Его улицы, тянувшиеся от голубого плеса к лесистым холмам, оставались пустынными почти весь день, будто жители не хотели даже на время покинуть свои белостенные, с черепичными крышами домики. Утром заспанные торговцы вылезли из каких-то нор, подняли с грохотом и скрежетом железные шторы, скрывавшие убогие витрины лавчонок, и снова уползли куда-то, чтобы появиться опять только вечером и с тем же грохотом и скрежетом опустить на ночь тяжелые веки витрин. Поднимаясь над городом, щедрое солнце выискивало то на одной, то на другой улице неведомые нам сокровища, заставляя их сверкать ослепляя.

- Просто уму непостижимо, как могут существовать такие сонные уголки на этой взбесившейся планете! - сказал Устругов, не отрывая взгляда от тихих, пустых улиц. - И не где-нибудь на дальних островах Тихого океана, а тут, почти в самом центре Европы.

- А может, это только кажется, - отозвался я. - Может быть, за этой тишиной бушуют такие же страсти, как там, на войне.

Георгий повернулся ко мне, посмотрел внимательно и серьезно, точно хотел убедиться, не смеюсь ли, и пожал плечами.

- Ну какие тут могут быть страсти! Прожить день, поесть вовремя и вовремя лечь спать - вот, наверно, все, что занимает их мысли.

Своим безжизненным видом городок подтверждал его слова. Однако, вспомнив вчерашний разговор с Шарлем и необычные обстоятельства последней ночи (мы - на чердаке, немцы - под нами), я возразил:

- Ты слишком упрощаешь дело, Егор. Не думаю, что нашего хозяина, например, волнует только еда и сон. Да и вообще едва ли он мог спать эту ночь, имея под своей крышей немцев и нас.

- Наш хозяин - другое дело. У него, как и у нас, свой счет к немцам, и он, кажется, из таких, которые не успокоятся, пока не рассчитаются.

- Вот видишь! Мы знаем в этом городе только одного человека, и тот счет имеет к немцам. А ты говоришь, какие тут страсти...

- Ты вот действительно упрощаешь. Мы знаем этого человека именно потому, что у него счет к немцам. Иначе нас сюда не привезли бы и его красивые дочки не стали бы беспокоиться о нашей безопасности и пище. Наш хозяин - совсем другое дело.

Георгий обнял меня левой рукой и притиснул к себе, чтобы я мог лучше видеть городок.

- Посмотри на эти улицы, на пустые дворики, на окна, из которых не выглядывает ни одно живое лицо. Город ухитряется спать даже в такой великолепный весенний день.

Дух противоречия всегда был силен во мне, и он тут же проявил себя:

- Оттуда, из города, наша гостиница тоже выглядит, наверно, такой же сонной и пустой. А ведь под ее крышей прячемся мы с тобой. А мы с тобой, как сказал бы восточный поэт, - это две раскаленные искры, мельчайшие частицы того большого пожара, который бушует там. Ветер подхватил эти искры и занес сюда, чтобы...

- До чего же красиво ты говоришь! - перебил Георгий. - Можно подумать, родился и вырос на Востоке, хотя восточнее дачной Малаховки едва ли бывал.

- Не перебивай... Бывал и восточнее Малаховки, под самым Ташкентом в госпитале три месяца отлежал.

- Так зачем занес ветер сюда искры в виде наших обросших и оборванных персон?

- А затем, чтобы эти тихие, сонные уголки запылали, как соломенные крыши деревенских изб в ветреный день жаркого и сухого лета.

Он повернулся ко мне с улыбкой, в которой восхищение сочеталось с насмешкой, но улыбка быстро исчезла, как исчезает изображение на запотевшем окне, по которому прошлись тряпкой. Неожиданно и необъяснимо Устругов помрачнел и насупился.

- Ты чего, Егор? Обиделся, что тебя с искрой сравнил?

- Говорить красиво научились, - глухо пробормотал он, отворачиваясь. - Прямо чтецы-декламаторы. На красивую фразу любое дело готовы променять. Говорим красиво, а действуем паршиво, паскудно.

Недовольный мною и собой, он отошел от окна, уселся на постель и уставился в пол. На него накатывалось, как догадался я, то самое настроение, которое Миша Зверин еще в лагере называл "уничижительным".

- Подлецы мы с тобой, Костя, - вдруг начал он. - Болтуны мы с тобой. Кривляки. Прохвосты... Клялись либо всем сюда добраться, либо всем на дороге лечь. А добрались сюда только сами, бросив

своих более слабых товарищей.

- О чем ты, Гоша? Мы никого не бросали. Только потеряли их, как они потеряли нас...

- Только потеряли! - воскликнул Устругов, передразнивая меня. - Мы не предали своих друзей, не выдали их немецким полицейским, только потеряли их... Только всего! Разве можно упрекать за это? Похвалить надо. Подумать только: какие храбрецы! Так здорово запрятались во дворе голландца Крейса, что ни один черт не мог бы отыскать нас. Мы и не подумали вернуться на Рейн, чтобы узнать, что случилось с друзьями. Ведь это же рискованно было! Поэтому бежали как можно быстрее и дальше, дальше от того места, где оставили, нет, не оставили - только потеряли друзей...

Я молчал. Возражения или опровержения лишь подняли бы градус его кипения.

На этот раз он не успел разойтись как следует, когда отворившаяся бесшумно дверь впустила на чердак женщину в светлом.

- Можно к вам?

Мы оба вскочили на ноги, пытаясь рассмотреть неожиданную гостью. Постояв немного у двери, чтобы освоиться с сумраком чердака, она двинулась к нам и, не дойдя трех-четырех шагов, остановилась повторив:

- Можно к вам?

- Конечно, конечно, - поспешно пробормотал я.

- Слава богу, наконец-то соблаговолили ответить, - с усмешкой произнесла она. - Я уже начала думать, что Аннета ошиблась. Она сказала, что новые обитатели чердака хорошо говорят по-французски, а вы даже на простой вопрос ответить не можете.

- Простите, пожалуйста, ваше появление было так неожиданно...

- Хорошо, - перебила она меня, - в следующий раз, перед тем как прийти, я пришлю письмо с просьбой разрешить нанести визит сюда. Надеюсь, вы будете великодушны и не откажете в просьбе.

Это была та самая девушка, которую мы видели утром во дворе с немецким обер-лейтенантом. За словом она в карман не лезла, и немцу, конечно, не оставалось времени, чтобы глазеть по сторонам. Девушка подошла ближе и стала пристально и бесцеремонно рассматривать нас с головы до ног.

Она была рослее, чем казалась сверху. Стройная, длинноногая, крепенькая и в то же время гибкая, она излучала ту бьющую ключом жизненную силу, которую не видишь, но

ощущаешь, как дуновение ветра, как тепло, как свет. Красивое лицо было округло и мягко и все же создавало впечатление упрямой решительности и лукавства. Полные и яркие губы с готовностью складывались в веселую и насмешливую улыбку. Необыкновенные для блондинки черные глаза могли светиться дружелюбным весельем, а секунду спустя пронизывать вас молниями гнева. Судя по всему, это был диктатор. Красивый и нежный диктатор.

- Мы тут гости, - проговорил Георгий, обиженный то ли ее насмешливым тоном, то ли тем, что ему помешали выкипеть до конца. - Мы гости, а вы хозяйка и можете приходить на ваш чердак, когда захотите и без предупреждений.

- Мы рады будем видеть вас всегда, - быстро подхватил я. - Если пришлете предупреждение, выйдем вам навстречу, то есть на лестницу. И вообще мы хотели бы, чтобы вы были здесь чаще и больше. С вами тут стало заметно светлее.

- Светлее?

- Да, светлее. В ваших волосах запутались лучи солнца, и вы принесли их сюда.

Девушка повернулась ко мне, посмотрела своими черными глазами сквозь светлые ресницы и насмешливо скривила полные губы.

- Вы поэт?

- К сожалению, нет. А что?

- Я думала, что только поэты могут говорить так, будто конфеты своей рукой в твой рот кладут: и сладко и противно... Может, адвокат?

- Нет, не адвокат. Готовился историком быть.

- Значит, книг начитались, - с прежней пренебрежительной улыбкой заметила девушка. - Нормальные люди говорят нескладно, путано и часто даже грубовато. Вроде приятеля вашего...

Она протянула мне немного крупную для нее руку и пожала мою коротко и сильно.

- Ладно уж... Давайте знакомиться. Меня зовут Мадлен.

Перед Устругoвым немного задержалась, всмотрелась в него строго и чуть насмешливо и вдруг улыбнулась какой-то необыкновенно теплой улыбкой, будто сказала про себя. "Какой же ты большой, неуклюжий и хороший!" Конечно, это могло только показаться. Самое удивительное, однако, то, что и мой приятель увидел в ее улыбке очень добрый знак. Он захватил ее руку в свою огромную пятерню и сжал с такой невольной силой, что девушка, вскрикнув, вырвала руку и затрясла пальцами, пытаясь стряхнуть боль. По бледно-желтой щеке Георгия, как

клякса на плохой бумаге, расползалось красное пятно: краснел он крепко и надолго.

- П-п-прос-тите, п-п-пож-жалуйста, - тяжело заикаясь, проговорил он по-русски. - П-п-прос-с-стите, я не х-хот-тел с-сделать б-больно.

Мадлен повернула голову ко мне и вопрошающе подняла светлые, как бы чуть-чуть опаленные солнцем брови.

- Ваш приятель не хочет говорить со мной по-французски?

- Он хочет, хочет, конечно, - поспешно заверил я. - Он так разволновался, что не смог сразу найти нужные слова. Это со мной тоже бывает, когда сильно волнуюсь. Приятель мой просит простить за то, что сделал вам больно. Видите, вы так взволновали его, что он опять заикаться стал, а это с ним теперь не часто случается.

- Чем же я могла так сильно взволновать?

- Каждый разволнуется, увидя вас. Вы такая красивая, такая необыкновенная, такая...

Улыбка исчезла с ее лица.

- Оставьте это, - тихо сказала она. - Оставьте. И никогда не говорите мне этого. Хотите хороших отношений - не говорите дешевых комплиментов. И не пытайтесь ухаживать. Ни за мной, ни за сестрой моей, Аннетой. Это главное наше условие. Нарушите его - пеняйте на себя.

- Да у нас... да у меня не было ничего... И в мыслях ничего такого не было. Я просто сказал, что думал... вырвалось...

- Не следует говорить все, что думаешь. А чтобы глупые слова не вырывались, рот следует держать закрытым. Тут немало мужчин перебывало, и нам надоели и очень красивые слова и не очень красивые жесты. Приходят все слабыми, жалкими, тощими, а как отдохнут немного да подкормятся, так сразу своей фантазии волю дают. И не только фантазии. Одни - языку, как вы, другие - рукам. Самые смирные только глазами пожирают да губы пересохшие облизывают.

- Спасибо за предупреждение, Мадлен. Обещаю вам и за себя и за друга моего, что ни языку, ни рукам воли давать не будем. Но глаза закрывать не обещаю, хотя вы, простите меня за эту вольность, в самом деле носите в своих волосах частицы солнца.

Она погрозила мне пальцем и снова улыбнулась.

- Вы обещаете и за приятеля. А может, он не согласен?

Георгий неуклюже шаркнул ногой, поклонился и пробормотал:

- Согласен я. Очень даже согласен. И обещаю ни языком, ни руками...

Жестом девчонки Мадлен поднесла свои пальцы к губам и

подула.

- Языком вы, судя по всему, большого вреда не сделаете, а вот руками...

И она снова потрясла своими пальцами.

- Медведь, - сказала она, посмотрев на Георгия с упреком, смененным прощающей улыбкой. - Настоящий медведь. Этак и руку изуродовать можно...

По-хозяйски оглядев постели и ящик, служивший нам столом, Мадлен назидательно изрекла несколько истин относительно необходимости порядка и гигиены на чердаке, посоветовала смотреть за своей внешностью ("Чтоб от местных жителей особенно не отличаться") и удалилась спокойная и строгая. Ходила она так плавно, легко, что я, как ни напрягал слух, не мог услышать ее шагов на лестнице. Мне даже показалось, что она притихла за дверью. Но за дверью, осторожно открытой мною, никого не оказалось.

Устругов посмотрел на меня недоумевающим, почти растерянным взглядом, точно спрашивал: "Ну, что скажешь?" В ответ я только пожал плечами.

- Уходить нам поскорее отсюда надо, - глухо проговорил он. - В лес, подальше отсюда.

- Уходить, конечно, надо. Но какая связь? - спросил я, переводя глаза с него на дверь.

- Никакой. Просто уходить надо. И чем скорее, тем лучше.

В полдень нас пригласили спуститься вниз, на кухню, где собрали обед. В ресторане в это раннее время еще никого не было, старый Огюст и Шарль уехали в Льеж, а Аннета ушла куда-то. Подавала нам сестра хозяина, пожилая, сильно расплывшаяся женщина с крупным, как у брата, лицом, лоснящимся и суровым, с густыми черными-пречерными усами. Она была, как брат, немногословна, двигалась медленно, но делала все точно и быстро. Она щедро ставила на стол еду, но мы чувствовали бы себя лучше, если бы еды было меньше, а приветливости больше.

Несколько раз на кухне появлялась Мадлен. Перетянутая красным передничком, усеянным белыми горошинками, она склонялась иногда над кастрюлями, тянулась к полкам с посудой, гремела в ящиках висячего шкафа ножами и вилками. И взгляды наши невольно метались за ней, схватывая и запоминая то изящно согнувшийся корпус, то вытянувшиеся на носках и поэтому еще более стройные ноги, то упруго обрисованные бедра. И когда Мадлен разгибалась или поворачивалась в нашу сторону, мы воровато отвертывались и прятали возбужденно горящие глаза в тарелки.

После обеда мы снова подошли к слуховому окну и снова

всматривались в краснокрыший городок, млеющий под полуденным солнцем. Видели, однако, очень мало: мысленно блуждали внизу, откуда порою доносился звонкий девичий голос или стук ее каблучков по каменным плитам двора.

- Красивая, - тихо, почти про себя, проговорил вдруг Георгий и вздохнул. Хотя я знал, кого он имеет в виду, переспросил:

- Ты о ком?

Георгий посмотрел на меня соболезнующе-насмешливым взглядом: "Чего притворяешься?" - но ответил спокойно и тихо:

- О ней, конечно... О Мадлен.

- Да, она красивая, но...

- Что но?

- Такой в руки лучше не попадаться. Будет веревки вить, лапти плести и на плетень вешать.

Устругов недоверчиво усмехнулся, помолчал немного, потом почему-то вспомнил:

- У Нины такие же глаза.

- Какие глаза?

- Как у Мадлен. У Нины они тоже бывают удивительно теплые и нежные, греют и ласкают, как весеннее солнце. А бывают такие, что спрятаться не знаешь куда от холода их. И она тоже сквозь ресницы смотрит...

- Нежные диктаторы.

- Что ты сказал? Диктаторы? Нежные диктаторы? Ерунду ты порешь, но... обе они с характером.

- Это я и хотел сказать. Такие признают только одно: либо моя воля, либо ничего. Они и любовь-то признают только как слепое подчинение себе избранного ими мужчины. Диктаторы. Маленькие диктаторы...

Озадаченно посматривая на меня, Георгий молчал, вздыхал, вспоминая, видимо, поведение Нины (я помню, она вертела им, как хотела, в тот последний мирный вечер в Москве), и, наконец, почти просительно сказал:

- Уходить надо отсюда, Костя, поскорее уходить.

- Боишься в нежные лапы попасть?

- Дурак ты, - сердито буркнул он. - Нам только и осталось, что в нежные лапы попадать. Уже совершили все, что могли, и больше не о чем беспокоиться, не о чем думать.

- Чего ж ты ругаешься? Я же не хотел обидеть тебя.

- Да и я тебя тоже...

Вечером, темным и по-весеннему свежим, мы спустились во двор и взобрались по лесенке, вырубленной в скале. На самой вершине ее стояли черные деревья, отсюда начинался лес, подступавший к городу. В лесу было сыро, сильно пахло прелой

листвой и корой, грунт под ногами мягко пружинил: весенняя влага еще держалась в нем.

Впервые за долгие месяцы оказались мы на свободе. И даже без провожатых. Это и тревожило немножко и радовало. Наконец-то свободны, совсем свободны. Конечно, мы зависимы от других людей (а кто не зависим от других в этом грешном мире?), но вольны уйти в этот лес или вернуться назад, на чердак приютившей нас гостиницы.

Долго стояли на вершине скалы, всматриваясь в городок. Во тьме он был еще более неясен и чужд. Взошедшая над черными горбами холмов луна осветила тихо поблескивающие крыши, нарисовав на сером булыжнике мостовых крупные квадратные тени. Темная впадина речного плеса заблистала, постепенно увеличивая свой холодный блеск, пока с того берега сюда, к нам, не вытянулась лимонно-желтая дорожка.

- Тишь. Какая тишина! - едва слышно проговорил я. - Даже представить себе не могу, что где-то все еще продолжается война, ревут пушки, трассирующие пули и снаряды сверлят темноту и ракеты вспыхивают в черной бездне неба и тихо падают, как огромные фонари, постепенно усиливая свое кратковременное сияние.

- А может, это только кажется? - иронически переспросил Георгий, заметивший, что я почти повторяю его. - Может, тут где-нибудь в подвалах рвутся бомбы, прожекторы упираются в мокрые стены и тому подобное?

- Хватит! Хватит издеваться!

Он нащупал мою руку и пожал, наверно, в знак того, что считает себя расквитавшимся.

- Знаешь, Костя, в такие вот минуты чувствуешь себя особенно плохо. Когда были в плену, а потом в концлагере, я думал, что и плен и ужасы концлагеря - это тоже война, часть войны по крайней мере. А тут у меня такое ощущение, будто нас совсем из войны выключили, отбросили в сторону, как отбрасывают камень, лежащий на дороге.

- Тебе снова хочется на войну?

- Глупый вопрос. Мне хочется не стоять в стороне от той драки, которая идет в мире. В ней, в этой драке, не может быть сторонних наблюдателей, а мы сейчас в роли именно таких наблюдателей. Я не умею говорить, как ты, даже думать так не умею. У меня мысли - одна в одну сторону, другая в другую, а вот которая правильная, я и сам часто не знаю. Но одно я знаю твердо: прятаться и прохлаждаться нам долго нельзя.

Он помолчал немного и заключил еще тверже и решительнее:

- Нельзя, Костя, нельзя...

Тем же путем, осторожно ступая по каменной лесенке, мы вернулись во двор гостиницы. Отчетливо чернея на фоне светлой стены, стоял тот самый "камион" (грузовик), который доставил нас сюда прошлой ночью. Однако, только подойдя вплотную, мы увидели возле него Шарля и Аннету. Они разговаривали тихо, а услышав наши шаги, замолчали.

- Вышли подышать свежим воздухом? - спросила девушка.

- Да, - отозвался я. - Вечер очень хорош.

Помолчали. Потом Аннета, смотревшая в небо, повернулась ко мне и спросила:

- А у вас какие звезды?

- Звезды какие?

- Такие, как здесь? Или какие-нибудь иные? Ведь в России все другое. У вас, как рассказывают немецкие офицеры, страшные морозы, птицы на лету замерзают и падают мертвыми, снега такие, что деревни с крышами заносят, земля мягкая, рыхлая, камионы утопают по самый кузов. Вот я и подумала, что, может быть, у вас небо другое и звезды иные...

- Нет, небо наше такое же, как тут, и звезды такие же.

- Странно, - с легким разочарованием заметила она.

- Это потому, что небо одинаково далеко, как от нас, так и от русских, - отозвался почти мечтательно Шарль.

Девушка опять запрокинула лицо, всматриваясь в звезды. Бледное в лунном свете, оно светилось, четко очерченное темными волосами.

- И оно совсем не меняется, наше небо, - тихо, едва слышно проговорила она. - Мы умрем, наши леса вырубят, земля, как говорят ученые, остынет, а небо будет таким же, как сейчас.

- Возможно, - согласился Георгий, смотря, однако, не на небо, а прямо в девичье лицо. - Но это будет очень и очень нескоро.

- Да, нам еще хватит пожить, - поддержал Шарль. - И детям нашим, и внукам, и многим, многим поколениям внуков наших внуков.

- Просто жаль самое себя становится, - сказала Аннета, не отрывая глаз от неба. - Просто жаль, когда вспомнишь, как мало времени человеку дается, чтобы побыть на земле.

- Конечно, мало, - согласился Шарль. - И что еще хуже - человек не умеет правильно, умно использовать даже это короткое время. Многие всю свою энергию, все свои способности тратят на то, чтобы испортить жизнь другим. И портят, хотя их собственная жизнь не становится от этого лучше, легче или красивее.

Мы еще постояли немного около машины, потом простились с ними и поднялись на свой чердак. Голова и широкие плечи

Устругова появились в светлом квадрате слухового окна. Я подошел к нему. Крыши домов по ту сторону речки блестели под луной еще ярче, тишина была еще гуще.

- Да, а небо здесь действительно такое же, как у нас, - со вздохом прошептал Георгий.

- И люди такие же, - добавил я. - И люди...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Несколько дней спустя Жозеф, веснушчатый и рыжий, как подсолнечник, парень лет двадцати трех, забрал нас с чердака гостиницы, носившей название "Голубая скала". Пришел он за нами вечером, поэтому у нас было достаточно времени, чтобы проститься со старым Огюстом, угнетенным своим горем и ненавистью, с его славными дочерьми, которые кормили нас, школили за невнимание к одежде и прическе.

Лесными дорогами и горными тропами Жозеф, поднявший нас на рассвете, привел за день к своей деревне - пятнадцать-восемнадцать дворов на опушке леса. В деревню, однако, не повел. Внимательно всмотревшись с вершины лесистого холма, он заметил на ее тихой предвечерней улице что-то необычное и повел прямо на кирпичный завод. Правда, от кирпичного завода там остались только глубокий глиняный карьер, крытые досками сараи да барак, где жили перед войной рабочие.

К бараку мы добрались уже в сумерки. Длинный и приземистый, он был темен и так тих, будто в нем, как и в карьере, уже давно никто не бывал. Жозеф шагнул на деревянное крыльцо с круглым, как козырек, навесом и распахнул дверь в кромешную темноту.

- Братья-кирпичники, а братья-кирпичники! Принимайте-ка своих...

Из тьмы барака на крыльцо вылезли несколько человек. Они здоровались с нами: одни горячо, как с друзьями, которых давно не видели, другие вяло и равнодушно, как со случайными встречными, третьи настороженно и холодно.

- Ну, познакомились? - прокричал Жозеф, обращаясь сразу ко всем. Никто не ответил. Наш проводник, видимо, решил, что в особом ответе и нет нужды. Он коротко простился с нами, спрыгнул с крыльца и почти тут же исчез в темноте.

- Ну, пошли в дом, - пригласил кто-то. - Будем вместе жить...

Тьма в бараке была столь густа, что я невольно задержался на пороге. Лишь после того, как глаза немного привыкли, стал различать светлеющие квадраты окошек, какие-то черные фигуры, сидевшие перед ближним окном.

- Без огня, - сказал Устругов, не столько спрашивая, сколько отмечая сам факт.

- Сейчас вся Европа, почти весь мир без огня, - отозвался хрипловатый голос. - Вернулись в первобытное общество, к варварству.

- При варварском обществе вообще не было огня, электричества, как такового, - вразумительно возразил строгий голос. - Ныне же свет, как таковой, есть, электростанции, гидростанции и прочее. Но пользоваться им, светом, как таковым, нельзя: затемнение.

- Философия, - равнодушно и вяло отметил кто-то.

- Почти весь мир затемнили, - продолжал первый голос. - Ушли во мрак, ища спасения. До какого же одичания надо дойти, чтобы сознательно погрузиться во мрак!

- Философия...

Почти ощупью нашел я свободный топчан, обменялся с Георгием, оказавшимся рядом, парой фраз и завалился на жесткий бугристый матрац. Еще несколько минут я слышал голоса - хрипловато-назидательный и строгий, - в которые изредка вклинивалось равнодушно-вялое: "Философия". Потом голоса растаяли, темнота исчезла: передо мной возникли те правдивые и фантастические картины, которые рисует с такой легкостью сон.

Так мы стали жить с "братьями-кирпичниками", которые, как и следовало ожидать, меньше всего походили на братьев. Знакомясь с ними, беседуя то вместе, то наедине, присматриваясь к их поведению и прислушиваясь к разговору, я постепенно создавал представление о каждом. Конечно, трудно быть объективным, то есть бесстрастным, равнодушным, оценивая людей. Одни тебе нравятся сразу, другие также сразу не нравятся, и ты ничего не можешь поделать с собой.

Мне сразу понравился мой новый сосед Сеня Аристархов. Он божился, что ему стукнуло двадцать пять лет, хотя выглядел он только на двадцать. Худой, узкоплечий, с маленьким курносым личиком, Сеня был общителен и привязчив. Он буквально прилип к Устругову и ко мне, заглядывал в глаза, улыбался, поддакивал всему и кивал головой в знак согласия, что бы мы ни говорили. Со всех ног бросался выполнять просьбу. И не только Георгия или мою. Он старался угодить всем, сделать приятное каждому, к кому лежало его детски-доверчивое сердце. Он откровенно радовался, когда видел, что люди довольны. Из лагеря военнопленных Сеня бежал, чтобы не отстать от других, и хотел вернуться туда, узнав, что почти всех переловили.

- От твоего возвращения пойманным легче не стало бы.

Сеня посмотрел на меня исподлобья, недоверчиво и непонимающе.

- Почему же нет? Вместе бежать, вместе ответ держать. Радоваться человек и один может, а в беде одному куда как тяжело.

- Философия, - звучал за моей спиной равнодушно-вялый голос. Теперь я уже знал, что голос этот принадлежал Клочкову, плотному парню лет тридцати, с широким и каким-то особенно круглым лицом. Этим словом определял он все, что казалось ему сложным, непонятным или неприятным. Говорил Клочков редко, слушал внимательно, цепляясь своими маленькими глазками за лица говорящих. Если разговор увлекал его, он почти радостно восклицал:

- Это вот проницательно!

Клочков вырвался на свободу и забрался в арденнские леса почти год назад. Некоторое время скитался по дальним деревням, пользуясь только тремя французскими словами: "русский", "есть", "работа". За год его словарный запас расширился немного. Когда я попытался было научить его самым необходимым словам и наиболее употребительным фразам, Клочков удивился:

- А зачем? Меня и так понимают, что хочу, и я понимаю, что они хотят...

Обладатель хрипловато-назидательного голоса Степан Иванович посмеивался, слушая Клочкова и подмигивая мне. На хорошем французском языке он сказал:

- Ограниченность мужика... Примитивизм великой русской души...

Георгий оборвал его:

- Среди русских надо говорить по-русски.

Степан Иванович наклонил с иронической вежливостью голову:

- Пардон. Я говорю, как нахожу нужным.

Он отказался назвать свою фамилию и рассказать, как и зачем попал в Арденны.

- Рано еще анкетки заполнять. Все у немцев под задницей сидим, и стоит им немножко повозиться, чтобы раздавить нас. Зачем же облегчать им дело?

Довод был разумен. И все же нежелание Степана Ивановича открыть хоть краешек своего прошлого вызвало у меня неприятное чувство. На вопрос, где научился он говорить по-французски, Степан Иванович только усмехнулся:

- Наверное, там же, где вы.

- Я в Москве, а вы?

- Я в Петрограде.

- В Ленинграде, вы хотели сказать.

- Мне лучше знать, что я хотел сказать, - с усмешкой заметил

Степан Иванович. - Я постарше вас, и когда учился там, этот город на Неве Ленинградом еще не назывался...

- Ха-арош-ший город Ленинград, - подхватил Егор Мармыжкин, поднимая голову и отрываясь на мгновение от работы. Этот пожилой человек с лицом и повадками крестьянина всегда был занят: чинил обувь, латал брюки, разбирал и собирал замки, точил ножи и ножницы. Сидя на маленькой скамеечке под самым окном и повернув ко всем сгорбленную широкую спину, Егор отзывался совершенно неожиданно на отдельные фразы, даже слова, которые почему-либо захватывали вдруг его внимание. Тогда он встревал в чужой разговор, бросал несколько слов и тут же отворачивался, вовсе не интересуясь, как другие воспримут его непрошеное вторжение.

Мармыжкин бежал из плена, выпрыгнув из поезда, перевозившего пленных во Францию. Он проскитался в этих краях две недели, не решаясь обратиться к бельгийцам: побаивался их, да и ни одного французского слова не знал. Питался, воруя брюкву и картофель, упрятанные до весны на полях. Сильно обносился и оброс, вид у него, когда он появился на пороге этого барака, был такой, что Сеня Аристархов, собиравшийся выходить на улицу, в страхе попятился, комически крестясь и восклицая:

- Свят, свят, свят! С нами крестная сила!..

- Чего крестишься и бормочешь, будто черта увидел? - сурово спросил Мармыжкин. - Видно, по лесам не бегал, если честного человека за черта принял.

- За черта принять тебя мог только Сеня, - сказал Степан Иванович, подходя к новичку. - А вот встретить тебя в лесу или на глухой дороге было бы действительно страшно.

- Ишь чистюли какие выискались, - пробормотал Егор, осматривая обитателей барака. - Помыты, побриты, одеколонта только для полного гарнира не хватает...

Около Мармыжкина, то помогая ему, то просто сидя рядом, держался молоденький паренек, почти подросток, с большими ясными глазами. Егор заботился о пареньке с отеческим постоянством и требовательностью; переделал слишком просторную для паренька одежду, стирал его белье и взбивал свалявшийся матрац. Рослый, тонкий паренек с узким высоколобым лицом так мало походил на Мармыжкина, что его никак нельзя было принять за сына.

Несколько дней спустя после нашего поселения в бараке я поймал проходившего мимо парня за руку.

- А ты кто такой?

Он застенчиво улыбнулся.

- Я - Яша.

- Яша чей?

- Просто Яша. Я не хотел бы называть свою фамилию: есть особые причины.

Сеня Аристархов, слушавший разговор, подошел вплотную.

- Яша без фамилии. Без звания, чинов и орденов. Яша - Ша.

Мальчик сверкнул на него обиженными глазами, но сдержался.

- Просто Яша.

- Как ты сюда попал, Яша?

- Удрал из лагеря угнанных немцами, который под Льежем.

- Давно из дома? Из России то есть?

- Скоро два года будет.

- Сколько же тебе годиков, Яков бесфамильный?

- Скоро шестнадцать.

- А давно ты из лагеря бежал?

- Скоро месяц...

Устругов, стоявший за спиной паренька, засмеялся.

- У тебя, Яша, все "скоро". Может, так и звать тебя - Яша Скорый?

Парень живо повернулся к нему.

- Я согласен. Яша Скорый звучит хорошо.

- Но это же и обязывает быть скорым. Иначе засмеют.

Яша с готовностью тряхнул головой.

- Я согласен быть скорым... По бегу в школе - это до войны было - я почти всегда первое или второе место занимал. Обгонял меня только Санька Вориводин, да и то не часто.

И Яша глубоко вздохнул, вспоминая, наверное, школу, Саньку, товарищей.

- Яша Скорый мог бы быть хорошим разведчиком, - снисходительно заметил подошедший к нам Анатолий Деркач. - Там, у нас, конечно.

- Почему же только там? - недоумевал Георгий. - Он и здесь может стать хорошим разведчиком. Верно, Яша?

Деркач только пожал плечами и усмехнулся с той же снисходительностью. "Бывший лейтенант Красной Армии", как он представился нам, следил за Устругoвым и мною вопрошающим и в последние дни даже одобрительным взглядом. Он видел, что мы не просто знакомимся с обитателями барака, а стараемся заглянуть в их жизнь, в их недавнее прошлое. Сам Деркач, не дожидаясь расспросов, рассказал нам старательно и последовательно, как обычно рассказывают в отделах кадров, где родился, учился, кто родители, где кончил нормальную военную школу, на каком фронте воевал, где и как попал в плен и как бежал из плена. Деркач сохранил свою форму (без погон, и это

сильно сокрушало его, потому что получил погоны лишь за несколько недель до плена). Правда, у него не было пояса, отнятого конвоем, да и на ногах вместо офицерских сапог, тоже отнятых конвоирами, болтались какие-то опорки.

Когда он впервые появился здесь и, пожимая руки новым товарищам, называл себя: "Анатолий Деркач, бывший лейтенант Красной Армии", - Степан Иванович прервал его со своей обычной назидательной суровостью:

- Вот что, Анатолий Деркач. Все мы тут беглецы, все одинаковы, и нам нет нужды знать, кто и кем был. Сейчас это совсем не нужно.

Лейтенант удивленно посмотрел на него.

- А почему бы не знать, кто кем был? Собрались мы тут вместе и, наверно, долго будем держаться вместе.

- А кто знает, сколько продержимся вместе? - раздраженно переспросил Степан Иванович. - И если кто попадет в руки немцев, зачем им знать, кто тут спасался?

Подумав немного, Деркач кивнул головой:

- Это разумно. Но я привык знать, с кем связываю свою судьбу, и хочу, чтобы они тоже знали.

И он продолжал знакомиться с другими обитателями барака, пожимая руки и рекомендуясь:

- Анатолий Деркач, бывший лейтенант Красной Армии...

Нам, Георгию и мне, пришлось назвать ему себя, рассказать, где воевали, как попали в плен и оказались в концлагере и при каких обстоятельствах вырвались на свободу.

Деркач внимательно выслушал, сочувственно покачал головой и даже нахмурился, услышав о потерях во время побега. Потом, рубя ребром ладони свое колено, сказал:

- Выходит, все трое в одном и том же звании. Как же нам решить, кто старший будет теперь?

- Старший?

- Да, старший, - ответил Деркач. - До сих пор я себя здесь старшим считал. А теперь не могу присваивать это положение, поскольку вы оба в том же звании.

- А нужно это? - озадаченно спросил Устругов. - Старший, не старший... Зачем это?

Бывший лейтенант соболезнующе улыбнулся.

- А как же, товарищ лейтенант? Там, где есть группа людей, там должен быть старший. Отвечать, распоряжаться...

- Перед кем отвечать? Кем распоряжаться?

Молодой, но уже закоренелый служака смотрел на нас с удивлением и тревогой. Он не понимал наших вопросов, не понимал, как можем мы, тоже лейтенанты, рассуждать так

легкомысленно и сумбурно о вещах, которые были для него ясны и понятны, как пуговица.

- Этим людям, - кивнул я на наших соседей, - нужна прежде всего забота, а не распоряжения. Можете вы сходить в деревню и достать буханку хлеба, пару крынок молока или хотя бы два десятка картошек?

- Сходить могу, - с готовностью ответил Деркач, - но языка не знаю. Мне трудно объясняться с бельгийцами.

- Ну вот, значит, в старшие не годитесь.

- Да я и не требую, чтобы обязательно я был старшим. Только говорю, что старший должен быть. Нельзя без старшего.

Разговор был прерван появлением под окном барака постороннего человека. Одет он был в хороший, хотя и великоватый для него костюм, носил мягкие штиблеты. На курчавой голове красовалась дорогая, но несколько старомодная шляпа. Статный, красивый парень был откормлен так, что упругие розовые щеки даже посверкивали. Осведомившись, здесь ли русские пленные, он попросил принять его, назвавшись Иваном Огольцовым.

Сеня Аристархов подошел к нему, попробовал на ощупь костюм и с восхищением присвистнул:

- Ясно, с богатого хозяйского плеча!

Он обошел новичка кругом и скорее подтвердил свою мысль, чем спросил:

- Хозяйка подарила?

Красавчик кисло улыбнулся, не ответив.

Клочков встал перед ним и долго рассматривал, как диковинку, потом со вздохом не то зависти, не то осуждения произнес:

- Смазливый. Для таких некоторые жены с мужа не то что костюм, кожу сымут.

Мармыжкин поглаживал рукав костюма, словно хотел уничтожить складочку у локтя.

- Хороший материалец, очень хороший.

Жадные до новостей или просто житейских историй обитатели барака усадили щеголя на скамейку под окном и начали расспрашивать, кто таков, откуда и почему у него такой великолепный костюм и такой сытый вид.

- Тут без бабской благодати не обошлось, - уверенно определил Мармыжкин.

Новичок сначала избегал говорить об этой "благодати" и, лишь освоившись, решил не то душу излить, не то похвастать.

- Хозяйка мне попалась какая-то чудная, - признался он, делая ударение на "а". - Увидела меня первый раз, руками

всплеснула и в лице изменилась.

- Красотой поразилась? - вставил Сеня.

- Сначала она ничего не сказала, - продолжал Иван Огольцов, игнорируя язвительный вопрос, - а потом только призналась, что на мужа ее очень похож. Дала поесть, водички подогрела помыться, бельишко принесла и одежонку кое-какую. Вечером, когда за стол сели, подвинулась ко мне. Обнял я ее одной рукой, осторожно так, чтобы обиды не получилось. Она носом мне в грудь уткнулась и заплакала.

- Соскучилась по мужу, значит, - заключил Мармыжкин.

- Соскучилась, конечно. И мне ее стало жалко. Обнял я ее крепко-крепко, и она, горячая такая, будто прилипла ко мне, целовать начала. Потом всю ночь тискала так, что кости трещали, целовала - губы к утру раздулись и черными стали. Обнимет меня, стиснет и шепчет: "Пьер мой, Пьер мой". Я говорю ей, что не Пьер, мол, я, а Иван Огольцов. Она все равно твердит: "Пьер мой, Пьер мой". Будто умом тронулась.

- Философия...

Аристархов шикнул на Клочкова:

- Не перебивай. Слушай и молчи, раз ничего умнее своей "философии" придумать не можешь.

Огольцов передернул плечами.

- Всю ночь миловала и целовала меня, а утром, как подниматься стали, зверем уставилась на меня, будто ограбил ее. Хотел обнять, приласкать, она по рукам моим как рубанет, так они и повисли.

Сеня ожесточенно потер лоб и вопросительно оглядел товарищей.

- Загадка...

- Это бывает, - солидно и назидательно заметил Степан Иванович. Муки совести и раскаяния. Женщины чаще всего переносят грехи свои на других и мстят им, вместо того чтобы себя наказать.

- Хотел я уйти, - продолжал Огольцов, - да совести ни хватило. Она меня накормила, одежонку дала, чтоб поработал у нее. Вот я и думал: уйду вроде как обворую. Скинуть все тоже нельзя было: тряпье-то мое она сожгла, чтобы заразу или паразитов в доме не разводить. Остался: отработаю, мол, что стоит, да уйду. Коровник ей вычистил, крышу над ним починил, петли на воротах приколотил. Ночью лег в пристройке к амбару, где указала. Намаялся за день, сразу заснул. Проснулся от того, что женщина рядом плачет. Хозяйка, оказывается. Прижалась ко мне и плачет. Ну, я, конечно, погладил ее по плечам: чего, мол, ревешь, дуреха? Она обнимать и целовать начала. И опять: "Пьер

мой! Пьер мой!" А я ей опять: не Пьер я, а Иван Огольцов. То ли слышит, то ли не слышит, а жмется еще крепче...

- Что ж ты не ушел, когда за одежонку отработал? - спросил сочувственно Аристархов.

- Ушел вот, - несколько растерянно и не сразу ответил Огольцов. Сначала около Ляроша на мельницу устроился, а потом в Марш подался. Оттуда меня сюда послали. У меня тоже гордость есть, и не хочу я, чтобы меня как какое-то подставное лицо любили.

- Философия...

- Обидно, конечно, когда не тебя самого, а кого-то другого в тебе любят, - отметил Степан Иванович.

Огольцов согласно наклонил голову.

- Обидно, да еще как обидно. Тоже вроде воровства получается.

Деркач, слушавший рассказ с недоверчиво-насмешливой улыбкой, подошел еще ближе и спросил:

- А она, женщина эта, не будет вас здесь искать? Не пришлось бы другим за ваши шуры-муры расплачиваться.

Огольцов недоуменно поднял плечи.

- А она как, богато живет? - заинтересовался Мармыжкин, не дав Огольцову ответить. - Ты бы и для нас смог чего-нибудь добыть у нее. Одежонку... Бельишком мы сильно поизносились. Тебя вон, как буржуя, одела и для нас чего-нибудь нашла бы.

Аристархов возмущенно фыркнул:

- До чего же ты жалко рассуждаешь, Мармыжкин! Тут страшная любовь, муки сердца, а ты... "бельишком поизносились", "одежонку". Нет в тебе никакого сердечного чувства.

- Чувство во мне очень даже есть, - обиженно возразил Мармыжкин. - Я свою бабу очень сильно любил, так сильно, что вся деревня диву давалась. А бельишко с бабьей любовью очень даже идет. Это ведь городские женщины больше словесностью любовь показывают. Деревенские слов таких не знают. Понравился ей - она тебе кисет, полюбился - рубаху сатиновую ярче неба ясного, а уж мужем станешь - даже самую маленькую заботу с тебя снимет и на себя возьмет...

Устругов смотрел на Огольцова, Мармыжкина, Сеню почти с детским увлечением. Недавний студент, городской житель, он открывал через них неведомый ему мир. Он улыбался всем, кроме Деркача, сочувственно и понимающе, с одобрением. Когда новичка повели в барак, Георгий шепнул мне:

- Интересный народ... Какой интересный народ! Я рад, что мы с ними...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Интерес Устругова к "братьям-кирпичникам" скоро, однако, иссяк. Люди в бездействии не могут долго привлекать к себе внимание. И даже забота Деркача о своей форме воспринималась уже как малозначительная деталь. Бывший лейтенант попросил через меня Жозефа достать ему поясной ремень.

- Не положено офицеру распояской ходить, - серьезно и четко сказал он. - Распущенность всегда начинается с мелочей. А распущенность и дисциплина несовместимы.

Жозеф принес пояс, затем добыл хорошие военные бутсы, оставшиеся от бельгийского солдата. Деркач вырезал из кусочка старого красного сукна звездочку и пришил к пилотке.

- Прямо хоть на парад на Красную площадь, - заметил Устругов, когда бывший лейтенант предстал перед нами в старательно вычищенной и выглаженной под матрацем форме. - Жалко только, до Красной площади далековато.

Деркач вытянулся и, глядя на нас строгими и в то же время обрадованными глазами, отрапортовал:

- Площадь, товарищ лейтенант, найдется, был бы повод для парада.

По своему обыкновению, Клочков подошел вплотную к нему, обошел кругом, осматривая снизу доверху, и озадаченно покачал головой:

- Вид, что и говорить, проницательный.

- Только появиться в таком виде за порогом этого барака нельзя, заметил Степан Иванович, - сразу схватят.

- Положим, не сразу, - поправил Георгий, - но переполох может быть.

Деркач и сам понимал это. Походив по бараку, он снял форму и заботливо сложил. Время от времени снова доставал ее, надевал, ходил подтянуто и четко, поглядывая на нас весело и немного высокомерно, а потом опять прятал. И никому, кроме Степана Ивановича, не казалось это чудачеством: поношенная и выцветшая на солнце, эта форма связывала нас теснее с тем, что было в прошлом и что могло быть в будущем.

"Братья-кирпичники" оживлялись, когда приходил Жозеф. Он рассказывал, что делается в мире, хотя его рассказы часто ограничивались почти одним словом "долбанули".

- Ваши опять долбанули бошей.

- Где? Когда?

- Би-би-си говорит: на юге где-то долбанули.

- Где же это такое на юге?

- Не знаю. Названия все такие длинные и трудные, не запомнишь. А американцы итальянцев в Африке долбанули.

В другой раз его вести были менее радостны.

- Боши по Лондону долбанули.

- Бомбили, что ли? Самолетами?

- Ага, с воздуха долбанули...

С наибольшим оживлением, однако, встречалось его заключительное объявление:

- Требуется мужская сила...

Мужская сила требовалась далеко не для героических дел: выбросить навоз со двора, окопать деревья в саду, замесить глину и восстановить упавшую стену свиной закуты. И все же "кирпичники" охотно, даже с радостью шли: труд отвлекал от утомительных мыслей, выводил за пределы брошенного давно завода и окружавшего леса. Хозяйки кормили работавших до отвала и давали на дорогу увесистые свертки с едой.

- Это товарищам.

Иногда пропадали не только днями, но и ночами и возвращались утомленные и успокоенные, в новых рубашках, брюках или ботинках: деревенская бессловесная любовь оставляла согревающие следы своего блага.

Несколько раз ходили мы - то вместе с Георгием, то порознь - в деревню Жозефа. Отгороженная от большого мира невысокими горами и лесами, деревушка была тиха и почти всегда безлюдна. Крестьянские дома выходили окнами на одну улицу, вытянувшуюся вдоль ручейка. Они соединялись длинной - от края до края - стеной, образующей как бы деревенскую крепость. Одновременно каждый двор был крепостью сам по себе: одна стена соединяла вместе двор, амбар, надворные постройки. Отдельный двор поворачивался к внешнему миру высокой и крепкой каменной стеной, посматривал на него лишь через узкие и глубокие окна, которые могли быть бойницами. В давние времена это имело, наверно, большое значение: непрошеным гостям нелегко было попасть в такой двор и нанести вред. Но с тех пор как в Арденнах перевелись разбойничьи шайки, а это произошло уже давным-давно, такая постройка лишь хранила традицию.

Сокрушительный вал войны, прокатившийся весной 1940 года по арденнским дорогам, не затронул деревушку. Длинными невидимыми щупальцами война выдернула из дворов-крепостей мужчин от двадцати до сорока пяти лет и оставила надолго где-то за лесами и горами. Ныне только отсутствие мужчин да редкие письма со штампами немецкой военной цензуры, приходящие из лагерей военнопленных, напоминали о войне, которая все еще бушевала в далекой России, в Африке и совсем на краю света, в Тихом океане.

Познакомились мы с матерью Жозефа, крепкой женщиной с

красивым, но рано состарившимся, морщинистым лицом, с его сестрой Дениз и братишкой Рене. Дениз и раньше бывала в бараке. С появлением трех новых обитателей она зачастила сюда, посматривая своими зеленовато-карими глазами то на Георгия, то на Огольцова: сердце ее, видимо, не сделало сразу выбора. "Братья-кирпичники", завидев ее, обрадованно кричали:

- Дениска идет!

Скоро, однако, стало ясно, что Дениз выбрала Устругова. Она присылала за ним Жозефа или Рене, приходила сама. "Братья-кирпичники", узнавшие ее выбор, может быть, даже раньше, чем она сама, стали кричать:

- Устругов, Дениска твоя идет, готовьсь!..

Георгий тяготился ее вниманием, злился на шутки и скабрезные намеки товарищей, но послушно шел в деревню, чтобы поработать в семье Жозефа. И чем ярче расцветала весна, тем чаще присылала Дениз за ним: она умела находить работу. Жозеф намекал, правда посмеиваясь, будто сестра намеренно завалила заднюю стену двора, чтобы заманить Георгия на целый месяц. А он, чтобы избежать этого, пригласил Сеню, Клочкова, Огольцова и меня. Дениз нашла способ почти тут же избавиться от первых трех, оставив с Георгием только меня, и мы принялись за работу.

Глина, которую замесил Жозеф несколько дней назад, уже затвердела, нам пришлось залить ее водой и долго лопатить. Плотная и вязкая, она с трудом поддавалась. Жозеф быстро вспотел и остановился, скоро выдохся и я. Лишь Георгий продолжал рубить глину, поворачивал пласты, блестевшие на солнце, снова рубил. Потребность в действии находила выход в этом труде, и он работал с явным наслаждением. Его лоб блестел, рубашка на спине потемнела, а он все копал и месил, месил и копал.

Вышедшая во двор хозяйка долго смотрела на него, любуясь. Она остановила пробегавшую мимо Дениз и показала глазами на Устругова.

- Эти русские одержимые какие-то, - отметила дочь. - Не знают меры ни в чем. Пить начнут - не остановишь, работать - то так, будто не сделай они этого в один-два часа, свету конец. Женщин сторонятся, как чумы, а осмелеют - сразу бросаются, будто проглотить хотят.

Мать встрепенулась.

- Ты откуда насчет женщин знаешь?

Дениз повела на нее насмешливыми глазами.

- Знаю...

- Откуда ты знаешь? Смотри, Дениз, проглотит тебя какой-

нибудь русский.

- Почему какой-нибудь, а не этот? - кивнула девушка в сторону Устругова.

Мать прищурила глаза, всматриваясь в Георгия.

- Этот не опасен. Теленок. Большой, сильный, даже красивый, но теленок. В смысле женщин, конечно. Только в этом смысле. А вообще-то он мужчина хоть куда. Дай бог любой девушке иметь такого мужа...

- Почему любой девушке, а не мне? - приставала дочь.

- Глупа ты еще, - с сердцем ответила мать и ушла.

В нашу бедную событиями жизнь война врезалась неожиданно и шумно. Поздним летним вечером, когда "братья-кирпичники" уже собирались покинуть скамейку под окном и пойти спать, со стороны Германии - она лежала от нас меньше чем в сотне километров - послышался нарастающий гул моторов. Головы невольно повернулись туда. В черном небе, усеянном звездами, появился огонек, похожий на горящую головешку. Быстро разгораясь, он превратился в факел, а факел тут же запылал, вытягивая за собой ярко-оранжевый хвост.

Устругов вскочил на ноги.

- Самолет! Самолет горит!..

Все сорвались со скамьи.

- Верно, горит самолет!.. Горит! Ох, как полыхает!..

Горящий самолет, растянув трепещущий яркий хвост вполнеба, быстро снижался, нацеливаясь, как нам казалось, прямо в барак. Но он пронесся над нами, осветив на мгновение пустые навесы, карьер и соседний лес. Самолет скрылся за холмом, озарив его лесистый, словно ощетинившийся, гребень и небо над ним. И тогда мы увидели на короткое время черные фигуры, странно кувыркающиеся в воздухе. Над одной из них вытянулась быстро набухающая кишка, превратившаяся в купол парашюта.

- Летчики! Летчики! - взволнованно прокричал Георгий. - Только что выбросились.

Он тронул меня за плечо и повторил беспокойно:

- Выбросились на парашютах. Но, кажется, слишком поздно и... Надо туда бежать...

Самолет прилетел со стороны Германии. Значит, то были наши союзники, товарищи по оружию. И они нуждались сейчас в нашей помощи. За черным гребнем, бросив в небо сноп света, громыхнуло что-то с такой силой, что под нами вздрогнула земля: самолет, вероятно, врезался в гору и взорвался.

Дружно топоча по сухой земле, мы бросились в ту сторону. Хорошо знакомый и обычно такой дружественный лес встретил враждебно: хватал невидимыми руками за одежду, подсовывал

пни и палки под ноги, сталкивал в ямы и рвы. Пока добрались до гребня холма, все устали. Там остановились и прислушались. Тишина. Ни треска сучьев, ломаемых продирающимися во тьме людьми, ни стона раненых. Сеня крикнул: "Э-ге-гей"! - но Устругов остановил его: едва ли летчики пойдут на такой крик.

- Попробуй-ка позвать их по-английски, - сказал он мне.

Я приложил руку щитком ко рту и закричал:

- Летчики, идите сюда, здесь ваши друзья! Идите сюда! Идите сюда!

В ответ - ни звука. Двинулись дальше, стараясь не отрываться друг от друга, изредка сходились вместе, прислушивались к ночному лесу, звали.

Летний рассвет застал нас на склоне невысокой горы, поросшей редким лесом. Растянувшись цепочкой, мы обшаривали кусты. Глазастый Яша Скорый остановил меня и молча показал вперед: зацепившись за молодой дубок, ярко желтел парашют. Под дубком, странно изогнувшись, лежал летчик. Он был в английской форме, а на его погонах стояли слова "Новая Зеландия". Парашют не успел замедлить падения: летчик разбился. В нагрудном кармане оказалось офицерское удостоверение на имя Аллэна Борхэда, записка, написанная женской рукой, а в записке два билета в лондонский "Хэймаркет-театр". Мне бросилась в глаза дата на билетах: это была дата начинающегося дня. Летчик надеялся быть к вечеру в Лондоне, чтобы повести свою подругу в театр. Но в Лондон он уже никогда не вернется, и девушка напрасно будет ждать его, как обещала в записке, у Купидона на Пиккадилли-сёркус. И если, рассерженная и встревоженная, она дозвонится завтра до нужного человека в штабе авиационной части, ей ответят обычной стандартной фразой:

- Не вернулся из полета.

Мертвый мог ждать, и мы еще торопливее стали искать других. Раненные или искалеченные, они нуждались в немедленной помощи. Подавленные страшной находкой, мы уже не звали, а только искали, искали, искали.

Горы в Арденнах невысоки, однако расстояние и тут обманчиво. До соседнего гребня, казалось, рукой подать, да и сам он представлялся низким. Но как только мы устремились к нему, он непостижимо отодвинулся и заметно вырос. Лишь одолев три или четыре таких гребня, мы выбрались к глубокой впадине, отрезанной с обеих сторон крутыми спусками, похожими на каменные стены. У дальней стены сверкали под ранним солнцем куски алюминия, а немного ближе громоздился черный обгоревший металлический лом. Вокруг него копошились две фигуры, пытавшиеся вытащить что-то из-под обломков.

Впадина заметно суживалась влево, и стены ее становились отвеснее и мрачнее. Вправо этот естественный коридор расширялся, между скалистыми выступами стен зеленел кустарник, зацепившись за который можно было спуститься в падь. Мы заспешили вправо, но вскоре остановились, пораженные выкриком убежавшего вперед Яши:

- Полиция!

Взобравшись на валун, белевший между двух сосен, он смотрел в ту сторону, куда уходила падь, становясь все мельче. Яша то призывно махал руками, то делал знаки быть осторожнее. По привычке согнувшись и стараясь не шуметь, мы подобрались к нему. Далеко впереди падь пересекалась дорогой с высокой насыпью. Почти в самом центре ее белел своими каменными плечами и перилами мост, а перед ним стояла хорошо видимая даже невооруженным глазом продолговатая грязно-коричневая коробка.

- Где полиция?

- Видите, там у моста полицейскую машину? Длинная бурая такая коробка?.. Я узнаю ее за десять километров. Меня в ней возили. А около нее полицейские. Неужели не видите?

Действительно, около машины толпились какие-то люди, и время от времени там что-то ослепительно сверкало. Вероятно, бинокли, через которые они пытались заглянуть в глубину пади. Наверное, полицейские что-то узрели, потому что один за другим стали спускаться по насыпи на дно лощины.

- Они хотят захватить летчиков, - догадался Георгий. - Нужно поскорее увести их в лес.

Он повернулся и побежал, все бросились за ним. Устругов только раз обернулся, чтобы цыкнуть на Яшу:

- Ты куда? Сейчас же к тому камню! И смотреть в оба! Когда полицейские близко будут, свистни, а потом - в лес, чтобы они даже духу твоего унюхать не могли. Понятно?

- Очень понятно, товарищ командир!

И Яша Скорый рванулся назад.

Осторожно, перебираясь с камня на камень, пролезая между ними, спустились мы на дно впадины и помчались к обломкам самолета. Увидев нас, летчики поспешно отступили за него и вытащили пистолеты.

- Свои! Свои же! - закричал Аристархов. - Мы же помочь желаем, черти, а вы сразу за пистолеты.

- Объяснил, помощник! - насмешливо бросил Огольцов. - Черта они поняли из твоего объяснения. Давай, Костя, по-ихнему...

- Не стреляйте! - крикнул я по-английски. - Мы друзья ваши и хотим помочь вам.

Утомленные, с пепельно-серыми и потными лицами, летчики смотрели на нас с недоумением и беспокойством. Механически протягивали нам руки, позволяли обнимать и тискать себя. Как и на мертвом, на их погонах стояли слова: "Новая Зеландия".

- Мы видели, как загорелся ваш самолет, - объяснил я. -

Побежали сразу, но добрались только сейчас: горы, лес... Вам нужно немедленно уходить. Мы видели полицейских, они идут сюда.

- Мы не можем уйти, - сказал один из летчиков, с погонами офицера: мы не знали новозеландских знаков различия и не могли определить его звания. - Мой навигатор тяжело ранен, стрелок убит, второй пилот пропал где-то.

Я достал офицерское удостоверение, записку и два билета в "Хзймаркет-театр" и передал их командиру самолета.

- Мы нашли его... Он мертв: парашют не успел вовремя раскрыться...

Летчик поднял руку, чтобы снять головной убор, но вспомнил, видимо, о потерянном шлеме, опустил беспомощно руку, выпятил и жестко сжал серые губы.

- Где раненый?

Командир, поманив меня за собой, зашагал по густой траве. Раненый лежал метрах в тридцати от самолета. Его лицо было желтовато-темным, глазные впадины уже глубоко ввалились, как у мертвого.

- Куда ранен?

- Кажется, в пах или бедро. Встать даже с нашей помощью не смог. Придется нести.

Сверху донесся свист. Яша Скорый, размахивая руками, показывал, что полицейские приближаются.

- Надо уходить, - скачал я новозеландцу. - Немцы недалеко.

- А много их? - спросил он и тронул свою кобуру. - Может, здесь их встретим? Ведь бежать с раненым не сможем...

- Человек восемь-десять.

Летчик обеспокоенно почесал щетинистый подбородок тонкими длинными пальцами.

- Кажется, один из наших пулеметов в порядке.

- Одну секунду, - сказал я ему и побежал к самолету. Деркач и Огольцов уже возились около него, отвинчивая крупнокалиберный пулемет с турели. Клочков и Мармыжкин ворочали обломки самолета, вытаскивая несгоревшие пулеметные ленты, Сеня собирал разлетевшиеся по густой траве патронные ящики. Устругов торопил Деркача, тревожно посматривая на Яшу. А когда тот, свистнув еще раз, начал показывать рукой в сторону ближайшего выступа, Георгий бросился к пулемету и, оттолкнув товарищей, стал поспешно укреплять его на старом месте.

- Поздно, поздно, - проговорил он сквозь зубы. - Забирайте людей и уходите вглубь. Где-нибудь выберетесь, а я задержу их здесь.

- Почему же ты? - возразил Деркач. - Надо решить...

- Поздно решать, поздно, - повторил Георгий, стискивая губы. Он вошел в то "упрямое состояние", когда уже ничто не могло заставить его уступить. - Все поздно...

- Что поздно? И почему поздно? - обиженно переспросил Деркач. - Я нашел этот пулемет и почти отвинтил его. И к тому же я такой же лейтенант Красной Армии...

Устругов посмотрел на него ожесточенным, даже ненавидящим взглядом и проговорил тихо, шепотом, но этот шепот просвистел, как взмах кнута:

- Уходить всем! Немедленно уходить, черт вас возьми!..

Далеко уйти нам, однако, не удалось. Добравшись до ближайшего каменного выступа, мы спрятались за него. Деркач выглянул, сокрушенно выругался и поманил меня к себе.

- Этот длинный черт один с пулеметом остался, - сказал он сердито. Никогда, наверно, с пулеметом не нянчился, сапер паршивый. А что он будет делать, глиста динамитная, если лента заест?

И вдруг, сменив ругательный тон на просительный, повернулся ко мне:

- Ты когда-нибудь с пулеметами дело имел?

- Знаю все системы, кроме авиационных.

- Костя, друг, беги к нему, пока время есть. Не справится один с пулеметом, сапер долговязый... Тогда ему хана и нам крышка.

Когда я подобрался к Георгию, он вопросительно посмотрел на меня и усмехнулся:

- Сам догадался или Деркач прислал?

- Деркач прислал.

- Я так и думал. Он же пулеметной ротой командовал и знает, что нужно.

- Почему ж его тут не оставил? Он бы лучше сумел с пулеметом управиться.

Георгий помолчал немного, всматриваясь в безмолвную и пустую падь, и тихо проговорил:

- Не могу я, Костя, чужими жизнями распоряжаться, жила слаба. А с пулеметом я на финской хорошо познакомился.

Мы смотрели прямо перед собой и видели только скалистый выступ стены справа, падь, уходящую к подножию дальних холмов, да ясное, начинающее излучать жару небо. И вдруг в густой траве, как будто совсем недалеко, что-то сверкнуло, потом еще и еще: солнце высекало звезды даже из такой ничтожной вещи, как полицейская кокарда.

- Один, второй, третий, пятый, седьмой, - шепотом считал Георгий. Восемь... Хорошо бы никого не упустить, чтобы концы

отсечь.

Вырастая из густой травы, появлялись головы, плечи, груди полицейских. Ослепленные солнцем, они прикрывали козырьком ладони глаза.

Мощный рокот потряс впадину, ударился об одну стену, о другую, смешался и снова ударился о стены. Эхо его покатилось по длинному естественному коридору, перевалило через стены, ограждавшие его, и понеслось по тихим лесистым холмам, млеющим под летним солнцем.

Полицейские - пожилые, плотные, разморенные подъемом люди - были повергнуты в траву бешеным огнем, хлынувшим на них из обломков самолета.

Тишина, свалившаяся на нас после многократного рокота, давила, казалась предательски опасной, и мы то напряженно вглядывались в траву перед собой, то торопливо озирались по сторонам, ожидая нападения. Полицейские не нападали, но беспокойство наше только увеличилось. Притаились, черти! Хотят выманить нас из-за обломков самолета. Не на простаков напали!

- Лежат они. Все лежат! - донесся сверху звонкий голос Яши. Парнишка ослушался приказа, не ушел в лес, а спрятался в камнях на самом краю обрыва.

- Ты будь наготове, - сказал я Георгию, - пойду посмотрю, не притворяются ли...

Полицейские не притворялись. Пули крупного калибра, рассчитанные на броню, оставили такие страшные следы, что даже на врага нельзя было смотреть без содрогания.

"Братья-кирпичники" вылезли из своего укрытия обрадованно-возбужденные. Мы поспешно собрали автоматы и карабины полицейских, сняли пулемет с самолетной турели и, набив карманы патронами, приготовились уходить.

Новозеландцы следили за нами недоуменными глазами. Наконец командир самолета, не выдержав, тронул меня за плечо:

- Зачем вам столько оружия?

Он смотрел то на меня, то на Устругова, признав в нем старшего. Тот, выслушав перевод, развел руками.

- Как зачем? Немцы вернутся сюда, чтобы отыскать вас и особенно тех, кто положил тут полицейских. Не можем же мы встретить их голыми руками.

Летчик обеспокоенно посмотрел в глаза Георгия.

- А они вернутся?

- Безусловно, вернутся.

- И когда?

- Этого я не знаю. Думаю, что через три-четыре дня. В ближайших городах немецких полицейских частей нет, а местных

сил маловато, и их начальник едва ли решится самостоятельно сунуться в горы. Он доложит о том, что тут случилось, в Льеж, Льеж доложит в Брюссель. И пока Брюссель даст Льежу приказ послать подкрепление, пока подкрепление прибудет сюда, пройдет три-четыре дня.

- И вы... - летчик замялся. - И вы намерены драться с ними?

- Не знаю... Это зависит от того, сколько будет их. Справимся - будем драться, нет - уйдем в горы.

- Вы слишком много рискуете из-за нас, - тоном сожаления заметил командир самолета. - Сегодня сильно рисковали и опять готовитесь рисковать.

- А мы делаем это не столько из-за вас, сколько из-за себя, возразил Устругов. - У нас свой счет к ним есть. И очень большой счет.

Летчик наклонил согласно голову, показывая, что догадывался об этом, однако спросил:

- Кто вы?

Георгий озадаченно посмотрел на меня, на Деркача, на "братьев-кирпичников" и, подумав немного, назвал себя, меня, всех нас словом, о котором мы думали, но произнести не решались, да и не имели пока оснований называть себя этим словом:

- Партизаны.

- Партизаны? Здесь, в Арденнах? Рядом с Германией?

Нам и самим было странно слышать, что здесь, в арденнских горах и лесах, действительно рядом с Германией, появились партизаны. И эти партизаны - мы, "братья-кирпичники", еще вчера только беглецы, удравшие из немецкого плена или концлагеря. Георгий бросил на меня смущенный взгляд: "Как, не переборщил?" Встретив одобрительную улыбку, приосанился немного, выпрямившись и откинув плечи. Сеня Аристархов возбужденно толкнул Огольцова:

- А ведь теперь мы в самом деле... вроде как партизаны.

Огольцов кивнул головой назад, где лежали убитые, подтвердил:

- Верно, теперь мы партизаны.

И без того горевшие гордостью глаза Яши Скорого засияли еще ярче, но он не решался высказаться вслух, поэтому лишь шептал:

- Партизаны... партизаны... партизаны...

Только Мармыжкин сомневался.

- Да разве ж партизаны такие? Эти толстые полицейские себя как на блюде поднесли, а тут пулемет. Минута - и все... Мы, можно сказать, почти поневоле в эту катавасию попали. Это, как

говорят, без меня меня женили...

- Философия, - бросил свое всеобъемлющее слово Клочков.

Степан Иванович мрачно молчал, пока Деркач не спросил его мнение.

- Партизаны или не партизаны, - глухо проворчал он, - только жизнь спокойная в этих горах с нынешнего дня кончилась. Заставят нас немцы плакать за это кровавыми слезами. Придется нам теперь по лесам этим без остановки бегать...

- Раскаркался! - сердито и обеспокоенно крикнул Сеня. - А чего раскаркался, сам не знает.

- Я-то знаю, я-то знаю, - со зловещей ноткой повторил Степан Иванович. - Это вот ты не знаешь и не понимаешь, что за тебя другие решили. Ты теперь из человека в волка превратишься, сам не ведая и не желая того. Все теперь волками станем!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Возвращение на кирпичный завод было долгим и трудным. Нести раненого тяжело и по ровному месту, а в горах, с их подъемами и спусками, это было мукой как для новозеландца, так и для тех, кто нес его. "Братья-кирпичники" тащили еще пулемет, ленты к нему, шесть автоматов и два карабина. Уставали очень быстро и часто останавливались отдыхая. Опасаясь привести за собой немцев к своему постоянному убежищу и поставить под удар деревню Жозефа, которая приняла и кормила нас, старались запутать следы. Встретив горный ручеек, долго шли по его светлой прохладной воде, чтобы обмануть собак-ищеек, если полицейские пошлют их по следу.

Добрались мы до своего тихого и черного барака, брошенного сутки назад, лишь поздно ночью. При колеблющемся свете тоненькой свечечки, которую берегли лишь для исключительных случаев, соорудили раненому постель и осторожно переложили его. Он был очень плох. Пожелтевшее, обросшее черной щетиной лицо заострилось, как у покойника. Устругов, принявший на себя заботы о раненом, отвел меня в сторону и попросил сейчас же сходить к Жозефу.

- И скажи ему, пусть бежит со всех ног в поселок к "Петушку" и тащит его немедленно сюда...

"Петушком" звали дядю Жозефа, фельдшера, который жил в соседнем поселке. Мы встретили его в доме нашего друга, когда чинили стену. Седенький, какой-то взъерошенный, худощавый и сутулый, с маленькими ртом и крючковатым носом, фельдшер был криклив и непоседлив. Он метался с места на место, быстро семеня сухими ножками и взмахивая руками. Дядя очень напоминал беспокойного, задиристого петушка, и мы между собой так и прозвали его. "Петушок" охотно, с увлечением и даже

азартом философствовал на любую тему, в споре был упрям и изворотлив. Побеждая, хвастливо торжествовал, проигрывая, нервничал, мрачнел и злился, не останавливаясь перед личными оскорблениями. В хорошем настроении был великодушен, общителен и щедр. И тогда охотно обещал помощь.

- Если кому-нибудь из вас, - многозначительно намекал фельдшер, лишнюю дырку в теле сделают, только дайте знать. Приду в ночь и за полночь, такое уж наше дело. И любую дырку так заштопаю, что и сами не сумеете найти, где она была...

Я побежал к Жозефу, надеясь, что "Петушок" вспомнит об этом обещании и поспешит на помощь. Жозефа дома, однако, не оказалось. Вышедшая на мой стук Дениз сказала, что брат ушел в Марш и до сих пор не вернулся.

- Что-нибудь случилось? - вяло полюбопытствовала она и зевнула, кутаясь в шаль.

"Кирпичники" нередко заявлялись сюда ночью, и мой поздний приход не удивил ее.

Я рассказал, что один из наших новых товарищей тяжело ранен и ему нужна срочная помощь. Вялость у девушки исчезла. Кусая полные и темные губы, она внимательно вглядывалась в меня поблескивающими глазами, потом, коротко бросив: "Я сейчас", - скрылась в доме. Через две минуты появилась снова, одетая.

- Возвращайся назад, - приказала она мне. - Я приведу дядю.

- Ты пойдешь в поселок сама?

- Нет, ты за меня пойдешь.

- Не за тебя, а вместе с тобой. Ведь страшно же ночью в лесу.

- Храбрец нашелся! - насмешливо воскликнула Дениз, поворачиваясь ко мне спиной. - Ангел-хранитель...

- Дениз, подожди! - крикнул я, устремляясь за ней. - Мне Устругов житья не даст, если пущу тебя одну.

- А он пусть сам приходит, а не поручает другим провожать, если уж так сильно обо мне заботится.

Георгий действительно обругал меня, узнав, что я отпустил Дениз одну. Мы знали, что леса и горы Арденн укрывали не только "братьев-кирпичникав". Прятались тут и другие беглецы, немецкие дезертиры и просто бродяги. Не зная лесных тропинок, невольные обитатели Арденн передвигались по дорогам обычно ночью. Мы и сами не раз встречали на ночных дорогах неведомых нам странников, которые бросались прочь от нас, а мы от них. Оборванные и обросшие, они накидывались иногда на одиноких женщин. Георгий опасался, что Дениз повстречает кого-нибудь из них.

Опасения его оказались напрасными. Дениз заявилась к нам

утром вместе с дядей. Она была довольна собой и возбуждена, глаза ее блестели, щеки горели, а полные губы складывались в веселую и насмешливую улыбку, хотя радоваться было нечему и смеяться не над чем.

Старик был хмур и сердит. Игнорируя наши поклоны и заискивающие улыбки, он направился к раненому и отогнал сочувствующих и любопытных. Бегло осмотрел летчика и, брезгливо оттопырив бледные и вялые стариковские губы, начал развязывать бинт, сделанный старательными, но неумелыми руками. В это оттопыривание губ старик вложил все высокомерное презрение профессионала к жалким потугам любителей-дилетантов. Придвинув слабые, в очках, глаза вплотную к бедру раненого, фельдшер долго рассматривал рану, потом выпрямился, озабоченный и хмурый. У него было то недовольное выражение, которое так часто появляется на лицах врачей. Чем меньше они понимают болезнь или сложность ранения, тем больше это недовольство.

Непоседливый и говорливый "Петушок" был на этот раз медлителен и молчалив. Он смотрел на всех осуждающе. Старик накричал на Дениз, кипятившую воду, обругал меня за то, что поднес кастрюлю не с той руки, отчитал Степана Ивановича, загородившего свет, заставив того сконфуженно покинуть барак.

- Кость не затронута, - недовольно пробормотал он, оторвавшись, наконец, от раненого, и мы не могли понять, чем недоволен: то ли тем, что кость не затронута, то ли еще чем. - Кость не затронута, но рана серьезная. Я сделал перевязку. Настоящую перевязку, и вы не вздумайте снимать ее без меня. Понятно?

- Понятно, понятно, - торопливо согласился Устругов, в лицо которого старик уперся своими выцветшими глазами.

Когда фельдшер вымыл руки и, сложив инструменты, захлопнул саквояж, командир самолета приблизился к старику. Поблагодарив за помощь товарищу, летчик сунул в его руку свернутую четвертушкой пятифунтовую бумажку. Старик раскрыл кулак, осторожно и брезгливо развернул бумажку, взяв кончиками двух пальцев. Несомненно, он понимал, за что дали деньги, тем не менее изобразил на лице недоумение и повернулся к Георгию:

- Это что?

Тот пожал плечами, а новозеландец поспешно схватил меня за локоть.

- Скажите ему, что это его гонорар, награда.

Старик перенес свое недоумение и неприязнь на меня. Враждебно посверкивая злыми и от этого еще более светлыми

глазами, оттопырил губы.

- Какой гонорар? Какая награда?

- Пять фунтов стерлингов за ваши труды, за беспокойство и все такое...

Фельдшер снова сложил вчетверо зеленоватую бумажку и с силой сунул деньги в нагрудный карман летчика.

- Труд мой таких денег не стоит, а за беспокойство этим расплатиться нельзя. Если боши узнают, что по зову беглых русских я перебинтовал и лечил сбитого английского летчика, сгноят меня в концлагере...

Он осмотрел нас, откинув назад сутулые старческие плечи, схватил саквояж и пошел к двери, намеренно не замечая наши поклоны. У двери, однако, остановился и через плечо бросил:

- К перевязке не прикасаться. Раненого не трогать. Вернусь и сделаю все сам.

- Когда вы вернетесь? - осмелился спросить я.

Старик не удостоил меня не только ответом, но даже и взглядом. Словоохотливый "Петушок" был в то утро серьезен и неприступен.

Новозеландец проводил его беспокойными глазами и обескураженно вздохнул:

- Странный старик. Непонятный...

- Ха-ароший старик! - восхищенно протянул Георгий. - Ха-ароший! Он много лучше, чем я думал... Много...

Фельдшер приходил в барак утром и вечером, менял перевязку, промывал рану, постоянно сохраняя на своем худом морщинистом лице недовольное выражение, сердито покрикивал на тех, кто помогал ему, и ругал мешающих. Лицо его становилось добрее, ругань тише, по мере того как штурман поправлялся. Он чаще заговаривал с обитателями, задерживаясь в бараке или усаживаясь с ними на скамейке под окнами. Обрадованный выздоровлением пациента, старик становился не только разговорчивее, но и хвастливее. У него опять появилась склонность философствовать на любые темы, та же непоседливость со взмахиванием руками и петушиный задор в спорах.

В то первое утро, едва сердитый фельдшер скрылся за дверью, новозеландец подошел ко мне и почему-то шепотом спросил, чем обидел он этого странного старика, отказавшегося от денег с таким негодованием.

- Везде и всегда врачи брали и берут за помощь, которую оказывают, сказал летчик, доставая деньги из нагрудного кармана и перекладывая в бумажник. - И никто не обижается. Наоборот, они обидятся, если вы не сунете солидную бумажку в

их сложенную лодочкой ладонь. А тут... Странно, очень странно...

- Ныне многое странно, - отозвался Устругов, выслушав перевод. Разве не странно, что тут вот, в горах Бельгии, оказались в одном бараке русские и новозеландцы? Так же странно, что люди оказывают друг другу помощь, которая никакими деньгами не может быть оценена.

- Да, конечно, - согласился летчик. - Помощь, которую вы оказали нам, не может быть оценена никакими деньгами.

- Конечно, никакими деньгами, - повторил Георгий. - Мы бросились искать вас не потому, что хотели заработать. Даже не знали, кто вы. Знали только одно: люди, выпрыгнувшие из самолета, были на нашей стороне и нуждались в помощи.

Новозеландец подумал немного, потом тихо и неуверенно изрек:

- Люди чаще всего думают только о себе. Или прежде всего о себе. А уже потом о других.

- Если у людей общее дело, то думать о себе или прежде всего о себе, - заметил я, - это не только лишать других поддержки, но и обкрадывать себя. Если не подхватить общий груз вовремя, может быть, только одной рукой, он раздавит тебя насмерть, когда другие, лишенные поддержки, попадают от бессилия.

Новозеландец не сразу понял сказанное, а поняв, согласно закивал головой.

- Это верно, это очень верно. Вот потому-то новозеландцы не остались в стороне от этой войны. Думали, раздавят джерри Европу, до нас доберутся. Сейчас тут и наша маленькая помощь может оказаться полезной, а иначе нам придется только поднять руки и сдаться на милость победителя или умереть. А мы не хотим ни сдаваться, ни умирать.

Это объяснение, хотя и несколько напыщенное и декларативное, сблизило нас. Мы поняли, что наши новые и невольные соседи думают в общем правильно, хотя, может быть, и не совсем так, как мы. Георгий протянул летчику руку и назвал себя.

Тот пожал ее, прищелкнув каблуками:

- Джордж Гэррит.

- Джордж, Георгий, значит, - почти непроизвольно повторил я.

- Еще один Егор! - воскликнул Сеня, внимательно прислушивавшийся к нашему разговору. Имя новозеландца удивило и обрадовало его, и он тут же повернулся к товарищам по бараку и громко провозгласил: - Оказывается, Егоры не только в России водятся. И в Новой Зеландии - у самого черта на куличках - тоже Егоры живут.

- В нашей деревне, - вдруг вставил Мармыжкин, разгибаясь на своей скамье под окном и отрываясь от своего дела, - только Иванов больше, чем Егоров. Я вот Иван, а брат у меня Егор. Да, Егор... Только у нас нет такого баловства, чтобы Егора Георгием звать. Егорием зовут, это бывает. И то больше старушки. А так все Егор или Егорушка, если человек тебе мил или годами еще мал.

- Егор из Новой Зеландии, - повторил с увлечением Сеня. - Егор Новозеландский...

Радист со сбитого самолета, увидев, что его командир знакомится с нами, встал за его спиной с выжидательной готовностью. Несмотря на необычность обстановки, он старательно соблюдал воинский ритуал. При приближении офицера вскакивал на ноги и вытягивался, обращаясь к нему, именовал его "сэром", просил разрешения сказать что-либо или отойти от него. Он не осмеливался сесть, пока командир самолета не приказывал ему. По пути сюда радист бросался вперед и пытался всякий раз взять носилки из рук офицера, когда приходила очередь того нести раненого, и командир самолета, как это ни странно, уступал их.

Это покоробило всех "братьев-кирпичников", и Георгий посоветовал мне объяснить летчику, что арденнские горы не казарма и что трудности делятся у нас на всех поровну независимо от чина или звания. Вмешался, однако, Деркач.

- Мы не можем устанавливать свои порядки в армиях союзников, объявил он веско. - Если считают, что это необходимо для дисциплины, они могут делать это, потому что нет армии без дисциплины и нет дисциплины без субординации.

Джордж Гэррит представился всем "братьям-кирпичникам", пожимая руки и повторяя свое имя, потом показал рукой на радиста:

- Мой радист Джон Кэнхем.

Имя радиста не привлекло внимания. Лишь часа три спустя Мармыжкин, узнавший от Яши Скорого, что Джон - это Иван, подошел ко мне: правильно ли это? Я подтвердил. Он сосредоточенно задумался, думал минуты полторы-две, потом тихо засмеялся:

- Выходит, Иваны да Егоры везде есть. Больше Иванов, видать. Что наш барак? Капелька, пылинка на земле, а в нем три Ивана: я, да Огольцов, да этот чужестранец.

Он тронул меня за локоть.

- Яшка говорит, что у бельгийцев и французов тоже Иван есть. Жан называется. Верно это?

- Верно. Жан - это Иван. И Егор у них есть. Жорж.

- Ага, Жорж. Это я слышал, как Дениска Устругова кличет.

Мармыжкин собрал на лбу толстые продольные морщины.

- Выходит, Иваны, да Егоры, да, может, еще Петры - Петров тоже, поди, во всех странах много - войну ведут да кровью своей землю поят, торопливо заговорил он, переходя на шепот. - Собрать бы их вместе. Пусть бы они друг на друга посмотрели, поговорили меж собой, как жизнь устроить, чтобы душегубства этого не было. Может, они скорее чего-нибудь такое хорошее для себя и для всех людей сообразят. А? Как ты думаешь?

- Придумал! - воскликнул подошедший к нам Сеня Аристархов. - Поумней твоих Иванов да Егоров люди собирались, а придумать ничего не могли.

- Дьявол тебя возьми! - выругался Мармыжкин, возмущенный непрошеным вмешательством Сени. - И чего ты лезешь? И чего ты лезешь? "Умнее собирались!" А ты откуда знаешь, что умнее?

- Иванушки во всех сказках - дурачки.

- Сам ты дурачок, если сказок не понимаешь. Иванушки там дурачки, а на поверку-то умнее всех умников оказываются...

- Это только в сказках, - насмешливо возразил Сеня. - А всамделишные Иваны не умнее других.

- Но и не дурее других.

Спор их прервал Устругов. Втиснувшись между ними, Георгий отодвинул Аристархова в сторону и положил руку на мое плечо.

- Слушай, Костя, объясни, пожалуйста, новозеландцам, что мы пойдем их товарища хоронить. Они, наверно, тоже захотят пойти.

- Конечно, конечно, - быстро подхватил Гэррит, когда я перевел ему слова Георгия. - Сам уже хотел просить вас об этом, но не решался. Вы ведь и так много для нас сделали.

Мы захватили лопаты, хранившиеся в пристройке к бараку, и направились в лес, оставив Степана Ивановича караулить раненого. Он знал английский и мог понять просьбы или жалобы штурмана.

Лес, удививший нас позапрошлой ночью своей таинственной и неоправданной враждебностью, был теперь по-домашнему приветлив и тих. Он охотно показывал тропинки, ограждал густым кустарником или крапивой овраги и ямы. Согретый горячим солнцем, дремотно шептался, словно деревья рассказывали друг другу нескончаемую и увлекательную сказку. И как ни напрягали мы слух, все равно не могли понять таинственного, но всегда успокаивающего шепота.

Солнце превращает лужу в голубое зеркало, бутылочный осколок - в бриллиант, дает жизнь вишневой косточке и выращивает из нее буйно-зеленую вишню. Это же солнце

разрушает с поразительной быстротой и беспощадностью клетки человеческого организма, когда тот перестает жить. Мы почувствовали сладковатый трупный запах много раньше, чем нашли тело летчика. Оно лежало накрытое парашютом, как оставили вчера на рассвете. Но большие зеленые мухи нашли лазейку, ведущую к трупу, и с тихим жужжанием вились над ней.

Гэррит и Кэнхем завернули тело товарища в парашют, сделав продолговатый сверток, и сами опустили в могилу, вырытую нами под дубком. Когда новозеландцы вытянулись у края могилы, опустив головы в молитвенно-траурном молчании, Устругов толкнул меня локтем:

- Скажи же чего-нибудь.

- Чего сказать?

- Ну, хороним, мол, человека, которого увидели только мертвым, но знаем, что дрался вместе с нами с общим врагом. Совместная кровь за совместное дело. И дальше будем вместе драться, пока не добьемся победы. Теперь мы не одни, Костя, и нужно новозеландцев к себе расположить, а наших ребят к ним. Понимаешь?

Конечно же, я понимал это не хуже Георгия, но он первый своим хорошим сердцем почувствовал, что нельзя молча похоронить новозеландского летчика, погибшего в арденнском лесу. И я, подняв призывно руку, произнес у зияющей могилы речь о безвестной солдатской смерти и вечной воинской славе, о братстве, скрепленном кровью, и человеческой доблести. Я повторил новозеландцам то, что сказал мне на ухо Устругов.

"Братья-кирпичники" сочувственно смотрели мне в рот и согласно кивали головами, хотя, конечно, не понимали, что говорил. Либо догадываясь, либо чувствуя по тону, подавали одобряющие знаки именно там, где нужно было. Это вдохновляло меня и радовало новозеландцев.

И когда я кончил, Гэррит, не поднимая головы и смотря по-прежнему на ярко-желтый сверток в могиле, заговорил. Он обращался к мертвому, называя ласкательно Лэном, вспомнил, как отправлялись вместе в Англию. Всю долгую дорогу через Индийский и Атлантический океаны Лэн поносил "взбесившихся" европейцев, ругал с особым ожесточением Англию, которая допустила войну и втянула в нее Новую Зеландию. А когда Гэррит говорил, что никто не заставляет Аллэна Борхэда лезть в нее, покойный набрасывался на друга и кричал:

- Мы не можем позволить джерри хозяйничать в Европе и в мире, как они хотят. Когда идет такая драка, то стоять в стороне - значит примириться с господством наиболее нахального и грубого.

Он был хорошим летчиком, великолепным парнем, этот Аллэн Борхэд.

С мрачной сосредоточенностью и торопливостью засыпали могилу, выровняли землю над ней и завалили сухой хвоей. Мы не хотели, чтобы немцы легко обнаружили и выкопали тело.

Возвращались в барак подавленные похоронами и молчаливые. Лишь перед самым кирпичным заводом Гэррит взял меня под руку и попросил научить самым необходимым русским словам и фразам. Усваивал он быстро и произносил русские слова легко. И когда остановились перед крылечком барака, летчик стал благодарить "братьев-кирпичников", пожимая руки и произнося раздельно и четко:

- Спа-си-ба, та-ва-рич...

- Братцы! - удивленно и восторженно заорал Сеня. - Егор Новозеландский заговорил по-русски!..

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Перед вечером к нам пришел Жозеф. Небритый и какой-то помятый, он плюхнулся на мой топчан, посмотрел утомленными и в то же время хитрыми глазами и сказал, не то спрашивая, не то утверждая:

- Это вы полицейских долбанули?

И, не ожидая ни подтверждения, ни отрицания, одобрил:

- Здорово долбанули...

Он поманил Устругова пальцем к себе и жестом пригласил сесть рядом.

- В Ляроше и Марше только и говорят сейчас, - с довольным смешком сообщил он, - как немецких полицейских в горах долбанули. До сих пор в этих местах только один или два полицейских исчезли. А тут сразу, говорят, целая дюжина полицейских отправилась в горы и не вернулась. Были те полицейские, как идет молва, вооружены до зубов: автоматы, пулеметы и все такое. И их все-таки долбанули...

Мы переглянулись с Георгием. Легенда покатилась, как снежный ком, постепенно вырастая. Из восьми полицейских сделали дюжину, потом превратят их в восемьдесят. Нашу случайную удачу уже разрисовали как подвиг, а "братья-кирпичники" возведены в сокрушающую силу.

Жозеф настолько верил, что это сделали мы, что в нашем подтверждении нужды уже не было. Вдруг, понизив голос, он сказал:

- Вас обоих в Марш вызывают.

- Кто? Зачем?

- А я знаю? - ответил он вопросом на вопрос. - Шарль сказал мне: "Иди-ка быстренько к "братьям-кирпичникам" и приведи

сюда того высокого и его товарища, которых последними туда отвел. С ними хотят говорить".

- Кто хочет говорить?

- А я знаю?

Парень и сам понимал, что такой ответ не мог удовлетворить нас, поэтому решил пояснить:

- Я спрашивал у Шарля. Он меня так отчитал, будто по щекам отхлестал. "Не суй, - говорит, - свой веснушчатый нос, куда не надо. Слишком, говорит, - ты любопытный, а для связного это большой недостаток. Любопытство, - говорит, - это женская слабость, а ты до сих пор мужчиной значишься".

Жозеф посидел еще немного, потом вскочил на ноги.

- Завтра на рассвете тронемся, - проговорил он, зевая. - Всю ночь шел, и сейчас в голове что-то непонятное вертится. Нужно поспать немного...

Бельгиец потряс головой, словно надеялся избавиться таким путем от того, что "вертелось" в голове. Это, кажется, помогло ему вспомнить кое-что важное, и он наклонился к нам.

- Шарль сказал, чтоб вы свои личные вещички, если они завелись, с собой захватили.

- Можем задержаться там? Или даже совсем не вернуться?

- А я знаю? После того как Шарль отругал меня, я расспрашивать не осмелился.

- Нам нужно знать, вернемся сюда или нет, - строго заметил Устругов. - С ребятами проститься надо, если не вернемся.

Жозеф посмотрел на него усталыми глазами и прищурился насмешливо и осуждающе.

- А зачем вам прощаться? Может быть, захотите похвастать еще, что вызывают в Марш, кто вызывает и где будете прятаться там. Валяйте рассказывайте всем и все...

Тон Жозефа был откровенно издевательским: на нас срывал обиду, которую нанес ему за любопытство Шарль. Георгий стиснул губы, готовый выпалить резкость, но вовремя сообразил, что парень прав, и только усмехнулся.

- Ладно уж, ладно. Никому не скажем о нашем уходе. Если задержимся, сам объяснишь.

И, сменив гнев на милость, Жозеф тоже улыбнулся и еще раз пожал нам на прощание руки.

- Завтра на рассвете... Поднимайтесь тихонечко и к сараю... Там буду поджидать вас.

На другое утро мы встретили его выбритого и свежего за сараем. Едва обменявшись приветствиями, двинулись в лес и долго шли только ему ведомыми тропками и дорожками. То лезли вверх, не видя горы, закрытой лесом, то скользили вниз,

цепляясь за кусты и сучья. Пересекали пестрые и пахучие луга, склонялись над светлыми ручейками, жадно хватая пересохшими губами согретую солнцем воду.

Добрались до Марша к вечеру, но в городок не пошли. Выбрав небольшую лужайку, Жозеф повалился на траву, посоветовав и нам вздремнуть.

- Ночью-то, может быть, спать и не удастся.

Однако чем настойчивее пытались мы уснуть, тем бодрее чувствовали себя. Нас, естественно, волновала предстоящая встреча с людьми, которые вызвали нас сюда. Кто они? Что хотят от нас? Может, эти люди недовольны тем, что "братья-кирпичники" "долбанули", как говорит Жозеф, немецких полицейских? Но тут не могли еще знать, кто сделал это. Может, хотели поручить нам что-то? Но что?

Озадаченные и обеспокоенные, мы лежали и смотрели вверх. Предвечернее небо становилось синее и глубже. На этом фоне верхушки деревьев, освещенные уходящим солнцем, выступали необыкновенно ярко, как зеленые свечи.

Лишь после того как стемнело, добрались мы до скалы, нависавшей над гостиницей. Город, лежавший внизу, был темен и тих. Во дворе гостиницы кто-то выплеснул воду, и она громко шлепнулась на каменные плиты. Скрипнула дверь, бросившая квадрат света на блеснувшие камни, и в желтом просвете появилась на секунду и исчезла стройная женская фигура: Мадлен? Или Аннета?

Осторожно нащупывая ногой ступеньки и держась рукой за быстро холодеющую стенку скалы, мы спустились во двор, проскользнули к знакомой двери на чердак и взобрались по лестнице наверх. Нащупали постели и опустились. Нагревшаяся за день крыша еще излучала жар.

- Вот мы опять здесь, - сказал я.

- Опять, - вяло отозвался Георгий и добавил: - Духотища тут какая! У меня сразу все во рту пересохло...

Жозеф скоро покинул нас, сказав, что разузнает внизу, нет ли в гостинице опасных посетителей и можем ли мы спуститься туда и когда. Пропадал он минут тридцать или больше, а вернувшись, сел со мной рядом и виновато вздохнул.

- Ну, что там? Нет ничего опасного?

- Поторопился я с вами, - вместо ответа сказал Жозеф. - Никого из тех, кто вызывал, нет.

- А кто вызывал?

- А я знаю?

Парень понимал, что это не ответ, поэтому, помолчав немного, добавил:

- Шарль за ними в Льеж поехал.

- И все еще не вернулся?

- Не вернулся. А старый Огюст говорит, что и не должен был сегодня вернуться. Может быть, завтра вернется... А может, послезавтра.

- И мы должны два или три дня жариться на этом чердаке?

Тем же виноватым тоном бельгиец повторил:

- Поторопился я с вами...

Некоторое время сидели молча. Я слышал звучное сопение сидящего напротив меня, но невидимого во тьме Устругова, который сдерживал свое раздражение. Рядом виновато вздыхал Жозеф. Я нащупал его руку и успокаивающе пожал.

- Пошли-ка на кухню, - сказал он бодрее. - Там обещали покормить.

Держась друг за друга, добрались до двери, сошли вниз и, щурясь от яркого света, ввалились на кухню. Медлительный и грозный, с крупным и по-прежнему небритым лицом, казавшимся от этого обрюзгшим и хмурым, старый Огюст молча пожал нам руки. Его мощная сестра с тем же недовольным выражением стала собирать на стол, сотрясая пол своими толстыми ножищами. Хозяева гостиницы были щедры, но мрачны. Их мрачное настроение передалось и нам, и мы ели, торопясь покончить с едой и уйти на чердак.

Однако наше настроение изменилось, когда на кухне появилась Мадлен. В узкой черной юбке и белой кофточке она казалась еще более стройной и женственной. Неся на своем красивом лице, как знамя благожелательности, радостную улыбку, девушка подошла к столу.

- Вылезли медведи из своей берлоги, - сказала она. - Наконец-то вылезли...

Мадлен внимательно осмотрела блестящими черными глазами нас и многозначительно протянула:

- А вы не очень-то медведи. Даже воротнички чистые. Сразу женская рука чувствуется... Обласкали, видно, одинокие женщины наши.

Восхищенно смотревший на нее Устругов, поспешно отвел глаза. На его скуле появилось кирпичного цвета пятно, которое, расползаясь по обыкновению, как клякса, захватило скоро всю щеку.

- Ну, вот видите, - удовлетворенно отметила девушка. - Значит, угадала. Чувствуется заботливая рука благодарной женщины.

- Да нет... не женщина... мы сами, - забормотал Устругов, не решаясь поднять глаза. Мадлен с явным наслаждением созерцала

крупную, подавленную растерянностью фигуру и вдруг расхохоталась.

- Никогда не видела, - сказала она сквозь смех, - никогда не видела, чтобы такой большущий мужчина выглядел таким виноватым ребенком...

Заулыбалась и остановившаяся рядом с ней тетка. Большое лоснящееся лицо ее стало добрее, обычно стиснутые тонкие губы с жесткими черными усами вдруг широко растянулись, показав сверкающие белые ровные зубы. Почти запрокинув большое темное лицо, смотрел на дочь старик, и глаза его светились любовью и радостью. Улыбались и мы: Жозеф - насмешливо, как человек, который все знает и все понимает, Георгий - восхищенно, по-ребячьи. Я не мог видеть свою улыбку, но чувствовал, что мне стало легко и радостно, точно я попал на праздник.

Пока Мадлен была на кухне, мы не тяготились больше хозяевами гостиницы, хотя на их лица вернулось прежнее мрачное выражение. Время, тянувшееся до ее появления удручающе медленно, понеслось вдруг со скоростью кометы. Оно немедленно останавливалось, как только девушка уходила, и снова мчалось, когда Мадлен возвращалась. С ней легче дышалось, становилось светлее на кухне. И наш вялый мужской разговор, нудный по тону, серый по словам, сразу вспыхивал, как костер, в который плеснули керосина. Каждый хотел блеснуть перед нею.

Когда Мадлен, пожелав нам спокойной ночи, ушла, Устругов потерял к разговору интерес и напомнил, что время уже позднее. Он поднялся и заспешил на чердак. Однако хозяин властным жестом большой волосатой руки приказал сидеть и навалился на стол так, что его голова оказалась почти на середине.

- В городе говорят, - заговорил он, понижая голос, - в городе говорят, что между Уффализом и Лярошем партизаны появились. Немцы, говорят, хотели английских летчиков поймать, да на партизанскую засаду попали. Ну, партизаны будто всех немцев и положили. Одни говорят, что немцев было с десяток, другие говорят, что их было три десятка, а партизан человек пятьдесят. У вас там ничего не слышно?

Я уже хотел рассказать, как все было, но, бросив взгляд на Жозефа, осекся: приложив палец к губам, он приказывал молчать.

- Мы знали, что у нас в Арденнах прячутся разные люди, - так же тихо продолжал хозяин, - и наши, и русские, и голландцы, и французы есть. А кто начал, не можем узнать. И был ли это просто случай, или партизаны в самом деле решили, что пришло время ударить немцев. И ударили. И как еще ударили! Молодцы! Просто молодцы!

Мы молчали, сочувственно кивая головами в знак того, что присоединяемся к его одобрению. Мне не терпелось рассказать ему, и только строгий взгляд Жозефа заставлял держать язык за зубами. Я не понимал причины этого запрета, но ослушаться не осмеливался.

Лишь поднявшись на чердак, я сжал локоть парня и потребовал:

- Почему ты не хотел, чтобы я сказал старику, кто это сделал?

- А зачем ему правду знать? - переспросил тот. - Пусть думает, что партизан и в самом деле целая армия, а не мелкая кучка.

- Думаешь, будет другим рассказывать, что нас всего только девять человек?

- Рассказывать он никому не будет.

- Так почему же не сказать ему правду?

- Вот пристал! Да зачем ему правда, если с неправдой лучше? У него даже глаза засветились, когда о партизанах заговорил. Все эти годы он только и ждал этого. Да как еще ждал! Сказать ему, что ничего такого, чего ему хочется, нет, все равно что обокрасть...

Я не мог согласиться с Жозефом. Однако, встретив старого Огюста утром, поразился перемене в нем. В угрюмых глазах появился торжествующе-злой блеск, плечи немного поднялись и в ранее шаркавших ногах появилась упругость. Старик оживал. Схватив меня за лацкан пиджака, он привлек поближе.

- В городе говорят, что наши партизаны пулеметами обзавелись. Приехал на базар крестьянин, который слышал пулеметную стрельбу. Говорит, часа полтора пулеметы не умолкали.

Многозначительно подмигнул и усмехнулся:

- Наши полицейские из города носа высунуть боятся: что они со своими карабинами против пулеметов сделают? Из Брюсселя броневик потребовали. А что толку от броневика в горах? Ему же дорога хорошая нужна, а партизаны не дураки, чтобы на дорогу лезть. Они в лесу будут поджидать. А как только немцы сунутся в лес, партизаны их из пулеметов - чик-чик, и готово. Ну, идите, кушайте как следует, скоро и вы, наверно, потребуетесь...

И сестра, подававшая нам завтрак, казалась тоже менее мрачной. Мелкие черные глазки смотрели с большей теплотой, и усатые губы чаще складывались в улыбку.

Мы радовались, конечно, что были причиной такой хорошей перемены. Особенно же радовались тому, что на кухню все чаще залетала разгоряченная Мадлен. Она была в пестрой косыночке, из-под которой поблескивали легкой позолотой волосы, тот же

красный передничек с белыми горошками перетягивал стройную фигуру. Она посылала нам радостный лучик своей улыбки, говорила пару слов и убегала.

Нам, конечно, очень не хотелось возвращаться в быстро нагревающуюся духоту чердака. Однако оставаться внизу было нельзя. И мы часами торчали у слухового окна, снова смотрели на город, затопленный солнцем, вспоминали "братьев-кирпичников", наверно удивившихся нашему исчезновению, говорили о слухах, которые ползли из города в город, из деревни в деревню, разнося весть о нашей победе и делая ее все смелее, больше, фантастичнее.

С наступлением темноты мы отправились в лес. Летний лес ночью полон жизни. Застыв на месте и насторожившись, мы слышали легкие шаги четвероногих лесных обитателей, шорохи птиц в ветках, какие-то неясные далекие звуки, похожие на вздохи. И с облегчением чувствовали себя частью этого лесного царства, которое принимало нас в свое темное лоно. Здесь мы были свободны от опасений и настороженности, которые теперь почти никогда не покидали нас.

Несколько отдохнувшие и остывшие, мы вернулись к скале, нависавшей над гостиницей, спустились по каменной лесенке во двор и тут же прилипли к стене: за воротами гостиницы тихо урчал мотор. Ворота вдруг раскрылись, и прямо на нас уставились два ярких продолговатых глаза. Глаза медленно поползли во двор, скользнули по нашей стене и спрятались, оставив вместо себя на каменных плитах только желтовато-мутное пятно. Теперь мы отчетливо видели грузовик, остановившийся перед входом в гостиницу. Из кабины вылезли двое: один был высок и прям, другой - только по плечо ему, но плотнее. Приехавшие топтались перед затемненными фарами, разминая затекшие ноги.

Старый Огюст, закрыв ворота, подошел к ним. Всмотрелся в лица приехавших и вдруг обнял того, что был меньше ростом.

- Здравствуй, дружище Валлон, - проговорил хозяин с необычной для него теплотой в голосе. - Рад видеть тебя живым и здоровым.

- И на свободе! - отозвался Валлон со знакомым нам смешком.

- Валлон! - едва не выкрикнул я, вцепившись в руку Георгия. - Слышал, Огюст назвал его Валлоном?

- Валлонов много, - напряженным шепотом ответил он, - но голос как будто его...

И хотя это было неосторожно, я рванулся к машине и, стараясь удержаться от восклицания, громким шепотом позвал:

- Валлон... Валлон...

- Кто это? - встревожился тот, быстро повернувшись в мою сторону.

- Это я... Забродов...

- Забродов, - недоверчиво повторил он, всматриваясь в темноту. Потом обрадованно воскликнул: - Забродов! Спасся! Спасся Забродов! А я-то боялся... - Он бросился обнимать меня, повторяя: - Спасся, спасся... Вот молодец! А где же Самарцев? Устругов где? Вы же вместе были.

- Устругов здесь...

- Здесь я, здесь, - поспешно отозвался Георгий, выходя из тьмы. Он твердо отодвинул меня от Валлона, чтобы самому обнять его.

- И ты спасся! - еще более обрадованно воскликнул Валлон. - Молодец! Тоже молодец! Ну, какие же вы молодцы оба!

Он отпустил Георгия, вернее освободился из его объятий, торопливо оглядываясь.

- А где ж Самарцев?

- Нет Самарцева, - тихо ответил Георгий. - Нет его.

- Самарцев умер в лодке, - добавил я. - И мы схоронили его на берегу Ваала, там, где высадились.

Валлон растерянно смотрел в наши лица, потом опустил голову и сказал осуждающе:

- Не уберегли... Не уберегли...

- Не уберегли, - виновато отозвался Устругов.

- Как же так? - каким-то потерянным голосом переспросил Валлон, трогая меня за плечо. - Я же просил беречь его, обоих просил, особенно тебя, Забродов, просил беречь Самарцева. А вы не уберегли... Как же так? Ведь я же просил...

- Ладно уж, что ж поделать теперь? - сказал старый Огюст, обнимая Валлона за плечи. - Одни умирают сами, других расстреливают безоружных, беспомощных. Теперь их уже не вернешь... И ничего не поделаешь...

Хозяин повел его к двери. За ними молчаливо и четко зашагал другой, высокий. Мы постояли немного, не зная, что делать, потом пошли туда же. У дверей остановились, не решаясь войти, но Шарль, подошедший следом, тихонько подтолкнул нас.

В освещенной комнате Валлон снова осмотрел нас, осмотрел придирчиво, с упреком: сами живы-здоровы, а товарища в землю закопали. Хотя мы знали, что смерть Самарцева не наша вина, чувствовали себя все равно виноватыми: не уберегли!

По виноватым и скорбным лицам Валлон понял, как горька и тяжела для нас смерть друга. Догадавшись об этом, великодушно решил, что мы заслуживаем сожаления и симпатии. Он

сочувственно обнял Устругова, потом меня, легонько потрепал узкой рукой по спине и со вздохом сочувствия отпустил, повторив, что рад, очень рад встретиться с нами.

Мы действительно радовались, глядя на него. В хорошем костюме, белой рубашке с галстуком, он казался крупнее, чем в лагере, солиднее, серьезнее. Выбритое до синевы лицо излучало умную самоуверенность, а глаза, прятавшиеся раньше в глубоких глазницах, смотрели со спокойной сосредоточенностью и прямотой. Этот Валлон знал себе цену.

- Я рад видеть тебя, Валлон, - сказал я, невольно сравнивая его с тем вертлявым и болтливым человеком, которого я знал в лагере. - Очень рад. Мы ведь тоже думали, что ты погиб, как и все другие.

- А кто погиб?

- Да я не знаю... Думали, что все погибли, кто в других лодках был. И про тебя тоже думали...

Живому человеку всегда странно слышать, что кто-то принимал его за мертвого. Это предположение кажется настолько несуразным, что он отвечает на него только пожатием плеч и усмешкой. Именно это и сделал Валлон.

- Я не погиб, - вяло отозвался он, не считая нужным вкладывать в это подтверждение больше энергии или энтузиазма. - И другие, кто был со мной, тоже не погибли.

- И Стажинский? И Прохазка?

- И Стажинский жив. И Прохазка жив. И Бийе, и Крофт, и земляк ваш, фамилии которого я так и не запомнил.

- Все спаслись? Все добрались до Голландии?

- И не только до Голландии. Все находятся здесь, в Арденнах, хотя точно не знаю где. Мы за этим и приехали сюда с...

Только тут он повернулся к своему высокому спутнику и виновато улыбнулся: совсем забыл о нем. Тот стоял прямой и строгий. Штатский плащ не скрывал его военной выправки. Посматривая на нас любопытными и симпатизирующим глазами, он не осмеливался помешать встрече старых друзей, у которых была общая радость и общая печаль. Лишь после того как Валлон вспомнил о нем, спутник шагнул вперед, как полагается кадровому военному, с левой ноги и протянул мне руку:

- Дюмани.

С той же военной четкостью он повернулся к Георгию и представился:

- Дюмани.

Его рукопожатие было коротким и крепким. Он тут же сделал шаг назад и выпрямился, чуть слышно стукнув каблуками вполне штатских ботинок.

Наш хозяин, посмотрев на высокого обрадованными глазами, подошел к нему и робко подал руку:

- Рад встретиться с вами. Слышал о вас много хорошего, а вижу впервые.

После короткого замешательства Дюмани склонил голову, пожал руку Огюста. Выпрямившись, он поднял густые брови и едва заметно скривил тонкие губы: ему явно не нравилось то, что хозяин знал его.

Старый Огюст усадил всех за большой стол, а сам скрылся за дверью в углу: она вела на кухню. Валлон еще раз осмотрел Устругова и меня.

- Честно говоря, я не ожидал этой встречи, - признался он, - хотя искал именно вас.

Недоумение, появившееся на наших лицах, заставило его остановиться. Он усмехнулся и поправился:

- Ну, не совсем вас, а только похожих. Шарль сообщил, что доставил в эти края двух русских, говорящих по-французски, и что один из них знает подрывное дело. Подрывник сейчас очень нужен, и мы решили с Дюмани повидать его.

Валлон замялся, потом, виновато улыбнувшись Устругову, сказал:

- Я никогда не думал, что ты можешь быть подрывником.

- Он великолепный подрывник, - заверил я. - Настоящий сапер и на фронте командовал саперами. Я прикрывал его саперов своим взводом и видел их работу.

- Верно? - обрадованно, хотя все еще с ноткой сомнения, переспросил Валлон.

Георгий досадливо поморщился: уже привык к тому, что в его проворстве и ловкости сомневались.

- Верно... Учился строить, а научился разрушать... Как отмечали мои начальники, делал это быстро, точно и экономно, за что был удостоен "звездочки".

- Звездочки?

- Это орден Красной Звезды, - пояснил я.

Валлон продолжал рассматривать моего друга с интересом и недоумением.

- Жили мы в концлагере нечеловечески тесно, - вспомнил он вдруг, - а соседей своих не знали. Я знал хорошо только Самарцева. Он был членом интернациональной пятерки и руководителем советских коммунистов в лагере, и мы встречались с ним, чтобы обсудить дела. Иногда я говорил с тобой, улыбнулся он мне, - да и то больше потому, что ты приставал ко мне. Других почти совсем не знал.

- И мне показалось, что и не очень хотел знать, - вставил я.

- Верно, не очень хотел, - согласился вопреки моему ожиданию Валлон. - Я руководил франко-бельгийской партийной группой, как Самарцев вашей, и должен был держаться от русских подальше, чтобы не привлекать к себе внимание охранников. Сближение с советскими людьми само по себе было в лагере преступлением, и я невольно мог поставить под удар свою группу. У коммунистов были на этот счет строгие правила...

"Коммунисты... Коммунисты", - повторял я про себя и снова с особой отчетливостью вспомнил ту группу, которая держалась тогда около Самарцева. Это были Егоров, Медовкин, Шалымов, погибший на виселице, Скворцов, умерщвленный в "медицинском блоке", Жариков. В трудные часы, особенно перед казнью, которая совершалась с арийской аккуратностью по понедельникам и пятницам между шестью и семью часами, группа рассыпалась по бараку, поддерживая напуганных и подавленных заключенных. Они сдерживали тех, кто рвался к безнадежной драке с охранниками, и ободряли готовых впасть в отчаяние. В их спайке, несмотря на разность возрастов, характеров и склонностей, в четкости усилий было что-то такое, что заставляло меня думать: "Наверно, коммунисты".

Самого меня приняли в партию на фронте, хотя партбилет не успели выдать. Прошло некоторое время, прежде чем я осмелился рассказать об этом Самарцеву. Тот одобрительно улыбнулся.

- Я так и думал, что ты с нами.

- Только у меня нет партбилета, - сконфуженно объявил я и, вспомнив, что тут ни у кого нет партбилета, поспешно добавил: - Вообще не было партбилета. Не успели выдать, в плен попал.

Василий положил руку на мое плечо и тихонько пожал.

- В нашем положении партийность определяется не партбилетом, а поведением. Надо действовать, думать, чувствовать, как коммунист...

Я старался действовать, думать и чувствовать, как, на мой взгляд, мог и должен был коммунист. Образцом для себя я выбрал Самарцева. Но у меня не было его способностей, поэтому попытки следовать примеру Василия оказывались часто только жалким подражанием.

- Я знал, что в лагере были коммунисты, - сказал я Валлону, - но не причислял тебя к ним. Уж очень несерьезно вел ты себя.

- Несерьезно? - живо переспросил бельгиец с явным удовольствием. Значит, мне удалось выбрать надежную маску, которая обманула и вас и охранников. Выжили в лагере только те, кто сумел обмануть врага. А это часто много труднее, чем одолеть его.

- Я бы не сказал этого, - вмешался в разговор Дюмани. - Мы

здесь вот успешно обманываем немцев, а одолеть никак не можем, потому что тут нужна сила, большая сила...

- Думаю, и с малой силой можно многое сделать, - поспешно подхватил Валлон и с горячностью, которая свидетельствовала о том, что бельгийцы продолжают неведомый нам спор, добавил: - Конечно, наших сил мало, чтобы одолеть врага, но их - я это говорил и повторяю - достаточно, чтобы нанести большой вред. И тут опять-таки нужна не столько сила, сколько хитрость.

- Как ни хитри, а одному человеку с тремя никогда не справиться, возразил Дюмани. - У них же не три против нашего одного, а тридцать. Тридцать, понимаете?

Дюмани повернулся к нам, точно призывал поддержать его в споре с Валлоном. Тот щурил свои сверкающие черные глаза и насмешливо складывал тонкие губы.

- Ты продолжаешь думать с прямотой военного, Анри, - мягко, но все же немного иронически заметил он. - Военные по-прежнему подходят к битве, как к кулачному бою. Если против тебя стоят трое, то, чтобы одолеть их, нужны шестеро. В этом весь смысл военной стратегии. Мы, штатские, то ли по своему невежеству, то ли еще почему считаем, что если ударить со спины, да неожиданно, да еще заорать как-нибудь особенно страшно, то и одному с шестерыми можно справиться.

Кадровый военный только пожал плечами и усмехнулся: как ответишь на этот детский вздор?

- Видите, - вдруг обратился к нам Валлон, вовлекая в свой спор. - Я доказывал... - он остановился, будто не знал, говорить нам, где он доказывал, или не говорить, видимо, решил, что лучше не говорить, и только кивнул головой куда-то в сторону. - Я доказывал, что мы можем здесь, в Бельгии, точнее говоря - тут вот, в Арденнах, помочь нашим русским друзьям в той решающей схватке, которая развертывается сейчас в центре России.

- А что там? Какая схватка? - почти в один голос спросили Георгий и я.

Валлон досадливо посмотрел на нас: зачем перебили? Но, поняв наше волнение, объяснил:

- Там, как говорят, развертывается самое большое за эту войну сражение. Оно может решить исход войны. С обеих сторон брошены огромные силы. Гитлер снимает дивизию за дивизией отсюда, из Франции, и поспешно перебрасывает в Россию.

- Мы знаем номера дивизий, снятых отсюда, - подтвердил Дюмани с точностью военного. - И знаем, куда они направляются: на Днепр, на Украину, до Киева. Чтобы ускорить продвижение, немцы остановили весь транспорт в западном направлении. Можно сделать вывод, что командование весьма срочно

нуждается в перебрасываемых частях.

- Именно сейчас, - продолжал Валлон, - один стрелочник-инвалид может задержать на несколько часов целую дивизию, хотя на фронте для этого потребуются полторы или две дивизии.

- Видите, - снова повернулся к нам Валлон, - я доказывал, что сейчас мы можем помочь русским друзьям, если помешаем немцам перебрасывать свои войска на Восточный фронт. Мы не можем удержать их совсем, для этого сил у нас действительно мало, но можем задержать на время. В кризисное время даже задержка на несколько дней, иногда на несколько часов может оказаться полезной. Мое предложение не было принято, но и не было отвергнуто. Мне дали согласие на подготовку операции. Мы для этого и приехали сюда. Поэтому Шарлю приказано доставить в Марш людей, знающих подрывное дело. И я очень рад, что этими людьми оказались вы.

- Устругов, - уточнил я. - Сам я ничего не смыслю в этом деле. Но подрывников, наверно, придется прикрывать, а тут и я пригожусь...

Валлон, будто не заметив мою готовность, продолжал вопрошающе посматривать на Георгия.

- Как, Устругов? Можно рассчитывать на твою помощь?

- А что делать-то нужно?

- Мост на железной дороге Льеж - Аахен взорвать.

- На Маасе у Льежа?

- На Маасе невозможно. Там потребуются очень большие силы, чтобы блокировать гарнизон. Это нам не под силу. Есть другой, почти такой же важный мост, здесь, в Арденнах, через горную речку. Если его сбросить вниз, в пропасть, дорога будет закрыта на пятнадцать-двадцать дней, а может быть, даже больше, на несколько недель. Мы закупорим одну из очень важных железнодорожных артерий.

- Мост, конечно, охраняется?

- Охраняется.

- Охрана какая?

- Точно не знаем, но думаем, что наберем достаточно сил, чтобы справиться с ней, - сказал Валлон. - У нас здесь, в Арденнах, есть несколько боевых групп. Попытаемся установить связь с большим партизанским отрядом, который действует между Лярошем и Уффализом.

- С большим партизанским отрядом? - озадаченно переспросил я, подозревая, что Валлон говорит о нас.

- Мы не знаем, насколько он велик, - осторожно ответил он. - Известно только то, что партизаны разгромили полицейский отряд, посланный туда, и что у них есть пулемет. Пулемет очень

помог бы нам справиться с охраной у моста.

- Не хочется разочаровывать вас, - начал я, - но никакого большого отряда между Уффализом и Лярошем нет. Это наша группа, "братья-кирпичники", как зовет нас Шарль. Теперь к нам прибавились три новозеландских летчика, один из них тяжело ранен. Пулемет у нас действительно есть, только... авиационный, крупнокалиберный, и мы воспользовались им благодаря счастливой случайности: полицейские сами подсунули под него свои головы.

Оба бельгийца выслушали меня с удивлением и разочарованием. Слух о "партизанской победе" докатился до Брюсселя в невероятно раздутом виде. Они поверили в него, потому что очень хотели верить. Они не восклицали и не переспрашивали: отчет был слишком точен, чтобы можно было еще сомневаться.

- Тэк-с, тэк-с, - неопределенно протянул Дюмани. - Значит, одна из главных опор, на которых ты строил свой план, оказалась просто столбом дыма.

Обескураженный Валлон промолчал. Возражение пришло со стороны Георгия.

- Ну, я не стал бы называть нашу группу дымом, - тихо, но с ощутимой обидой заметил он. - Нас теперь там двенадцать человек, у нас шесть автоматов, правда, с небольшим запасом патронов, два карабина и пистолетов почти дюжина.

Валлон наклонился через стол к Георгию.

- Значит, согласны вместе попытаться сбросить тот мост в пропасть?

Георгий выпрямился и сжал губы.

- Это для меня не вопрос, если нашим помочь можно. Это не вопрос... Я бы хотел посмотреть тот мост, чтобы знать, что делать и к чему готовиться. Можно это?

- Конечно, - ответил Валлон, - конечно...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Утро, особенно погожее утро, всегда радует и вдохновляет, как обновление в природе, как приход весны. Сколько раз пытались мы уловить неуловимые изменения, совершающиеся на грани ночи и дня! Сколько раз каждый из нас видел наступление утра! И посветление неба, и редение мрака, исчезающего незаметно и все же ощутимо, и появление на востоке сначала алой, потом оранжевой и, наконец, золотисто-яркой полосы, которая растет, поднимается, захватывает полнеба, прежде чем выпустить из-за дальнего фиолетово-синего горизонта солнце. Сколько раз слышали мы пробуждение леса! Его птичий хор, который настраивается, как симфонический оркестр. Постепенно

нарастая, он вводит голос за голосом, ноту за нотой, становится с каждой минутой разноголосее и громче. Лесной хор приветствует восход солнца своей многозвучной, всегда повторяющейся и неповторимой, непонятной и волнующей симфонией. И дали, подернутые голубой дымкой, выступают яснее, как будто все отдаленное приближается, чтобы встречать утро вместе с вами.

Утренний воздух в Арденнах был чист и прохладен, и чем глубже вдыхали мы его, тем легче и радостнее чувствовали себя. Впервые за многие месяцы двигались мы по своей воле к пока еще неведомой нам цели, к действию, которое обещало принести помощь нашим друзьям и товарищам на далеком фронте.

Мы покинули "Голубую скалу" еще затемно, взобрались по знакомой лесенке в скале и углубились в лес, через который выбрались на глухую дорогу. Вел нас Шарль, предложивший Валлону проводить Устругова к мосту. Меня взяли не только за компанию. Валлон хотел, чтобы мы трое имели ясное представление о том, с чем придется встретиться при осуществлении его замысла, и даже составили план операции. Дюмани полагал, что одного Шарля было бы вполне достаточно.

- Он может составить хорошую карту расположения моста и огневых средств, а также подходов к ним. Я знаю его по армии: великолепный топограф.

- Карта картой, а свой глаз все же надежнее, - настаивал Валлон. - Мы поручим, пожалуй, прикрывать подрывников "братьям-кирпичникам". А почему бы нет? И нам будет лучше, и Устругову спокойнее: на своих всегда надежды больше.

Дюмани не возражал.

- Если Забродов согласен прошагать километров шестьдесят туда и обратно, пусть идет.

- Конечно, он согласен, - объявил Георгий. И хотя друг сказал именно то, что я думал, его поспешность немного покоробила меня. Правда, уже не раз говорил я "братьям-кирпичникам", что Устругов может и должен быть нашим старшим, что он должен иметь право решать иногда за нас. Но самому не понравилось, что Георгий решил за меня. Впрочем, тут я не был оригинален: многие, признавая за кем-то право руководить и решать, все же упрямо стремятся сохранить свою независимость.

- Очень хорошо, - поспешно заключил Валлон, не дожидаясь от меня ни возражения, ни подтверждения. - Отправляйтесь завтра же утром к мосту и осмотрите все...

- И не только осмотрите, - быстро добавил Дюмани, - но и проведите наблюдение за охраной. Сколько их? Где огневые средства? Когда меняется караул? Где и в каком состоянии отдыхают солдаты? Словом... - Он строго повернулся к Шарлю, и

тот немедленно вскочил на ноги и вытянулся. Словом, вы должны доложить нам послезавтра к вечеру или ночью обстановку у моста, а также ваш план операции.

- Есть доложить обстановку и план операции!

Мы и раньше подозревали, что Шарль не просто шофер у старого Огюста. И его "выпытывающий" разговор с нами в грузовике, и намеки на то, что тут, в Арденнах, "кое-что есть", и особенно отношение к нему старого Огюста свидетельствовали об особом положении Шарля. Догадывались, что шофер связан с какими-то силами в Бельгии, которые действуют против немцев. Встреча с Валлоном и Дюмани подтвердила догадку, хотя мы все еще не знали, что это за силы. Они были, наверное, близки к коммунистам, иначе Валлон не был бы тут. Они включали офицеров: Дюмани настолько выглядел кадровым офицером, что порою даже казалось, что погоны прямо-таки топорщатся под его штатским костюмом.

...Дорога была пустынна. За долгий летний день нам повстречались три или четыре пешехода да несколько подвод, запряженных маленькими выносливыми лошадками. Встречные с восхищением и симпатией кланялись: они принимали нас, молодых, здоровых, бодро шагающих в глубину гор, за своих парней, вырвавшихся из немецкого плена. Пожилой крестьянин с маленьким сморщенным лицом и вытекшим левым глазом поманил к себе и, покопавшись на дне тележки, извлек большой круг домашней колбасы.

- В лесу пригодится, - сказал он со смешком и подмигнул единственным глазом: знаю, что вы за птицы. - А хлеба по дороге у кого-нибудь попросите. Тут несколько дворов, и люди там не плохие, понимающие люди живут...

Шарль принял колбасу и поблагодарил крестьянина. Тот еще раз подмигнул своим единственным глазом.

- Не стоит, совсем не стоит. Будет туго - заглядывайте ко мне... По этой дороге, потом направо, потом еще направо и вдоль ручейка. Там мой двор...

Теперь уже все мы благодарили его: поняли друг друга без объяснений.

- Народ здесь хороший, - сказал Устругов, когда крестьянин отъехал немного. - Знают, наверно, что, попадись немцам, никому несдобровать.

- Да, народ тут хороший, - подтвердил Шарль.

- Этот крестьянин, - кивнул я назад, - принял нас за бельгийцев.

- Возможно, - неуверенно согласился Шарль. - Но я думаю, что он не поступил бы иначе, если бы принял всех нас за русских.

Для местных жителей русские тоже свои.

- Союзники?

- Не думаю, чтобы простые люди понимали эти дипломатические тонкости: союзники или не союзники. Они воспринимают все проще, естественнее. Ваш враг - наш враг и наоборот. Значит, все свои. К тому же наши люди издавна питали симпатию к русским.

Мы свернули с шоссе и пошли узкой и кривой лесной дорогой. Проложенная местными жителями, она вилась по лесу, безошибочно выбирая направление, спускалась в лощины, взбиралась на склоны, умело обходя топкие места и торчавшие кое-где скалы. Дорога подводила то к одинокому крестьянскому двору, прилипшему на опушке, то к кучке маленьких темных домиков. С разумностью, созданной опытом нескольких поколений, лесная дорога связывала эти дворы и домики между собой и всех вместе с внешним миром.

- Дорога ведет прямо к мосту? - спросил я Шарля, шагавшего впереди.

- Не совсем. Она ведет ко двору моего знакомого. Там живет один человек, на помощь которого можно рассчитывать. Он, наверное, уже знает многое из того, что нам нужно узнать.

- О мосте?

- И о мосте и о его охране.

- С той же целью, с какой мы идем?

- Надеюсь, да. Он воевал в Испании, военное дело понимает. Понимает, конечно, как штатский человек, оказавшийся на войне. Но, думаю, у него хватит сообразительности правильно оценить тот мост, правильно с военной точки зрения...

Одинокий крестьянский двор, к которому вывела дорога, стоял на высоком берегу, спускавшемся к быстрому ручейку почти отвесной каменистой стеной. С другой стороны к дому вплотную подходил лес, и стройные, могучие сосны окружали его надежным высоким частоколом. Небольшие окна с яркими наличниками смотрели прямо на открытый склон, по которому вела ко двору дорога. Посоветовав нам спрятаться в кустах, из которых можно наблюдать за домом, Шарль вышел на открытую дорогу один.

Большой лохматый пес, дремавший перед домом, встрепенулся и, нацелив в Шарля острую черную морду, громко залаял, поднимая тревогу. Не трогаясь с места, он лаял и лаял, заливаясь все ожесточеннее, пока хозяин не вышел из дому. Тогда пес со всех ног бросился вперед, чтобы остановить пришельца. Хозяин приложил ладонь козырьком к глазам, рассматривая Шарля, и, узнав его, побежал за собакой, приказывая ей

вернуться. Пес остановился, продолжая, однако, лаять, подождал хозяина и затрусил рядом с ним. И пока хозяин и гость пожимали друг другу руки, пес держался в стороне, не сводя с Шарля глаз. Он заворчал, подняв дыбом шерсть на затылке, когда мы, повинуясь призывному жесту Шарля, вышли из кустов.

- Рыцарь, сидеть! - приказал хозяин. - Свои.

Рыцарь сел, но настороженно следил за каждым нашим шагом, будто говорил: свои-то свои, да как бы чего-нибудь такого ни выкинули. Только после того как хозяин пожал нам руки, пес подошел, обнюхал нас в порядке знакомства и отошел на прежнее место.

Сопровождаемые Рыцарем, мы двинулись ко двору, напоминающему, как многие крестьянские дворы в тех местах, маленькую крепость. Большая каменная стена замыкала все надворные постройки. Из-за стены поднимались только крыши амбара, коровника и сеновала. Сеновал был покрыт почерневшими досками, они покоробились и потрескались, позволяя тому, кто находился там, наблюдать за подходами к дому. Мы, конечно, не подозревали об этом, пока не подошли почти вплотную.

- Забродов! Устругов! - вдруг закричал кто-то с сеновала. - Откуда вы тут?

Наверное, появление из-за угла пары немецких автоматчиков не произвело бы на нас такого парализующего эффекта. Мы остановились, будто ушибленные доской, сорвавшейся с крыши. Голос был знаком, фамилии произнесены с нормальным русским ударением (бельгийцы делали его на последнем слоге), и главное, вопрос задан по-русски. Ошеломленные неожиданностью, пялили глаза на крышу, где несколько черных досок стали содрогаться от ударов изнутри.

- Не ломай крышу! Не ломай крышу! - испуганно закричал хозяин. - Это свои! Свои!..

Рыцарь, встревоженный странным шумом на сеновале и тоном своего хозяина, разъяренно залаял, бросаясь на стену. Обитатель сеновала перестал колотить по доскам и затих, точно провалился в сено.

- Это он, - сказал хозяин, кивая на сеновал.

- Кто он?

- Поляк мой.

Поляк! И в Испании воевал! И нас знает! И по-русски говорит! Ну, как же мы не догадались сразу? Это же Стажинский. Конечно, Казимир Стажинский, спасшийся вместе с Валлоном.

Мы бросились к воротам, чтобы поскорее встретить его. Но Стажинский опередил. Выскочив за ворота, он бежал к нам,

выкрикивая:

- Устругов! Забродов! Спаслись! Спаслись! Черти... мои хорошие...

Несколько минут мы тискали друг друга и колотили ладонями по спинам, будто выбивали пыль, рассматривали, отодвигаясь, чтобы лучше видеть.

- А ты, Казимир, пополнел.

- Да и вы поправились.

Стажинский сосредоточенно всмотрелся в лицо Устругова и озадаченно пожал плечами.

- У тебя, Устругов, даже лицо какое-то другое стало.

- Какое другое?

- Я даже не могу сказать, но что-то новое в нем появилось. Более взрослым стал, что ли?

- Спасибо... Я и тогда не был ребенком, детей у нас в армию не призывают.

- Ладно, хватит о лицах. Лучше расскажи, - обратился я к Стажинскому, - как вы спаслись.

- Да нам ничто не угрожало, поэтому и спасаться особенно не приходилось.

- Но вы же потерялись там, на Рейне.

- Это вы потерялись. Мы успешно добрались до Голландии, высадились у леса, спрятали лодки и двинулись на запад.

- Сами? Без провожатых?

- Да, сами. Нас вел Крофт.

- Крофт?

- Да, Крофт. Помните, англичанин, худущий такой и нос торчком? Он прекрасно знает те места. Безошибочно вел нас по лесным дорогам, обходил поселки и перекрестки дорог, где могли быть немецкие патрули. Увидев городок издали, называл его и рассказывал, сколько в нем жителей, чем занимаются и что в нем интересного. Крофт почти откровенно хвастал своими знаниями, и мы поневоле начали допытываться, откуда он знает все это. "Любовь к географии", - говорит.

- Разве Крофт географ?

- Какой там географ? Разведчик, по-моему. Я догадался об этом, когда на глухом хуторе недалеко от Греве нас встретили важного вида люди, приехавшие в роскошном "мерседесе". С почтительной заботливостью они набросили на плечи англичанина дорогое пальто, нахлобучили шляпу и посадили в машину с занавешенными окошками. Вместо Крофта с нами остался приехавший в той же машине человек в охотничьем костюме. Он вел нас только до вечера того дня. Вечером на окраине какого-то городка нас подобрал грузовик со знаками

вермахта на бортах. В кузове грузовика были набросаны матрацы, на которые нам предложили лечь. Поверх положили что-то вроде второго дна, на это дно набросали каких-то вещичек, и грузовик покатил. Раза два или три машину останавливали, шофер орал, что везет армейский груз, угощал патрулей папиросами, рассказывал пару анекдотов и, пока солдаты хохотали, трогал и катил дальше. Так мы и оказались в Арденнах.

- Все здесь?

- Сначала все были. Первым ушел Валлон, ему надо было в Брюссель спешить. Поправившись немного, подался к себе во Францию Бийе. Калабутин прослышал, что под Лярошем есть русские, и отправился туда. Тут застряли только мы с Прохазкой.

- Прохазка тут? А где же он?

- Да он не совсем тут. Близко к этим местам. К одному помещику устроился. Сначала по двору работал: историк и литератор показал явные способности ухаживать за лошадьми. Теперь его повысили чином и перевели в дом. После того как немцев в России назад погнали, помещик изменил отношение к Прохазке. И что самое интересное - уже взял несколько уроков русского языка.

Шарль, не понимавший разговора и удивленно посматривавший на нас, потребовал объяснить, что заставило меня расхохотаться. Я рассказал.

- Бельгийский помещик готов изучать русский язык? - переспросил он и тоже засмеялся. - Он дальновиднее, чем можно было ожидать от помещика. Некоторые наши промышленники и банкиры пытаются сменить немецкую лошадку на какую-нибудь другую. Шлют письма в Лондон и Нью-Йорк, подсылают своих людей к нам с предложением финансовой помощи. Чтобы в будущем засчиталось им. Но помещик... Да еще в такой глуши...

- И помещики, даже в такой глуши, - повернулся к нему Стажинский, переходя на французский язык, - даже они почувствовали, что произошел перелом, и этот перелом не может не затронуть жизнь даже в глубине Арденн...

Мы тронулись к дому. Поляк вдруг остановился и попридержал меня.

- А где же Самарцев? И как теперь его ноги? Зажили?

Я опустил голову.

- Похоронили мы Самарцева.

Стажинский схватил меня за обе руки повыше локтя, крепко сжав, повернул к себе. Он посмотрел в мое лицо и тяжело вздохнул.

- Как же вы допустили это?

И в голосе его была горечь и такой откровенный укор, точно

смерть или жизнь нашего друга зависели от моей и Устругова воли. Как и в Марше перед Валлоном, я пробормотал виновато:

- Не уберегли, Казимир...

Он выслушал рассказ о смерти и похоронах Самарцева, смотря прямо перед собой тем сосредоточенным взглядом, который мы хорошо знали, потом, не сказав ни мне, ни Георгию ни слова, ускорил шаг, чтобы догнать хозяина и Шарля. У живых были свои заботы, и мы, переглянувшись, понимающе пожали плечами, вздохнули и заспешили вслед за ним.

Хозяйка, светлоглазая, светловолосая, невысокая, с длинными, не по-женски крупными руками, встретила нас на пороге и, пятясь, повела в дом. Она сладенько улыбалась, показывая очень мелкие и частые, как гребешок, зубы.

Муж сделал какой-то загадочный для нас, но понятный для нее жест, хозяйка ответила одобрительным кивком головы. Усадив нас за стол, накрытый пестрой клетчатой скатертью, тут же юркнула в дверь, коротко пообещав:

- Сейчас покормлю.

Пока она гремела за дощатой перегородкой посудой, ножами и вилками, хозяин ушел, сказав, что скоро вернется, Шарль приступил к допросу Стажинского. Знает ли он мост, что лежит километрах в шести отсюда через горную речонку на железной дороге, ведущей в Германию? Поляк знал мост. Присматривался ли он к этому мосту так, как следует присматриваться военному? Стажинский не был уверен, что присматривался к мосту, как следует военному, но присматривался внимательно. Что он может сказать? Поляк мог кое-что сказать, но не знал, что Шарля интересует.

- Можно ли подобраться к мосту незамеченным?

- Только метров на двести, максимум - на сто пятьдесят.

- Кто охраняет мост?

- Фольксштурмисты и немного эсэсовцев.

- Сколько фольксштурмистов?

- Тридцать. Может быть, тридцать два.

- Сколько эсэсовцев?

- Было шестеро. Один не показывается: болен или отпуск получил.

- Сколько человек постоянно охраняет мост?

- По четыре человека с каждой стороны. Только фольксштурмисты. Эсэсовцы охраны не несут, но обслуживают бункер с пулеметом.

- Где бункер?

- У самого входа на мост, недалеко от домика, где живут эсэсовцы.

- Что делают солдаты вне службы?

- Больше всего спят в своем бараке, стоящем у насыпи. Перед вечером ходят в соседний поселок в пивную. Эсэсовцы оставляют в домике одного, солдат остается примерно половина.

- Как далеко до пивной?

- Метров восемьсот...

- Можно ли отрезать пивную от барака и моста?

- Можно.

- Можно ли отрезать эсэсовский барак от моста?

- Думаю, нет.

- Можно ли блокировать барак?

- Трудно, но можно.

- Сколько потребуется людей, чтобы захватить мост и удержать его хотя бы на час?

- Если бы не было пулемета, то человек шестьдесят.

- С пулеметом?

- Человек сто.

Шарль остановился и вопрошающе посмотрел на нас: не хотите ли, мол, теперь вы попытать его? Я отрицательно мотнул головой.

- По-моему, все ясно.

Устругов нахмурился.

- А по-моему, ничего не ясно. Эти цифры ничего не дают.

- А что тебе нужно?

- Мне нужно знать, могу ли я и как подобраться к мосту, вернее - под мост, провозиться там двадцать, может быть, даже тридцать минут. Бой с фольксштурмистами меня не интересует. Это сейчас второстепенное дело. Я хочу только, чтобы не мешали мне.

- Незаметно подобраться к мосту можно только метров на двести, повторил поляк. - И чтобы снять охрану моста, придется дать бой.

- Ты думаешь, что охрану моста можно снять? - уже менее мрачно переспросил Георгий.

Вместо ответа Стажинский достал из кармана кусок бумаги и, положив на стол, разгладил обеими руками. Там красовались детски наивные рисуночки моста, речки, домиков, дороги и даже квадратик с вывеской "Пивная". Он показал казарму фольксштурмистов, домик эсэсовцев. Кудрявые завитушки, означавшие лес, вились совсем недалеко от казармы, домика и дороги.

- Из леса нетрудно будет перерезать дорогу, - сказал Стажинский, - и изолировать пивную. Другая часть изолирует казарму и домик эсэсовцев.

- А пулемет?

Поляк сокрушенно вздохнул.

- Пулемет может все дело испортить... Если только счастливый случай не поможет... Эсэсовцы иногда уходят в

пивную все.

- На счастливый случай рассчитывать нельзя, - сухо заметил Шарль. - В военном деле все должно строиться на прочной и верной основе. Случай можно принимать во внимание, но всерьез рассчитывать на него нельзя. Да, нельзя.

Бельгиец повернулся к Устругову.

- А что вы думаете?

Георгий отвел глаза, потом едва слышно пробормотал:

- Я хочу все сам посмотреть... Все сам...

Ч А С Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Мы провели у моста две ночи и день. Спрятавшись в кустах орешника, внимательно и долго рассматривали оранжевые фермы, повисшие над пересохшей летом речкой, белокаменные "быки", которые как бы несли их от черной дыры в скале к высокой насыпи по ту сторону речки. Постепенно понижаясь и как бы распластываясь, насыпь уходила к поселку у подножия лесистого хребта. Изогнувшись наподобие серпа, хребет, казалось, намеренно очистил место перед мостом, чтобы люди могли сделать насыпь, поставить по одну сторону ее кирпичный домик, по другую - дощатый барак, а в некотором отдалении выстроить даже маленький поселок. Мы обогнули по хребту эту естественную получашу, выискивая тропинки и спуски вниз. До боли в глазах всматривались мы в черный продолговатый рот бункера, плешина которого серела у самого входа на мост. Он был виден отовсюду, этот проклятый бункер, и, что еще хуже - смотрел, а значит, и мог стрелять почти во все стороны. От бункера к домику, где жили эсэсовцы, вел глубокий ход, и издали никак нельзя было помешать им достичь бункера через одну-две минуты.

Старательно отметили мы, когда и в каком порядке меняется караул у моста, проводили ненавидящими глазами сначала эсэсовцев, потом фольксштурмистов, отправившихся перед вечером в поселок, в пивную, терпеливо ждали, поглядывая на часы, их возвращения. Вернулись те уже в темноте, и мы не могли видеть, шли они группами, как днем, или вместе. Солдаты долго стояли на насыпи, громко разговаривая и смеясь. Вырывавшиеся с грохотом из тоннеля поезда заглушали на время возбужденные голоса.

Шарль набросал карту района моста, отметив подходы и возможные места скрытого сосредоточения нападающих. Он считал поручение выполненным и торопился в Марш, чтобы доложить Валлону и Дюмани. Георгию хотелось пробраться под мост, но Стажинский отговорил его. Днем это было невозможно, а

ночью опасно: попадешь на засаду - погубишь себя и весь замысел провалишь.

Немного отдохнув (поспав на сеновале Стажинского и позавтракав у его хозяина), мы направились той же дорогой в Марш и уже вечером встретились с Валлоном и Дюмани. В той же хозяйской комнате в "Голубой скале" мы доложили им результаты наблюдений и план нападения. На наш взгляд, это был хороший и вполне реальный план, но...

Это "но" было большим и многосторонним. Надо было собрать шестьдесят-семьдесят человек, вооруженных если не автоматами, то хотя бы карабинами и пистолетами. Иметь десятка два гранат, в том числе несколько тяжелых. Снабдить пулемет "братьев-кирпичников" треножником, чтобы подавить огонь бункера у моста.

Дюмани и Валлон выслушали каждое "надо", не перебивая и не переспрашивая, позволили выложить все доводы в пользу возможности и необходимости взорвать мост. Не обменявшись взглядами, они сидели, смотря перед собой, точно совершенно не интересовались этими доводами. Только тонкие длинные пальцы Валлона беспокойно выстукивали по столу, и в этом постукивании мне слышался вопрос: "Как же быть? Как же быть?"

- А поезда идут? - спросил, наконец, он, обращаясь почему-то ко мне.

- Да, поезда идут.

- Главным образом на восток?

- Только на восток.

- Сколько составов?

- Не знаю, - растерянно ответил я. - Я не считал, но много.

- Я считал, - доложил Шарль, - за сутки прошло семнадцать составов. И движение заметно увеличивается.

- Еще бы! - воскликнул Дюмани. - У Гитлера есть основание спешить. Лондон передал вчера, что положение немцев в том большом сражении, которое идет в Центральной России, становится с каждым днем все тяжелее. Для них свежие войска - все равно, что переливание крови для больного гангреной.

Валлон перестал барабанить пальцами, откинулся на спинку стула и в упор посмотрел на нас.

- Центр приказывает взорвать мост, - подчеркнуто спокойно сообщил он, заставив нас досадливо переглянуться. Мы напрасно горячились, доказывая то, что уже было решено.

- Получены сведения, - так же тихо произнес Дюмани, точно объясняя или продолжая мысль Валлона, - получены сведения, что немцы срочно сняли с бездействующего Западного фронта до десяти дивизий. Войска поспешно грузятся в эшелоны и

отправляются на восток. Головные эшелоны уже движутся на Шарлеруа, Намюр и Льеж.

- Центр приказывает взорвать этот мост как можно быстрее, - повторил Валлон. - В три-четыре дня, не позже.

- А сумеем подготовиться? - с некоторым сомнением спросил Шарль. Неудачная попытка испортит все дело. Немцы примут такие меры предосторожности, что потом уже ничего не сделаешь.

Дюмани строго посмотрел на него, потом на нас с Георгием.

- Неудачных попыток не должно быть.

И я не мог понять, то ли он разделял взгляд Шарля, что нужно хорошо подготовиться, не считаясь с необходимостью спешить, то ли просто предупреждал, что неудачу и неудачников не потерпят.

Приказ, отвечающий твоим желаниям, всегда воспринимается как веление собственного сердца, и мы с радостью приняли весть о решении неведомого нам "центра".

И тут же начали обсуждать наш план. Вернее, даже не столько план, сколько практические возможности его выполнения. Дюмани полагал, что можно без труда набрать шестьдесят-семьдесят человек, нужных для нападения. Однако у него были серьезные сомнения относительно того, кто сумеет собрать рассеившиеся по лесам и горам группки в один крепкий, боевой кулак, подтянет вовремя к мосту и ударит как надо, то есть сильно, точно и молниеносно.

- Эх, Самарцева бы сюда, - со вздохом произнес Валлон, бросив на Георгия и на меня укоряющий взгляд. - Вот прирожденный вожак был! Умный, смелый, ловкий, хитрый. Вел за собой людей, и те даже не замечали этого: шли за ним, уверенные, что это он с ними пошел. Самарцев сумел бы...

Дюмани, слышавший, видимо, историю Самарцева не первый раз, поморщился:

- Конечно, Самарцев был бы, вероятно, самым подходящим командиром, но мы не сможем воскресить его. Поищем лучше среди живых, кто сумеет собрать и повести за собой лесных людей. Это очень нелегко.

- Вы думаете, что с ними трудно будет найти язык? - спросил Устругов.

Дюмани повернулся к нему:

- Думаю, что нелегко.

- Не пойдут?

- Дело не в том, пойдут или не пойдут. Пойдут. Но пойдут за тем, кого признают своим руководителем. Люди эти, как сами знаете, бежали из немецких лагерей, из бельгийских шахт и

люксембургских рудников, со строительства укреплений во Франции. Есть среди них и беспомощные и случайные, но в большинстве это очень самостоятельные люди. Я видел некоторых, говорил с ними. В группках уже выявились свои руководители. Каждый из них готов отстаивать свое положение против всяких попыток навязать ему волю кого-то. Стремление других направить их усилия в какое-то определенное русло, придать им единое направление воспринимается как обуза, как подавление свободы.

По своему опыту Дюмани знал, что руководитель вольных людей должен быть магнитом, к которому устремляются и вокруг которого, как железные опилки вокруг магнита, собираются люди. И он должен быть избранником их: этой вольнице вожака никакой силой не навяжешь, они просто покинут его, как только разочаруются.

Среди известных ему в Арденнах людей Дюмани не видел ни одного, кто мог бы повести эти группы. Среди русских он знал три-четыре человека, которые заслуживали внимания. Руководитель группы под Ляорошем Лобода был смел, силен, но более упрям, чем сметлив и находчив. Группа горой стоит за него и пойдет, куда он поведет. Но руководить другими группами не сможет: неразговорчив, грубоват, и людям надо долго присматриваться к нему, чтобы понять его хорошие качества и довериться ему.

Руководитель другой группы, Химик (между собой ребята зовут его Сашей), умнее Лободы, с большей силой воли, которая позволяет ему держать группу в беспрекословном повиновении. Его побаиваются, но не любят. Даже эти люди, у которых нет и не может быть добрых чувств к немцам, поражались жестокости Химика, когда в его руки попадали немецкие полицейские.

Был еще Дядя, здоровенный детина, вокруг которого собралось человек десять-двенадцать. Парни прозвали его Дядей, хотя по возрасту он едва ли был старше многих из них. Это был сильный, выносливый, общительный и, несомненно, добрый парень, не очень далекий, но с разумной практической хваткой и золотыми руками. Дядя умел делать почти все, и делал старательно, добротно, красиво. Крестьянки, оставшиеся без мужей и сыновей, охотно приглашали его, присылая порой своих посланцев издалека. Вырвавшись на волю, беглецы, прослышав каким-то чудом о Дяде, направлялись к нему. Тот принимал, кормил, переодевал, затем пристраивал на жилье где-нибудь поблизости.

Больше всего к роли руководителя подходил Хорьков, или, как звали его ребята между собой, Хорек. Этот бывший капитан

Красной Армии был вожаком тесно спаянной группки. Волевой и хитрый, он знал слабости людей и умел использовать их: одним льстил, других запугивал, третьих соблазнял приманкой. Сделал себя необходимым для каждого, и все как бы приросли к нему. Но внутри самой группы нужной спайки нет: выдерни самого Хорька - и группа рассыплется, как ожерелье без нитки.

Дюмани называл имя за именем и с военной лаконичностью давал характеристики. И чем больше имен называл он, тем больше радовался я, невзирая на то, что характеристики не были особенно привлекательными и вряд ли соответствовали истине. Я выхватывал из его рассказа и запоминал только хорошее. Мне нравилась смелость и упрямство Лободы, и твердая жесткая рука Химика, не жалеющая врага, и гостеприимство Дяди, видимо заслуженно получившего такое прозвище, и умение Хорька стать для своих людей тем самым магнитом, о котором говорил Дюмани. Больше всего меня радовало то, что здесь, в горах и лесах Арденн, почти в самом центре Европы, собрались и действуют группки и группы советских людей, вырвавшихся из немецкой неволи. Мы еще не видели и не знали своих товарищей, но сердцем чувствовали, что они также готовы внести свою долю в общую борьбу. Я ни минуты не сомневался, что наши ребята пойдут к мосту. Кто будет командовать, меня не интересовало. Свои люди сумеют договориться.

- Это, однако, не самое сложное, - продолжал Дюмани, будто перехватив мои мысли, - русские, наверное, договорятся между собой. У нас здесь несколько бельгийских групп, и каждая со своим руководителем. В западной части прячутся две или три французские группы, в южной - люксембургские. Голландские друзья дали знать, что готовятся к активным действиям в районе Маастрихта и что прятаться им придется также в Арденнах.

- Я думаю, что напрасно поднимаем сейчас этот вопрос, - мягко заметил Валлон. - Раз этой вольнице командира нельзя назначить, то лучше всего позволить самой избрать его. В наших условиях командир будет выкован, если говорить фигурально, в огне боев.

- А до боя? Кто хочет и как хочет?

- Да, кто хочет и как, об этом сами договорятся.

Обратившись ко мне, Валлон спросил:

- Как, Забродов, договорятся?

- Конечно.

- Ну и хорошо. Думаю, так и сделаем: поручим Шарлю, Устругову и Забродову операцию против моста. И пусть берут в помощь, кого сочтут нужным. Со своей стороны, обеспечим взрывчаткой, дадим немного оружия. Гранат, - он тронул меня за

руку, - гранат не дадим, нет у нас гранат... Но зато дадим такую горящую жидкость, которая все выжигает и может против бункера оказаться более сильной, чем гранаты. И придется обойтись без пулемета: не успеем треножник сделать...

Валлон попросил Шарля позвать Жозефа, который также исчезал эти дни куда-то и заявился в "Голубую скалу" перед нашим приходом. Парень ввалился в комнату взъерошенный, помятый и краснолицый. Однако сонливость его прошла быстро, и уже через несколько минут он сидел с таким видом, будто вовсе и не спал. С понимающей веселой ухмылкой Жозеф выслушал поручение отправиться утром в условленное место и доставить условленный груз. Он подмигнул мне: как, мол, не секретничайте, я все равно знаю, что тут замышляется, одобряю замысел и готов содействовать ему.

Жозеф уже собирался вновь вернуться на чердак, когда дверь в углу открылась, и старый Огюст, не появляясь пока из мрака, спросил, можно ли подавать. Валлон ответил, что теперь можно, и сделал парню знак рукой сидеть на месте. Тот сразу сообразил, что предстоит, довольный опустился на стул и даже отвалился на спинку.

Хозяина, вооруженного большой черной бутылкой, сопровождала Аннета, которую мы не видели в этот приход. Она исчезала куда-то, и на мой вопрос о ней тетка ответила таким неприязненным молчанием, что я поспешно извинился и больше уже ничего не спрашивал. Нагруженная тарелками, девушка остановилась перед столом и скользнула внимательным всеохватывающим взглядом по лицам мужчин. Ее синие глаза, ставшие ночью еще более глубокими, задержались на лице Устругова и, встретив его взгляд, вдруг вспыхнули почти неуловимым светом. Валлон заметил это и улыбнулся.

- Вижу, Устругов покорил сердце не только моего старого друга Огюста, но и Аннеты. Да и сам как будто в плен попал.

- Нет, он пленен не Аннетой, - решительно опроверг Жозеф.

Валлон, желавший, вероятно, несколько разрядить напряженную атмосферу, созданную разговором, живо повернулся к парню.

- Кем же он пленен?

- Он пленен Мадлен.

- Перестань ты сказки рассказывать, - перебил его хозяин. - Пленен, не пленен - все сказки...

Устругов тяжело завозился на своем стуле. Он старался не смотреть ни на кого. Краска, возникшая на его щеках ярким пятном, медленно расползалась по всему лицу, пробиваясь через загар. Шарль, сидевший рядом, ободряюще тронул его за локоть.

- Женский плен, - сказал он с усмешкой, - единственный плен, с которым можно примириться.

- Только на время, говорит мой дядя, - быстро вставил Жозеф. - Мой дядя холостяк, но женскую натуру очень хорошо знает, и он говорит, что если побудешь в женском плену долго, то волком взвоешь, о побеге днем и ночью мечтать будешь и сны о свободе начнешь видеть...

Все дружно рассмеялись, засмеялся и сам хулитель женского плена. Аннета легонько щелкнула парня по затылку.

- Дядя твой и ты набиты мудростью, как куриный желудок песком. Только пользы от вашей мудрости мало.

- Польза очень даже есть, - с веселой уверенностью провозгласил Жозеф. - Меня уже раза два пытались заарканить и под венец потащить, но я вовремя и умело вывернулся, потому что дядя надоумил.

Старый Огюст налил рюмки, подвинул тарелки с ветчиной, сыром и хлебом поближе к гостям, поднял свою рюмку нерешительно, точно не знал, стоит ли пить или не стоит. Гости тоже подняли рюмки, выжидательно посматривая на него: не скажет ли чего? Но хозяин ничего не сказал, и мы выпили молча. Следующую рюмку поднял первым я.

- За нашего хозяина, храброго и радушного человека.

Все потянулись рюмками к старику. Тот охотно чокнулся, но когда очередь дошла до меня, укоризненно пробормотал:

- Не понимаю только, при чем тут храбрость?

- Ну как же при чем! - начал было я, но Георгий перебил меня:

- Конечно, храбрость. Вы же рисковали, когда немцы ночевали тут, внизу, а мы - наверху, и столкнись мы с ними... тут...

- Риск небольшой, - в свою очередь, перебил его хозяин. - Немцев было трое, и вас трое.

- Нас двое было, - поправил его я, но он решительно вскинул свою кудлатую голову.

- Нет, трое. Вы двое и Шарль. Вы ведь справились бы с жирными тыловыми крысами.

- Мы-то справились бы, - объявил Георгий. - Но потом-то немцы выместили бы свою злость на вас.

Старик усмехнулся, показав крупные зубы, и махнул рукой.

- Пока они собирались бы свою злость на мне срывать, нас бы и след простыл.

Устругов одобрительно, даже с восхищением закивал головой, затем, точно спохватившись, поспешно разлил в рюмки вино и тут же поднял свою.

- За эту замечательную семью, которая приняла нас как родных...

Хозяин посмотрел на Георгия пристально и благодарно. Отец и дочь были польщены и смущены вниманием. Схватив поднос, девушка исчезла в сумраке дальнего угла, старый Огюст сидел, положив на стол большие руки.

Видимо, стремясь отвлечь разговор от них, Дюмани спросил Устругова, где он так хорошо научился говорить по-французски. Георгий коротко ответил, что начал изучать французский язык в институте, продолжал в концлагере и усиленно наверстывал упущенное в последние месяцы здесь, в Арденнах. Дюмани удивился тому, что в советском инженерно-строительном институте изучали французский язык.

- Я был убежден, что ваши инженеры бредят американской или немецкой техникой и изучают, конечно, английский или немецкий.

- Бывают же исключения, - коротко ответил Устругов, не желая объяснять подробнее.

- Я вижу, - чуть насмешливо отметил Дюмани. - За этим исключением что-нибудь кроется?

Мой друг ответил не сразу, даже с некоторой растерянностью:

- Увлекся Карбузье.

- Карбузье? Вот этого я понять не могу, - воскликнул Дюмани. - Видел его дома во Франции. По-моему, это тихое помешательство, воплощенное в железо, камень и стекло.

Иронически усмехаясь, Валлон положил руку на его локоть.

- Ну, зачем же так резко? Люди всех профессий охвачены поисками новых идей, новых форм. Почему бы и архитекторам не искать?

Дюмани резко повернулся к нему.

- Потому что архитекторы строят дома, в которых люди вынуждены понимаешь? - вынуждены жить. Человек может остановиться на пять секунд перед модернистской мазней на полотне (это ты называешь поисками новых идей и форм?), посмотреть, плюнуть и отойти. Может выключить радиоприемник, чтобы избавить свои уши от терзаний современной музыкой. Может не читать заумных стихов и жить припеваючи. Но он не может покинуть модернистский дом и жить на улице. Тут архитектор бессовестно принуждает принимать его дикую фантазию.

- Не все так плохо у Карбузье, - возразил Устругов. - Архитектура так же развивается, как и все виды искусства. Никто не захочет жить в домах, построенных в средневековом стиле.

Людям нравится свет, поэтому в новых домах много света.

- Но нельзя же все стены делать из стекла, как делает Карбузье! насмешливо напомнил Дюмани.

- А почему бы нет? - запальчиво переспросил Георгий. - Стекло - это значит солнце в жилище, а чем больше солнца, тем лучше.

Валлон смотрел на споривших и, подмигивая мне, беззвучно смеялся. Горячность Георгия была понятна мне: он снова возвращался к своей любимой теме. И в концлагере, и во время побега, и особенно здесь Устругов вспоминал о своем любимом деле, которым ему не позволили заняться. Во время наших скитаний, когда попадался какой-нибудь интересный домишко, он замирал перед ним, восторгаясь и даже смакуя, хотя я, откровенно говоря, не видел в нем ничего особенного. Георгий ругал меня за невежество и жаловался, что не может найти человека, с кем мог бы отвести душу. Спор с Дюмани вдруг оживил его и взволновал. И хотя спорили оба запальчиво, иногда подковыривали друг друга, разговор об архитектуре сблизил их.

Нам пришлось остановить их, напомнив, что время позднее и что всем пора спать. Стараясь успокоить спорщиков, Валлон заметил:

- В эту войну разрушено так много, что любой стиль, любая форма дома будут приняты и одобрены жильцами, если только дадут им крышу над головой.

Спорщики посмотрели на дилетанта с усмешкой, хотели было возразить, но, вспомнив о чем-то, помрачнели оба. Валлон невольно напомнил всем о том большом и очень важном, ради чего собрались мы все здесь, на окраине маленького арденнского городка. Мы готовились не к созиданию, а к разрушению созданного другими и были полны ожесточенной решимости разрушить то, что наметили, разрушить даже ценой собственной жизни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Почти весь день шел дождь. Он начался рано утром ливнем с грозой и почти сразу вымочил всех до последней нитки. Хотя можно было укрыться под деревьями с их большими и плотно-зелеными кронами, никто не покинул лесной дороги. Люди подставляли свои разгоряченные ходьбой лица бодрящим струям и хохотали.

- Вот бузует, вот бузует! - восхищенно кричал Аристархов и взмахивал рукой, точно звал кого-то сверху. - Давай, давай!

- Радуется, садовая голова, - с ласковым укором показывал на него Мармыжкин. - А чего радуется? Сейчас самая рабочая пора, когда день год кормит, а какая польза от дождя в такое время?

- Разверзлись хляби небесные! - воскликнул Сеня. - Жатва тут или не жатва, небу до земных забот нет никакого дела.

- Философия! Фи-ло-со-фи-я!..

И даже торжественно надутый Деркач, надевший вопреки нашему желанию офицерскую форму и шагавший с такой четкостью, будто вел роту на глазах командира дивизии, весело повернулся ко мне, когда на черном небе заблистала сине-белая веточка молнии, с мальчишеским азартом скомандовал:

- Беглый огонь!

И, точно повинуясь приказу, впереди, над хребтом, к которому мы двигались, покатились, догоняя друг друга, артиллерийские выстрелы: трах-трах! И чуть полегче, как эхо: тах-тах!

Дождь оживил, взбодрил и даже взбудоражил уставших от длительного перехода "братьев-кирпичников". Мы покинули барак на кирпичном заводе еще вчера, шли почти весь день и всю ночь. Не доходя примерно семи-восьми километров до моста, рассчитывали остановиться в лесу, выспаться, а перед вечером, отдохнув и набравшись сил, занять исходные позиции, чтобы с наступлением темноты атаковать мост. Жозеф, заявившийся в барак с пятью своими товарищами, вызвался идти с нами. Я попытался уговорить их не встревать в это сложное и опасное дело. Парни были молоды, военного опыта не имели, помощи большой оказать не могли. Смерть кого-нибудь из них только ухудшила бы наше положение здесь: родители убитых будут винить русских. Я советовал Жозефу оставаться дома.

- Нет, пойдем с вами, - настаивал парень. - Пойдем с вами.

- Хорошо, - согласился я. - Идите с нами, но только до места сбора. Там вы перейдете в бельгийскую группу Шарля. Ей поручается отрезать поселок от моста.

- Нет, мы пойдем только с вами, только с вами...

Новозеландцы, заметив необычное возбуждение "братьев-кирпичников", а затем сборы, потребовали у меня объяснений. Я сказал, что готовимся к одной операции, но деталей не рассказал. Гэррит коротко объявил:

- Мы тоже идем.

Радист Кэнхем, стоявший, как обычно, за его спиной, вытянулся и отчеканил:

- Да, мы тоже пойдем.

Их готовность радовала, хотя я не видел большой пользы от летчиков в этой сугубо наземной операции.

- Вы не можете уходить отсюда, - сказал я. - Ваш товарищ нуждается в помощи, а мы вернемся не скоро. Может быть, и совсем не вернемся.

- За навигатором присмотрит ваш пожилой товарищ, - быстро ответил Гэррит, кивнув в сторону Степана Ивановича, жаловавшегося на слабость в ногах. - А если не вернемся... Что ж, многие из наших друзей уже не вернулись, а чем мы хуже или лучше их?

Новозеландцы не хотели сменить военную форму на штатские костюмы, которые им предлагали. Возможно, опасались попасть в немецкие руки. Военная форма гарантировала в плену определенные права, штатский же костюм превращал в простых "бандитов". С "бандитами", как именовали немцы партизан, разговор был короткий: их тут же расстреливали. Я знал это и настаивать на переодевании не стал: пусть поступают, как находят нужным.

Намерение летчиков идти в форме дало Деркачу повод вытащить и поспешно надеть свою. И как я ни убеждал его, отказался снять форму.

- Если новозеландцы идут в своей форме, почему я не могу пойти в своей? - раздраженно недоумевал он.

- Но мы же все в штатском.

- Это потому, что не позаботились о своей форме. А если бы у всех была форма, мы отправились бы к мосту одетыми, как полагается отряду Красной Армии. Не иначе. И у немцев от одного нашего вида глаза на лоб полезли бы...

Меня поддержали Устругов, Аристархов и Огольцов. Но бывший лейтенант не хотел слушать никаких доводов.

- Через деревни и поселки проходить все равно не будем, - возражал он, - и я своей формой никого не демаскирую. Я хочу идти в бой, как полагается по уставу...

И действительно, Деркач шел "как полагается": подтянуто, легко, с суровой готовностью выполнить свой долг. Огольцов начал было подтрунивать над "уставной душой", но Георгий оборвал его. В упрямстве Деркача было что-то хорошее, постоянное, незыблемое, что создает основу дисциплины и порядка. Конечно, он был недалекий, этот поклонник порядка и дисциплины, но, безусловно, надежный человек.

Ливень не только вымочил нас. Горные лощины и пади захлебнулись вдруг водой, пересохшие ручейки с белыми камнями на дне превратились в бурные мутные потоки, которые неслись с глухим клокотанием куда-то вниз, и нам приходилось искать переправы, тратя на это время и силы. Склоны, которые одолевали идущие, казались круче, тяжелей, ноги скользили и срывались. И когда, усталые и промокшие, добрались, наконец, до того места, где намеревались поспать и отдохнуть, мы не могли даже опуститься на землю: густая трава была мокра, вода

выступала из почвы, как из губки. А мелкий и теплый дождь, сменивший ливечь, продолжал сыпать. Монотонно и тихо шелестел он в листьях деревьев, навевая сон и тоску.

Некоторое время спустя пришли вместе группы Лободы и Химика. Они обитали почти рядом, ходили друг к другу в гости и на этот раз договорились двигаться и действовать вместе. Оставив своих ребят в сторонке, оба приятеля направились к нам. Шли неторопливо, вразвалочку, с таким видом, точно хотели сказать: идем к вам, а не подзываем к себе только потому, что пришли позже.

Они очень дорожили своей независимостью и, когда мы были у них с Георгием позавчера, пытались доказать, что не хотят признавать и не признают ничьих приказов.

- А мы не приказываем, мы просим помочь нам взорвать мост.

- Почему же мы вам должны помогать, а не вы нам? - блестя черными злыми глазами, спрашивал Химик. - Нас больше, и мы можем сами взяться за это дело.

- Конечно, мы можем и сами, - басил Лобода, посматривая на Химика то вопрошающе, то одобрительно. - Мы сами, а вы помогайте...

Как часто бывает в дружбе, эти двое мало походили друг на друга. Сибиряк Лобода был крупноголов и широкоплеч, самые просторные бельгийские рубахи были ему узки, ладони длинных рук походили на экскаваторные ковши, а для ног щедрые бельгийки не могли найти ботинок.

Химик, наоборот, был узкоплеч, с впалой грудью и мелким, хотя и красивым лицом, на котором все было пропорционально: высокий, но узкий лоб, небольшие острые глазки, красиво очерченный рот с тонкими губами, сложенными в насмешливую и пренебрежительную улыбочку. К своему сильному другу Химик относился покровительственно, а иногда надменно, бесцеремонно обрывал и отвечал за него даже тогда, когда обращались прямо к Лободе.

И сейчас, подходя к нам, Химик пренебрежительно осмотрел "братьев-кирпичников", утомленных, мокрых, грязных, обошел с недоумением и неприязнью новозеландцев и насмешливо остановился перед Деркачем. Потемневшая от дождя форма прилипла к худому телу лейтенанта, сделав его фигуру жалкой и смешной. Сунув ладонь в мою пятерню и не удостоив ответным рукопожатием, Химик вместо приветствия кивнул на новозеландцев.

- Что за зверье? Откуда?

Выслушав объяснение, усмехнулся.

- Охота была вам возиться.

- Бельгийцы же возятся с нами.

- Ну, мы другое дело.

- Нашел с кем сравнивать, - подхватил Лобода. - Какие-то новозеландцы и мы.

- У нас один враг, - напомнил я, - и мы ведь союзники.

- Сразу узнаю политрука, - насмешливо бросил Химик. - У них всегда и на все какая-нибудь фраза припасена, вроде разменной монеты в трамвае, и фраза такая же круглая, как пятак.

Химик явно задирал, готовый, видимо, "сцепиться", чтобы иметь повод еще раз подтвердить, что в операции против моста не они нам, а мы им будем помогать. Когда я сказал там, в его деревне, что не вижу разницы, лишь бы мост удалось в пропасть сбросить, он сердито фыркнул и изрек:

- Ну, раз нет разницы, тогда будем считать, что операцию против моста проводим мы, а вы помогаете.

- Хорошо, приходите на место сбора, а там посмотрим.

- И смотреть нечего, - бросил Химик.

- Чего там смотреть! - повторил за ним Лобода.

Однако тут они узрели кое-что, и это поколебало их петушиную самоуверенность. "Братья-кирпичники" вооружили себя автоматами и карабинами. Со своими пистолетиками в карманах новопришедшие выглядели почти безоружными. Химик сразу сообразил, что их шестнадцать пистолетов были детскими игрушками в сравнении с шестью автоматами. Оружие - а оно было лично добытой собственностью - определяло место и значение человека в бою.

- Автоматики... немецкие автоматики, - пробормотал Лобода, трогая пальцами то мой, то уструговский автоматы. - Достали-таки... А где? Как достали?

- Если действовать по справедливости, - мрачно объявил Химик, пряча, однако, глаза, - вы должны отдать половину автоматов нам. Иначе мы не сможем помочь...

- Как это не сможем? - переспросил Устругов. Говорил он тише и спокойнее, чем обычно, и это было верным признаком того, что Георгий сдерживает раздражение. - Как это не сможем?

- А так. Не можем же мы со своими жалкими пистолетами на немецкий бункер с пулеметом лезть.

- С автоматом на бункер тоже не полезешь, - стараясь быть спокойным, объяснил я. - Для бункера особая горючая жидкость приготовлена. К тому же мост и бункер мы на себя берем.

- Ну и берите, - зло бросил Химик. - Раз не хотите по-товарищески поделиться оружием, то и на помощь не рассчитывайте...

Он повернулся к нам спиной и пошел прочь. Лобода растерянно посмотрел ему вслед, перевел глаза на нас, затем опять на него.

- Саш, а Саш, ты куда? - прокричал он. - Куда ты, Саш?

Химик не ответил и не обернулся. Сибиряк облизал сразу высохшие губы.

- Ой, как нехорошо у нас получается! - сокрушенно пробормотал он, осуждая нас, себя, своего товарища. - Нехорошо.

- Хуже некуда, - подхватил Георгий. - Дело надо делать, а вы шантажом занимаетесь. Позавчера бучу целую подняли из-за того, кто кому помогать будет, сегодня автоматы наши захотели. Дай вам автоматы, штаны, наверно, потребуете. Не хотите помогать, катитесь к чертовой матери! И поскорее!

- Ты нас не гони, - сурово предупредил Лобода, - не гони. Мы сюда не на тебя любоваться пришли, и ты нами не распоряжайся.

- А за каким чертом вы сюда пришли? Автоматы клянчить? Сами добыть не можете, так шантажом у своих же отнять думаете? Не у немцев, а у своих. У немцев оружие добыть у вас кишка слаба...

- Ты нас не гони, - повторил Лобода раздраженно и растерянно. - Не имеешь прав ты нас гнать. Мост не твой, и мы пришли сюда не затем, чтобы с вами поцапаться да назад уйти. Мы за делом сюда пришли.

- Там, - кивнул я в сторону моста, - у немцев много автоматов. Разобьем их - у всех автоматы будут.

Лобода повернулся и побежал за своим другом, громко выкрикивая, чтобы тот остановился. Химик уходил, опустив плечи и не оглядываясь. Догнав его, Лобода рванул за плечо, повернул к себе и сказал что-то так тихо, что мы не расслышали.

- А иди ты... - Химик витиевато и смачно выругался, сбросил руку приятеля с плеча и пошел дальше.

Сибиряк постоял на месте, потом медленно двинулся к нам.

- Мои ребята... я... мы пойдем с вами к мосту и сделаем все, что нужно сделать, - смущенно и сердито сказал он. - Я пойду, и ребята пойдут. И Химика ребята тоже пойдут. Пойдут ребята, и Химик пойдет. Только с ним поговорить подушевнее надо.

- Мы не сваты, а он не невеста, чтобы уговаривать, - отрезал Георгий. - Уговаривать некогда, да и незачем... Хотите - идите, не хотите - к черту собачьему! Обойдемся...

- Не горячись, не горячись, - остановил я его. - Они погорячились, ты теперь горячишься. Расплеваться и разойтись легче всего, договориться по-хорошему труднее. Мы же все-таки свои люди.

Устругов резко повернулся ко мне:

- Тоже мне проповедник нашелся!

Я засмеялся.

- Химик считает меня политруком, а ты только в проповедники зачисляешь.

- Да ну тебя к черту! - уже беззлобно выругался Георгий. - Я серьезно, а ты все на шутки сводишь.

- А хороший политрук сейчас очень пригодился бы, - виноватым тоном заметил Лобода, посматривая то на меня, то на Устругова. - С ребятами нашими поговорил бы по-душевному, чтобы поняли, что к чему. Одичали мы тут немного.

- А сам-то ты понимаешь?

- Сам-то я понимаю, - ответил Лобода, - да с другими гладко говорить не умею.

- А ты поговори, как сможешь. В своей семье даже немого понимают, и ребята тебя поймут. Ведь понимали же до сих пор?

- Понимали. Чего ж не понимать меня? Я же не немой.

Лобода направился к своей группе, усевшейся тесной кучкой под дубом. Мы не слышали, о чем говорил он с ними, но видели, что его внимательно слушали. Только Химик выкрикнул что-то раза два или три, а потом тоже притих.

- Криком или приказом тут ничего не добьешься, - сказал я, кивая в сторону Химика, хотя целил в самого Устругова. - И людям этим свою волю не навяжешь, если она с их волей не совпадет. Хочешь за собой повести, сумей язык общий найти.

Устругов посмотрел на меня с насмешливым любопытством.

- Ты, кажется, промежду меня, как говорили у нас в институте, агитацию хочешь вести. Напрасно стараешься, самозванный политрук, если чин проповедника тебе не нравится. Я это и без тебя хорошо понимаю.

- А если понимаешь, то какого же дьявола действуешь по-иному?

- Как это по-иному?

- Орешь, к черту посылаешь, гонишь людей прочь.

- А по-твоему, уговаривать должен?

- Не уговаривать, а убеждать.

- Не вижу разницы.

- Не видишь, тогда уговаривай.

- Ты назвался политруком, ты и уговаривай.

Наш разговор был прерван появлением новых людей. Подобно "братьям-кирпичникам", они были мокры, грязны и утомлены. Это была группа капитана Хорькова. Узнав его, мы поспешили навстречу. Невысокий широкоплечий капитан был немного грузноват для своих тридцати двух лет, но двигался легко, даже изящно. Конечно, сейчас, утомленный, обросший,

мокрый, он выглядел скорее лесным разбойником, чем офицером, и понимал это.

- Видик у нас страшноватый, - пожимая нам руки, сказал Хорьков вместо приветствия. - И устали до чертиков. Надеялись тут поспать, а разве тут поспишь? Простуда обеспечена.

- Боитесь насморк схватить? - спросил с едва уловимой усмешкой Георгий.

- Конечно, - серьезно ответил капитан, - конечно. Насморк может серьезно помешать нам.

- Верно, - согласился Устругов, теперь уже откровенно посмеиваясь. Французские историки до сих пор уверяют, что Наполеон не одержал решающей победы под Бородино потому, что у него в тот день был насморк.

Только теперь Хорьков сообразил, что над ним посмеивались, и досадливо сдвинул к переносице свои необыкновенно толстые черные брови.

- Вы напрасно смеетесь, - заметил он. - Если схватим насморк и начнем чихать, то как сможем подобраться тихо и незаметно к охране на мосту? Или к бараку? Или еще куда? Едва ли вы будете смеяться, если ребята, с которыми поползете к мосту, начнут чихать один за другим...

Несколько устыженные, переглянулись мы с Георгием: и тут неудачно получилось. Капитан не стал наслаждаться нашим обескураженным видом. Сказав: "Одну минутку", - он повел своих людей повыше на склон. Там они наломали веток и положили на землю толстым слоем. Затем улеглись на них сами, тесно прижавшись друг к другу.

Капитан вернулся к нам и деловито осведомился:

- А бельгийцев еще нет?

- Нет, они придут попозже.

- Значит, и взрывчатки еще нет? И горючей жидкости?

И, не ожидая подтверждения, пояснил:

- Надо бы пораньше эту жидкость получить. В чем она? В бутылках? Удобны ли они для бросания? Тяжелы?

Ни я, ни Георгий не могли ничего сказать: не догадались спросить.

- Ну ладно, тогда подождем бельгийцев, - снисходительно объявил Хорьков. Он пошел к своей группе и пристроился спать.

- Да, Костя, в командармы мы с тобой не годимся, - со вздохом произнес Устругов после длительного молчания. - С одними поссорились, другого на смех попытались поднять, да сами в лужу сели. О самом важном спросить ума не хватило и товарищам своим даже такого пустякового совета, как наломать веток, дать не смогли.

- Командармы мы действительно неважные, - в тон ему отозвался я. - И то хорошо, что хоть сами поняли это.

- Способность человека утешать себя, - сказал Георгий, - может, наверно, соревноваться только со способностью его крови свертываться при ранениях.

- И то и другое, Гоша, очень полезно. Пошли-ка лучше к "братьям-кирпичникам" и сделаем то, что сделал Хорьков.

Спали недолго, но тем не менее сон освежил нас, и мелкий дождь, который продолжал лить, уже не угнетал, как утром. Мы совсем приободрились, когда увидели Шарля с бельгийцами. Нагруженные рюкзаками и небольшими ящиками, те двигались медленно и осторожно, как полагается людям, доставляющим либо очень ценный, либо опасный груз.

Между Шарлем и Стажинским шагал высокий щеголевато одетый человек. Заметив нас, он передал свой ящик Стажинскому и поспешил к нам, еще издали приветственно взмахивая рукой. Этого ему показалось недостаточно, он сорвал с себя шляпу и замахал ею. Только теперь узрев его высокий, с большими залысинами лоб, признали мы Прохазку и бросились навстречу ему. Историк и литератор не очень изменился на свободе, хотя, конечно, скулы уже не выпирали, как раньше, готовые прорвать кожу на щеках, и глаза не казались ввалившимися куда-то в глубину черепа.

Со своей обычной вежливой улыбочкой чех облобызал нас, осведомился, как живем, выразил "искреннюю радость", услышав, что живем неплохо, похвалил обоих за хороший вид и под конец объявил, что на этот раз нам не удастся избавиться от него, как избавились на том мосту, недалеко от лагеря Бельцен. Но теперь мы и не собирались делать это.

- Ну вот, теперь снова почти все собрались вместе, - с натянутой улыбкой объявил Прохазка. - Все, кто бежал из Германии: Устругов, Забродов, Стажинский, я. Калабутина я тут совсем недавно встретил, а про Бийе слышал, что он поправился и тоже в лесах где-то действует. Хаген и Крофт в Голландии.

Чех старательно пропускал имя Самарцева: знал, наверно, о его судьбе от Стажинского и избегал бередить наши раны.

Воспоминания о недавнем прошлом не могло быть приятным или вдохновляющим, тем более перед нападением на мост, и мы, не сговариваясь, почти сразу перешли к настоящему. Устругов начал расспрашивать Шарля, сколько и какой взрывчатки достали, какой длины шнур, не подмочили ли батарею.

Подошедший Хорьков сам представился говорившим по-русски Прохазке и Стажинскому и попросил меня познакомить его с Шарлем. Однако, кроме своей фамилии, не сказал ему ни

слова и тут же толкнул меня под локоть.

- Пусть жидкость горючую покажет.

Один из бельгийцев развязал рюкзак и вытащил небольшую картонную коробочку. В ней оказалась плоская, как фляжка, небольшая, но тяжелая черная бутылочка. Капитан подержал ее на открытой ладони потом стиснул пальцы и замахнулся, вызвав на лице бельгийца испуг.

- Ничего, бросать удобно, - определил Хорьков. - Посмотреть, как действует, было бы неплохо.

- Действие вечером посмотрим.

- Вечером поздно будет, - возразил он мне. - Оружие всегда до боя проверять надо.

Стажинский поддержал его. Шарль, выслушав пожелание капитана, нашел его вполне разумным: действия горючего он тоже не видел.

Мы спустились в низину, где росла высокая густая трава и ярко белели березочки. Капитан отошел в сторонку и, коротко размахнувшись, запустил бутылку. Она ударилась о березку, и почти в ту же секунду березка, обрызганная жидкостью, запылала. Затрещали нежные веточки, листья свертывались в маленькие черные трубочки. Огненные языки обвили обуглившийся в несколько секунд ствол. Задымила и густая мокрая трава. Даже находясь метрах в двадцати от этого страшного факела, мы чувствовали его горячее дыхание.

- Валлон правильно сказал: эти бутылки страшнее гранат, - напомнил Устругов. - Жидкость вползет в любую щель и выжжет все.

- Хорошая жидкость, - коротко оценил Хорьков.

- Союзники рецепт нам дали, - как бы мимоходом сообщил Шарль. - Из Лондона специальным курьером доставили...

После этого командиры групп отправились поближе к мосту, чтобы решить, как действовать. Мы остановились на вершине того самого холма, с которого наблюдали прошлый раз. Вся котловина, видимая обычно отсюда как на ладони, была заполнена теперь какой-то водянисто-серой массой. Из тумана едва различимо проступали лишь оранжевые фермы моста, все остальное тонуло в нем. Даже звуки прилетали оттуда неясными, приглушенными, словно пробившись сквозь стену.

И нам пришлось не столько показывать, сколько объяснять Хорькову, Лободе и Химику, где что расположено и как лучше всего подобраться к нашим целям. Два приятеля по-прежнему держались вместе, только роли их, как показалось мне, переменились. Лобода строго посматривал на своего друга и то жестом, то глазами командовал ему, и Химик мрачно, но покорно

подчинялся.

Мы договорились, как разделимся и будем действовать, чтобы отрезать пивную от барака, а барак от моста и бункера. Обсудили и то, как поступим, если охрана моста, напуганная дождем, не пойдет в поселок. Затем вернулись к месту сбора и стали ждать сумерек, чтобы двинуться всем к котловине и занять исходные позиции для нападения.

Все, конечно, волновались. Нас возбуждала неизвестность, в которую нам предстояло броситься через несколько часов. Тревожила опасность, ожидавшая впереди. И очень волновала скорая встреча с врагом, который принес всем столько горя, обид и страданий. Впервые за долгие месяцы нам представлялась возможность нанести ему удар.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

К вечеру дождь перестал, но небо не очистилось, и туман стал еще плотнее. Он поглотил вскоре и фермы моста. Даже подвинувшись вплотную к котловине, мы уже не видели ничего, кроме быстро густеющего мрака.

Коротко посовещавшись, мы решили послать к насыпи Стажинского с Жозефом и Яшей Скорым. Им поручалось наблюдать за дорогой к поселку и немедленно известить нас, как только эсэсовцы и фольксштурмисты отправятся в пивную. Однако прошел час, другой, а от Стажинского и его помощников не было ни слуху ни духу. Мы забеспокоились: уж не попали ли они на засаду и немцы схватили их, не дав вскрикнуть?

- Может, мне сходить туда, - сказал я Устругову, - и разузнать?

- Я думаю, что лучше всем идти туда, - сказал Георгий.

- К насыпи?

- Да, к насыпи. Перережем насыпь, оседлаем ее и двинемся к мосту.

- Примем, значит, второй вариант, - отозвался, скорее утверждая, чем спрашивая, невидимый во тьме Хорьков. - Атакуем фольксштурмистов в бараке.

- Теперь я за второй вариант, - объявил Георгий. - Я думаю, немцы все у моста. Если бы они прошли в поселок, мы знали бы об этом. Если захватили наших ребят, то в пивную уже не пойдут. Даже самые бестолковые догадаются, что те трое - разведчики.

- Может быть, немцы уже поджидают нас, - предположил Химик, - и мы в темноте напоремся прямо на засаду?

- Может, поджидают, а может, нет, - не то соглашаясь, не то возражая, вставил Лобода.

- На войне все возможно, - заметил Хорьков. - Темнота слепит не только нас, немцам тоже на ощупь действовать приходится.

- У них оружия и патронов вдоволь, - напомнил Химик. - Что им? Стреляй только, куда-нибудь попадешь.

- Это, конечно, большое преимущество, - согласился Хорьков и вдруг сделал почти прямо противоположный вывод: - Именно этим обнаружат они свое местонахождение. Тогда только смотри в оба да бей точно и быстро.

- Лучше подобраться поближе, - приглушенным басом посоветовал Лобода. - Подобраться и врукопашную броситься. Эти пузаны, наверно, о рукопашной только понаслышке знают, и, прежде чем сообразят что-либо, мы дадим им такую трепку, какой они еще не видывали.

- Верно, Лобода, это очень верно, - подхватил капитан. - С нашим оружием рукопашная - самое надежное дело.

Всматриваясь во тьму и отводя от лиц мокрые и прохладные сейчас ветки, спустились мы в котловину и двинулись в сторону невидимой насыпи. Шли медленно, настороженно, инстинктивно сгибаясь, точно опасались, что кто-то увидит нас, если пойдем во весь рост. Упершись в насыпь, остановились.

- Где же Стажинский? - спросил Георгий, тронув меня за локоть. - И Жозеф и Яша где?

- Где Стажинский? - повторил я, невольно передавая вопрос соседу. Вопрос прошел по цепочке и вернулся с ответом:

- Тут их нет...

Вероятно, разведчики лежали где-то вправо или влево от нас. Возможно, были именно "тут", но захватившие их немцы утащили в свой барак или в эсэсовский домик, где выбивали сейчас признания: кто они и откуда, с кем и зачем здесь.

У нас не было времени ломать голову над их судьбой. Вслед за Уструговым все взобрались на насыпь, на крепкое, утрамбованное полотно железной дороги. Постояли осматриваясь. Кругом была темь, только темь. И вдруг в этой темноте, там, где, по нашему предположению, был мост, засветились три странных и страшных глаза. Расположенные треугольником, они казались раскосыми и продолговатыми, точно пробивались в узкие щелочки едва раскрытых век. Глаза быстро приближались, увеличивая свой блеск.

- Поезд! - почти выкрикнул Шарль.

- Поезд! - подхватил Хорьков. - Вниз и в траву. Заметят посторонних тревогу на соседней станции поднимут.

Мы метнулись с насыпи, увлекая за собой щебень, и прижались к мокрой земле. С нарастающим грохотом поезд катился к нам, выставив перед собой желтоватые клинья света. Они выхватывали из тьмы полосатые столбы, заставили на короткое время засветиться изумрудом невидимые до того кусты

и понеслись к поселку. Стены крайних домов его выступили вдруг из мрака.

Мимо нас прогремел черный-пречерный паровоз, сверкнувший раскаленной топкой, за ним потянулись так-такающие на стыках вагоны, открытые платформы с чем-то громоздким и тяжелым.

- Танки, - определил Хорьков. - Танки и самоходные пушки.

- Опоздали мы, - сокрушенно заметил Георгий. - Такой бы эшелон вместе с мостом в пропасть запустить...

- Наверно, не последний, - сказал я. - Уберем охрану, можем так рассчитать взрыв, чтобы следующий поезд как раз на дно угодил.

- Рассчитаешь! - с сомнением возразил Химик. - Следующий эшелон может оказаться через сутки. Неужели мы тут целые сутки торчать будем?

- Любишь же ты каркать, - оборвал его я. - Трусишь, что ли? А если трусишь, не ходи, как-нибудь и без тебя обойдемся.

- А ты не распоряжайся, кому оставаться, а кому уходить, - проворчал Лобода. - Мы решили всем в это дело идти, и не тебе перерешать за нас.

- Пусть тогда Химик не каркает.

- И это, Забродов, не твое дело. Тебя командиром не назначали.

- Ладно, хватит вам, - досадливо прервал Хорьков. - Нашли время споры заводить!

- Ты тоже не приказывай, - буркнул в ответ сибиряк. - Тебя тоже командиром не назначали, а мы без тебя знаем, как себя вести надо.

- Ни черта ты не знаешь, - почти прикрикнул на него Георгий. - Немцы услышат...

Услышали его, однако, не немцы.

- Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант, - донесся из тьмы звонкий шепот Яши Скорого. - Вы уже тут, товарищ лейтенант? Ой, как хорошо, что вы уже тут!

- Яша! Почему ты здесь? Где Стажинский? Жозеф где?

Едва различимая в темноте фигура Яши подвинулась к нам. Не повышая голоса, он продолжал радоваться:

- Ой, как хорошо, что вы уже тут, ой, как хорошо!

- Ну, где же Стажинский? - тормошил его Георгий. - И почему ты один?

- Стажинский там, у колючей проволоки, - ответил Яша, показав куда-то через плечо. - И Жозеф там. А меня к вам послали, да я потерялся. Ходил-ходил, кричать боюсь, а дорогу не найду. Куда ни пойду, везде насыпь. А видеть мне вас очень

нужно, потому что Стажинский приказал весть важную передать.

- Что приказал передать?

- Немцы пронюхали что-то, в поселок совсем не пошли, а в барак собрались и как будто готовятся к чему-то.

- И что же сказал Стажинский? Он еще что-нибудь приказывал тебе?

- Еще он сказал, чтобы все поскорее к нему шли, а он наблюдать за немцами будет и, если что особое обнаружит, Жозефа пришлет.

- Жозеф, наверно, тоже, как ты, во тьме мух ловит, - проворчал Химик. - Разведчики... Дорогу назад найти не могут. Вам бы не в разведку ходить, а в жмурки играть.

- Да я... да мы... темь... - виновато забормотал Яша.

- Ладно, Яша, не трать время, это со всеми бывает. Где Стажинский?

Яша обескураженно молчал.

- Раз-вед-чи-ки...

Слева от железнодорожной насыпи, как мы знали по прежним наблюдениям, тянулась невидимая сейчас отвесная каменистая стена, созданная строителями дороги, срезавшими соседний холм. Впереди все ближе и ближе шумела река. Между нами и рекой находился барак, отгородившийся со стороны поселка двумя рядами колючей проволоки. Только на самой насыпи в этой ограде оставались маленькие воротца, которые охранялись круглосуточно. Через эти ворота мы намеревались проскользнуть к бараку и атаковать его.

Ушедший немного вперед Яша бегом вернулся к нам.

- Там проволока.

- Стажинский?

- Нет, его там нет. Да я и не искал его. Как только на проволоку наткнулся, так сюда побежал. Он где-нибудь тут. И Жозеф тоже.

Но разведчиков у проволоки не оказалось. Не решаясь громко звать их, пошарили рядом и, не обнаружив никого, всей группой пошли вправо, к насыпи. Она была тут высока и крута, дождь превратил ее глинистое плечо в мягкую скользкую горку. Поспешивший наверх Лобода шлепнулся и съехал на животе вниз, смачно выругавшись.

- Тише вы! Тише!

Тьма была настолько густа, что мы и теперь не могли видеть Стажинского, хотя сразу узнали его предупреждающе сердитый шепот. Я вздрогнул от неожиданности, когда поляк, появившийся из мрака, придвинул почти вплотную большое лицо, чтобы узнать меня.

- Наконец-то! - облегченно, но с укором проговорил он. - Я уже отчаивался увидеть вас снова, думал, что вообще раздумали нападать. Почему так долго не приходили?

- Посланец твой... - начал было Химик, но Устругов перебил его:

- Об этом после, после... Рассказывайте, что тут.

- Докладывайте обстановку, - уточнил Деркач, не признававший "штатского разговора".

Обстановка была до примитивности проста. Охрана моста не пошла в поселок. Наверное, побоялась дождя, а может, и чего-то другого. Узнать что-либо большее мешала тьма и колючая проволока. Стажинский мог установить только, что пост у ворот в ограде усилен: вместо двух там теперь три фольксштурмиста, к которым время от времени подходил четвертый. Возможно, это была случайность, но скорее всего намеренная предосторожность.

- Немного же вы узнали, - осуждающе заметил Химик.

- Немного, - с сожалением согласился поляк. - Да многого при такой темноте не узнаешь.

- Придется разведывать обстановку боем, - объявил Деркач.

- Нет, разведывать уже ничего не придется, - возразил Устругов. Нужно убрать этот пост и двигаться к бараку.

- А вдруг они все там наготове? - поспешно вставил Химик. - Они же перестреляют нас как куропаток.

- Могут, - односложно согласился Георгий. - Поэтому двигаться и действовать надо быстро и смело.

- Во тьме? - настаивал Химик. - По незнакомому месту, где не знаешь даже, куда ногу поставить?

Устругов не был расположен обсуждать неприятности ночной атаки. По той быстроте, с какой он реагировал на вопросы и замечания, по намеренной приглушенности, как бы сдавленности голоса я понимал, что его охватило нетерпение действия, когда все усилия устремляются к какой-то цели. В таком состоянии он переставал замечать трудности, действовал неосторожно, иногда опрометчиво, и его приходилось сдерживать.

Но в ту ночь Георгий был прав: только действие, быстрое и смелое, могло разрешить сомнения, надежды и опасения.

- Забродов, Лобода, - позвал он, касаясь каждого рукой, - со мной. Уберем пост, дадим всем знать, Казимир поведет нас.

- Я тоже с вами, - поспешно проговорил Хорьков. - Я тоже.

- Вам нельзя, товарищ капитан, - несколько торжественно, официальным тоном объявил Устругов. - Вы поведете остальных. С Деркачем. Бельгийцев пока не трогайте: пусть взрывчатку берегут. Угодит шальная пуля - все к черту полетит.

Стажинский отвел нас от проволоки шагов на десять и нашел

что-то вроде лесенки, выложенной камнем. Один за другим мы влезли на насыпь и, ступая по самой кромке, пошли за поляком. Часто останавливались, придерживая друг друга рукой. Всматривались и вслушивались. Но кругом была тьма, только тьма. И шум реки.

Словно сраженные беззвучной пулеметной очередью, мы повалились на рыхлую обочинку, когда впереди вдруг открылся зрачок карманного фонаря, стрельнувший ярким лучом. Лучик уперся в колья проволочной ограды, затем блеснул на рельсе и заскользил в нашу сторону. Горб полотна и рельсы отбросили его, сохранив нас в темноте. Светлое пятно сделало большой полукруг, потом вернулось обратно, задержалось на короткое время на ограде и исчезло: зрачок закрылся.

Теперь мы уже не решались подниматься на ноги. Предательский лучик мог возникнуть в любую секунду и вырвать нас из спасительной тьмы. Нам пришлось бы стрелять, чтобы не быть убитыми. Это всполошило бы охрану, заставив занять окопы перед бараком. И едва ли мы смогли бы выбить фольксштурмистов оттуда.

Песчано-глинистая обочина была рыхла и грязна, ползти было тяжело и неприятно, но мы не замечали этого. Впереди где-то почти рядом находились фольксштурмисты. Мы уже слышали их голоса и, одолев еще несколько метров вязкого пути, приблизились настолько, что могли уловить даже разговор.

Хриплый голос жаловался на то, что уже давно не имеет вестей от своего сына с Восточного фронта. Мать измаялась дома: "похоронки" боится.

- Там теперь, говорят, такая мясорубка идет, - сочувственно отозвался другой, - такая мясорубка, что не приведи господь.

- Чем только это кончится? Чем только это кончится? - повторял первый, и нельзя было понять, интересует его исход "мясорубки" или ожидание вестей от сына.

- Чем? - злорадно переспросил третий и сам же ответил: - Ясно чем: погонят нас из России так, что пятки будут сверкать, а напоследок такого пинка под зад дадут, что мы кубарем до самого дома катиться будем.

- Как же это так получается? - продолжал недоумевать хриплый голос. Вести плохие, а лейтенант только вчера в пивной говорил, что победа у нас уже, можно сказать, в кармане. Как же это получается?

- Там теперь такая мясорубка идет, - повторил другой, захваченный, видно, страшной картиной боев. - Такая мясорубка идет там, недалеко от Волги.

- От Волги нас уже погнали, - продолжал мрачно

злорадствовать третий. - Погнали от Волги, на тысячу километров погнали. Погонят и дальше. А потом такого пинка дадут...

- Неужто на тысячу километров погнали и дальше погонят? - Нотки беспокойства в хриплом голосе стали еще сильнее. - Неужто еще дальше погонят?

- Из России гонят и отсюда погонят, - уверял третий, не отвечая. Отовсюду погонят.

- И чего ты радуешься? - укоризненно спросил второй. - Чего радуешься?

- Зло меня берет, зло, и больше ничего. Нам говорят, что мы мир весь покорили, а мы даже этот дурацкий мост на одну ночь без присмотра оставить не можем. А кому он нужен, этот мост?

- Как кому? - возразил второй таким тоном, будто достоверно знал, кому мост нужен. - Говорили же сегодня, что в лесу какие-то подозрительные люди бродят.

- Мало ли тут людей!

- Мужчин видели, - многозначительно напомнил собеседник. - А откуда тут мужчинам быть? Беглецы, наверно. А то еще и партизаны даже.

- Партизаны! Скажешь тоже! Откуда тут партизанам быть? Это же не Россия.

- Россия не Россия, а партизаны тут тоже есть. Лейтенант вчера в пивной так и сказал, что Москва всем коммунистам приказ дала, чтобы везде немцам в спину стрелять, мосты взрывать, дороги портить и все такое.

- Коммунисты! - недоверчиво повторил злорадствовавший. - Откуда они тут? В городах раньше водились, да все перевелись. А в лесу...

Он осекся, не кончив. В темноте, явственно приближаясь, грузно шлепали сапоги или бутсы. Подбитые гвоздями, они задевали за металл шпал, издавая резкий, скребущий звук: скрык, скрык... Солдаты затопотали, вскакивая, и выжидательно замолчали.

Подошедший, судя по голосу, был моложе. Он начальственно осведомился, как тут у них, на что последовал торопливо-услужливый ответ, что тут, слава богу, все в порядке. Начальственный голос предупредил, чтобы были начеку и смотрели в оба, и подчиненные с той же готовностью заверили, что они начеку и будут смотреть в оба. Несколько смягчаясь, начальник спросил, нет ли у кого папиросы, и руки поспешно зашарили в карманах. Вспыхнувшая спичка тут же спряталась в большой пригоршне. Вырвавшийся из нее свет ударил в костлявое лицо с тяжелым подбородком, который подпирался стоячим воротником со знаками СС.

До этой секунды уничтожение поста представлялось нам только необходимостью. Тяжелой, опасной и неприятной необходимостью. Мы не испытывали к этим пожилым немцам ни особой вражды, ни ненависти. Они были лишь препятствием нашему замыслу, которое следовало устранить. И невольно подслушанный разговор делал задачу еще неприятнее. Но появление рядом эсэсовца - врага, которого мы ненавидели до бешенства, до отвращения, подействовало на нас, как удар молнии. И, хотя разумнее было бы подождать, когда уйдет молодой и сильный эсэсовец, все четверо, точно подброшенные одной пружиной, вскочили на ноги и ринулись вперед.

Семь-восемь шагов, которые разделяли нас, были покрыты в несколько секунд. Мы свалились на немцев так неожиданно, что эсэсовец скорее с любопытством, чем с тревогой выкрикнул:

- Вэр ист да? - Кто тут?

- Да зинт вир, - негромко, но с кипящим ожесточением ответил Устругов по-немецки и обрушил на голову охранника приклад автомата. Сбив его с ног, Георгий продолжал гвоздить эсэсовца, повторяя, однако, по-русски: - Тут мы, тут мы. Гробокопатель... мы, мы...

Эсэсовец был мало похож на Гробокопателя, который пробовал свои кулаки на Устругове, но мой друг увидел в нем своего мучителя. Он продолжал молотить охранника, не замечая, что схватка уже кончилась и рядом с убитым эсэсовцем лежали утихнувшие навсегда фольксштурмисты. Стажинский поймал Георгия за плечо. Тот выпрямился, тяжело дыша.

- А в могилу все-таки, Гробокопатель, не ты меня, а я тебя загнал, пробормотал он, - не ты, а я... я...

- Да это же не Гробокопатель, - поправил Стажинский, покоробленный очевидной ошибкой. - Гробокопатель - широкоплечий, большерукий, а этот...

- Гробокопатель это, - упрямо повторил Устругов, повышая голос. Гробокопатель... Мне-то лучше знать...

Поймав руку поляка, я пожал ее.

- Возможно, Гробокопатель, - сказал тот, правильно поняв пожатие, даже вероятно Гробокопатель...

И тут Устругов вдруг странно хихикнул, потом ожесточенно выругался и сплюнул.

- Черт с ним! Гробокопатель или не Гробокопатель, одним мерзавцем все равно меньше стало...

Мы послали Лободу за теми, кто ждал внизу, у насыпи. И пока они лезли вверх, падая и чертыхаясь, мы сбросили убитых с полотна. Георгий и я стали у ворот в колючей ограде, чтобы помочь партизанам не потеряться во тьме.

- Шагов десять вперед и влево вниз, - тихо говорили мы идущим мимо. Влево и вниз.

- Зачем вниз? - переспросил Деркач. - С насыпи атаковать барак легче.

- А пулемет? - напомнил ему Георгий. - Ты же знаешь, от него может спасти только насыпь.

- Да, пулемет уложит всех, если захватит тут хоть на полминуты, - с уверенностью профессионала оценил бывший командир пулеметной роты.

Гэррит задержался в воротах, схватив меня за борт пиджака.

- Как по-русски приказ "открыть стрельбу"?

- Огонь! О-гонь. О-гонь. Запомнил?

- Почему же "огонь"? - обескураженно переспросил новозеландец, отчетливо повторяя по-русски слово "огонь". - Когда кто-нибудь кричит "огня", ему подают спички, но никто не стреляет.

- Я объясню разницу потом, обязательно объясню, - торопливо заверил я. - А сейчас просто запомните: "Огонь! О-гонь". Вы услышите, конечно, "а-агонь!", но это все равно.

Устругов остановил Шарля:

- Где парни с тротилом?

- Они здесь, почти у самой проволоки.

- Сейчас начнется перестрелка...

- Не беспокойтесь, - быстро перебил его бельгиец, поняв, что тревожит Георгия. - Там углубление есть, и даже шальная пуля не достанет.

По крутому мокрому откосу мы соскользнули вниз. Там еще раз сошлись на полторы-две минуты вместе с Хорьковым, Деркачем, Химиком, Лободой и Шарлем. "Автоматчики" - так гордо именовались теперь "братья-кирпичники" нападали на барак фольксштурмистов спереди. Хорьков со своими ребятами, вооруженными пистолетами и охотничьими ружьями, позаимствованными у бельгийцев, заходил с тыла, с задней стороны. Лобода, Химик и Шарль охватывали барак с боков. Задача ставилась перед всеми предельно простая и беспредельно сложная: обезвредить обитателей барака, чтобы они не мешали атаковать бункер с эсэсовцами. Ликвидация бункера открывала доступ на мост, который нужно было взорвать.

Путь к бараку оказался нелегким. Перед бараком были окопы или глубокие ходы, и мы не решались подняться на ноги, пока не доползли до них. Вопреки опасениям окопы были пусты. Облегченно вздыхая, мы свалились в них и начали торопливо устраиваться. Нам очень повезло. Отсюда мы видели очертания барака с желтовато-светлыми кромками затемненных окон. Из

барака неслись голоса, мелодично и печально пела губная гармошка.

- Как бы пригодились нам гранаты! - прошептал Георгий. - Через две минуты все было бы кончено.

- Может быть, сделать, как предлагал Хорьков? - сказал я. - Запустить туда пару бутылок с горючей жидкостью, выжечь их оттуда, а уж тут мы справимся с ними.

- Нельзя, - со вздохом ответил Устругов. - Никак нельзя. Главное бункер, и пожар тут только поможет охранникам.

Георгий обнял меня за плечи и прижал к себе.

- Придется нам с тобой, Костя, роль гранат сыграть. И Огольцову тоже: он скор на руку.

- Играть роль гранат?

- Да, вроде гранат, - подтвердил Георгий. - Надо подобраться к бараку вплотную и, когда немцы увлекутся перестрелкой с нашими ребятами, ворваться туда. - И, не ожидая расспросов, торопливо зашептал: Понимаешь, стрельбой отсюда большого вреда не принесешь, да и вести долго перестрелку мы не можем: патронов мало. Доставать немцев нужно там понимаешь? - там, в бараке.

Деркач выслушал Устругова, повторившего свой замысел, и изрек с суровым осуждением:

- Я повинуюсь приказу, но считаю его неправильным. Как ни хитри, немцы ухлопают в своих стенах всякого, кто сунется к ним. Я повинуюсь приказу, но...

- Это не приказ, Анатолий, - сказал Устругов мягким, почти упрашивающим тоном, - совсем не приказ. Ты пойми, пожалуйста, не можем мы долго перестреливаться с ними: патронов мало, и помощь им может прибыть. Будем действовать быстро и смело, все в несколько минут - понимаешь? - в несколько минуту кончим.

- Хорошо, - покорно, но все же с обидой согласился бывший лейтенант. - Сделаю все, как говоришь. Все сделаю... Но когда вернемся... я поставлю вопрос о вашем самоуправстве. Я военный человек и знаю: раз главная задача - взрыв моста - поручена тебе, ты можешь по уставу требовать от других то, что считаешь необходимым. Но когда вернемся, я поставлю вопрос, обязательно поставлю...

- Ставь, - живо подхватил Георгий, - ставь, пожалуйста, только сделай так, как сказано. Ладно?

Вслед за Уструговым вылезли из окопа и мы с Огольцовым и поползли к бараку. Голоса и выкрики слышались громче, пение гармоники стало звучнее, и грустная мелодия, казалось, рвалась на волю, чтобы улететь к дому, к семье, о которой тосковал

гармонист.

Устругов швырнул в окно кирпич, подобранный по дороге, и растянулся рядом с нами перед дверью. Как мы и надеялись, необстрелянные и не ведавшие лиха фольксштурмисты бросились к окнам и, откидывая занавески, пытались заглянуть во тьму. Наиболее подвижные и наименее опытные выскочили даже на улицу, чтобы поймать хулигана, осмелившегося запустить кирпич в жилище завоевателей. Они были тут же беспощадно наказаны. Короткий дружный рокот шести автоматов прогремел в ночи. Эхо, ударившись о каменистый срез холма, громко отпрянуло назад, грохнулось о скалу по ту сторону речки, вернулось и покатилось куда-то, многократно повторяясь.

Пораженные неожиданностью, ужасом и болью, фольксштурмисты посыпались на пол, оборвав одну из занавесок, и недалеко от нас на земле лег большой желтый квадрат. В светлом провале открытой двери перед нами тяжело возились и стонали люди. Один гладил рукой грудь и беспрестанно восклицал: "О, майн гот! О, майн гот! О, майн гот!" Другой поспешно и громко сыпал ругательствами. Обитатели барака уже не выглядывали в окна, но раза два пытались достать ручку двери, чтобы закрыть ее. Встреченные нашими выстрелами, моментально исчезали.

Деркач оказался у барака даже раньше, чем мы надеялись. Прячась за черные простенки, "кирпичники" подобрались к освещенному окну, и стволы автоматов и карабинов заглянули в барак своими неподвижно черными и парализующими глазками.

- Партизаны! - завопил кто-то из немцев. - Партизаны!..

В этом вопле было столько смятения и ужаса, что в одно и то же мгновение каждый из лежавших перед дверью подумал: пора! Точно приказ, эта мысль взметнула нас на ноги. Подскочив к двери, мы, не целясь, а только поводя стволами автомата вправо и влево, выпустили в освещенное пространство по очереди. И, не дав стихнуть грохоту, ворвались в барак, надсадно выкрикивая по-немецки:

- Руки вверх! Руки вверх!

Часть фольксштурмистов уже распласталась на полу, и с быстрого взгляда нельзя было определить, убиты они или просто спасались от пуль. Другие жались в углах и простенках, стараясь оказаться за пределами плевавшихся огнем автоматных стволов. Фольксштурмисты уставились на нас ошалелыми глазами, готовые закричать "караул" или просить пощады. Только несколько человек успели схватить поблескивающие маслом автоматы и стреляли теперь в окна с увлечением одержимых. Они не видели нашего появления, не услышали крика: "Руки вверх!"

Только автоматная очередь Огольцова прервала их стрельбу. Оставшиеся в живых с недоумением и страхом подняли руки.

Страх фольксштурмистов перерос в ужас, когда, выбив раму плечом, Деркач со звоном и грохотом влетел в барак. Не удержавшись на ногах, он шлепнулся рядом с немцами, и те шарахнулись от него в стороны, как от гранаты. За лейтенантом влетел Яша Скорый, за ним Аристархов и Гэррит с Кэнхемом. Прибежавшие Лобода и Химик предпочли проникнуть в барак также через окно. Правда, в этом уже не было необходимости, но войти через дверь им казалось слишком прозаическим.

Подобно тому как голодные бросаются прежде всего к еде, почти все кинулись к оружию. Они вырывали его из рук убитых фольксштурмистов, хватали из стойки, подбирали с пола. Торопливо обшаривали углы, ящики и тумбочки, засовывая автоматные обоймы за пазуху и набивая карманы патронами. Жадность настолько завладела ими, что некоторые, надев на плечи по два автомата или карабина, не хотели делиться со своими опоздавшими товарищами, которым ничего не досталось.

- Ну, а что с этими? - злобно спросил Химик, подойдя к нам и кивнув головой на пленных.

- С этими? - переспросил Устругов, сдвигая к переносице брови: знак, показывающий, что их обладатель встретился с трудной задачей. Я знал, что брови не разойдутся, пока Георгий не решит задачу. Он обеспокоенно посмотрел на меня, точно ждал подсказки, метнул насупленный взгляд на немцев и растерянно повторил: - С этими?

Ответить ему, однако, не пришлось. За спиной барака отчетливо и звонко прокатилась автоматная очередь, потом другая, третья. В тишине, которая вклинивалась между очередями, жалко и даже как-то испуганно хлопали пистолеты. Покрывая треск автоматов и пистолетные выстрелы, громко, раскатисто и раздраженно зарокотал пулемет, и в черном квадрате выбитого окна я увидел сине-зеленые струи трассирующих пуль, вытянувшиеся над бараком.

- С автоматами все туда! - крикнул Устругов, показывая рукой в ту сторону, где Хорьков начал безнадежно неравную перестрелку с эсэсовцами.

- А как же с этими? - поймал его за руку Химик.

- А черта ли нам от них? - коротко бросил Георгий, перестав думать о фольксштурмистах и хмуриться. - Останься с ними. Покарауль. А когда там с охранниками кончим, пусти на все четыре стороны. Черта ли нам от них...

И мы выскочили из барака, чтобы поддержать Хорькова. Фыркнув из-за черного гребня насыпи и рассыпая золотые искры,

над нами взвилась ракета. Она лопнула в небе, образовав белый шар, и стала медленно оседать, увеличивая свое сияние. В ее ярком свете, вырвавшем из тьмы насыпь, барак, дорожные столбики, мост и даже белую пену на реке, охранники рассчитывали увидеть и расстрелять вооруженных пистолетами людей. Они, однако, просчитались. Против их трех автоматов мы могли теперь выставить полтора или два десятка. И, пока зажженный ими самими фонарь опускался, мы использовали свое превосходство: двое из эсэсовцев накрепко улеглись на насыпи, третий юркнул по ту сторону ее и исчез. В погустевшей сразу тьме только пулемет продолжал посылать из бункера свои необыкновенно длинные и красивые струи, рассыпая их прозрачным веером.

Укрытые высокой насыпью, мы не боялись его. Добравшись до речки, мы смело и уже не спеша полезли наверх. Без охраны бункер не представлял уже большой опасности. Хорьков подполз к нему почти вплотную со стороны моста и метнул бутылку со самовоспламеняющейся жидкостью. Над бункером сразу запылал большой факел, осветивший полосатую будку с постовым. Он выстрелил в неосторожно поднявшегося капитана, и тот сел между рельсами, обхватив руками живот и сильно наклонившись вперед. Постовой прицелился в капитана, но выстрелить еще раз не успел: Деркач срезал его самого.

Жидкость, облившая бункер, стекала вниз, и лужицы пламени полыхали у бетонных стен. Черный зев бункера продолжал изрыгать светло-синие струи, улетающие в глубину ночи.

Наконец Лободе удалось подобраться к бункеру поближе и запустить плоскую бутылку прямо в его рычащий рот. Через пять-семь секунд оттуда вырвалось пламя. Оно метнулось вверх с такой силой, словно ему было тесно в бункере. Стальная дверь распахнулась, выбросив на дорожку, ведущую к домику охранников, пылающую фигуру. Она помчалась вниз со страшным воплем, однако успела пробежать лишь с десяток шагов, шлепнувшись на землю.

- Все, - проговорил Устругов, вскакивая на ноги. - С охраной кончено. Теперь за дело! Через полчаса этого моста тоже не будет...

Он громко позвал Шарля и попросил скорее доставить взрывчатку. Потом посоветовал всем уходить и ждать его на вершине холма. Вспомнив что-то, Георгий позвал Яшу Скорого.

- Сбегай в барак и скажи Химику: пусть отпустит немцев и уходит. А барак сожжет.

Деркач и Прохазка забрали капитана. Я задержался, думая, что потребуюсь Георгию. Он понял меня иначе. Быстро подошел

ко мне и обнял, как тогда, под Смоленском, поцеловал и сказал тихо:

- Прощай, Костя... И уводи людей, пожалуйста. С такими взрывами всякое бывает. Рисковать незачем. Уходи!

Сказано это было так тепло и твердо, что я не осмелился ни ослушаться, ни убеждать его изменить намерение. И так тогда, под Смоленском, я обнял его, но сказал совсем другое:

- Мы будем ждать тебя, Гоша... Будем...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Время, когда в нем особенно нуждаешься, летит быстро, и рассвет наступил после той ночи неожиданно скоро. Едва успели мы подняться на вершину холма, с которой наблюдали вчера за котловиной, как мрак рассеялся, черные деревья перестали быть черными, посерели, а потом приобрели свой обычный цвет, сквозь их кроны стало проглядывать все более светлеющее небо. Соседние холмы выступили из мутно-серой пелены, и неощутимое до сих пор пространство раздвинулось вокруг нас. В серой котловине, оставшейся за нашей спиной, появились оранжевые фермы моста.

Утро обгоняло Устругова и его бельгийских помощников - двух горняков из-под Льежа, и мы с беспокойством и надеждой прислушивались, не идет ли поезд. Беспокоились потому, что поезд мог принести самую страшную неприятность, помешав взрыву моста. Надеялись на то, что он окажется на мосту в момент взрыва: как же нам хотелось отправить немецкий эшелон на дно речки!

Наши надежды померкли, а беспокойство возросло, когда, пробивая утренний туман, над бараком фольксштурмистов вдруг поднялся черный султан дыма, а некоторое время спустя злобно и коротко проворчал автомат. Химик, несомненно, поджег, хотя немного рано, барак. Но что означала стрельба?

Почти одновременно над рекой что-то блеснуло, пронизав оранжевые фермы моста ярким золотисто-белым светом. Центральный пролет изогнулся и вдруг начал рваться на куски, которые понеслись вверх, догоняя и обгоняя друг друга, точно играя вперегонки. Вслед за ними, клубясь и бушуя, взвилась мутная смесь газов, дыма и пыли. Поднимаясь все выше и выше, облако принимало и как бы глотало обломки моста, которые, продолжая свою игру, помчались теперь вниз. Фонтан, вставший над рекой, густел, темнел, приобретая очертания огромного гриба.

Грохот взрыва ударил по нашей вершине, оглушив тех, кто не успел или не догадался открыть рот, и покатился дальше с холма на холм, отражаясь и повторяясь, и поэтому казалось, что

Арденны захохотали злорадно: так-вам-надо, так-вам-надо, так-вам-надо...

Легкий ветер, тянувший вдоль речки, сначала наклонил сизо-черный гриб, затем согнул его, а потом, будто подрезав у самого корня, оторвал от моста и понес в сторону. И тогда мы увидели, что сделал Устругов с помощью тротила. Главный пролет моста исчез, будто его никогда и не было. Почти в самой середине разбушевавшейся речки торчал белый каменный "бык", опаленный сверху, как головешка. Пролет слева, надломившись, опустил фермы вниз, в воду, будто нагнул металлическую шею, чтобы напиться. Верхние фермы слева тянулись над мутным потоком, точно протягивали руки соседям на другой стороне.

- Великолепная работа! - взволнованно воскликнул стоявший рядом со мной Шарль. - Молодец Устругов!

- Да и ваши парни хороши, - отозвался я. - Они добыли хорошую взрывчатку, доставили сюда и помогли Устругову.

- Парни хорошие, - подхватил Шарль. - Сами вызвались участвовать в деле, хотя мы не обязывали и даже не просили их.

- Ненависть к немцам?

- И ненависть к немцам и расположение к вам, русским. Вы, наверно, даже не представляете, какой запас добрых чувств к советским людям накопился здесь, в нашем народе. Я не могу объяснить, как это произошло, но бельгийцы поняли, что там, на просторах России, идет война и за наше будущее, за наше право устраивать свою жизнь, как хотим. И когда нашим людям предоставляется возможность помочь чем-либо русским, они охотно делают это.

- Мы это почувствовали, как только добрались сюда, - заметил я. - Нас удивило это единодушие.

- Я бы не сказал, что бельгийцы едины в своих чувствах, - вдумчиво возразил Шарль. - Тут имеется много красок и даже оттенков в красках.

- То есть отношение разных слоев различно?

Шарль помолчал, всматриваясь в остатки моста, перевел глаза на барак, который полыхал все жарче, спросил самого себя: "А где же Устругов и парни? Им пора бы уже быть", - только после этого повернулся опять ко мне:

- На этой грешной земле все так переплелось, так перепуталось, что поведение различных слоев, особенно в маленьких странах, часто тесно связано с позициями великих держав. В этом, правда, нет ничего особенно нового. Раньше их позиции отражались на поведении придворных кругов, теперь захватили всю нацию. И разные слои в нашей стране ждут от исхода этой войны разного будущего. Одни хотят не только

поражения немцев, но и вашей безграничной победы. Другие хотят немецкого поражения, но опасаются вашей победы. Третьи хотят и немецкого и вашего поражения. И лишь немногие ныне хотят немецкой победы, хотя уже не верят в нее. Почти все хотят немецкого поражения. Но будущий мир представляется разным слоям по-разному, и каждый слой хотел бы устроить его по-своему.

- Если не секрет, к какому слою относите вы себя?

- Я не большой политик, - ответил Шарль, поморщившись. - И не очень ясно вижу то, что будет после войны. Пока хочу только одного - добиться поражения немцев. Пока только этого...

- А потом?

- Потом предоставим политикам заниматься этим делом.

- Но они же могут устроить мир так, что вам он не понравится.

- Мир не может быть совершенным, и кто-то всегда недоволен, и кому-то приходится мириться с этим. Примирюсь и я.

- Тогда почему же не миритесь с тем порядком, который устраивают ныне немцы?

- Ну, это другое дело, это совсем другое дело, - живо возразил Шарль, посмотрев на меня с недоумением: не понимал, к чему я клоню. - Тут грубое вмешательство в наши дела со стороны чужестранцев. Это даже хуже, чем вмешательство соседей в дела семьи. За такое вмешательство обычно бьют по рукам.

- А как устроит семья свои внутренние дела, это вас не касается?

- Нет, почему же? Касается, конечно. Очень даже касается. Только задача моя, как военного, заключается в том, чтобы избавить семью от соседского вмешательства. А уж дела семейные пусть устраивают те, кто смыслит в этом больше.

- А если они устроят семейные дела только в свою пользу?

- Я уже сказал: никогда и нигде не бывают все довольны. Оставим это на совести других членов семьи. Они же понимают, что если обидят меня, то в следующий раз, когда сосед опять полезет в наш дом, я могу отказаться защищать их.

- Не откажетесь, как не отказались сейчас. Интересы семьи всегда будут для вас выше собственных.

Шарль озадаченно поднял брови: откуда, мол, ты знаешь это? Подумал немного, согласно улыбнулся, ничего, однако, не сказав.

Наконец Устругов показался со своими помощниками. Сильно наклоняясь вперед, они взбирались по склону. Грязный, потный, но улыбающийся Георгий был доволен. Не доходя нескольких шагов до нас, повернулся, посмотрел на мост и

засмеялся.

- Немало мостов взорвал, - сказал он, - и только этот рванул с удовольствием. С настоящим удовольствием...

Но тут же нахмурился, хотя не мог спрятать или погасить радостное сияние глаз.

- Все тут? - спросил Устругов, не обращаясь прямо ни к кому. - Можем уходить?

- Химика еще нет, - ответил за всех Лобода, выступая вперед. Пиджак, застегнутый на верхнюю пуговицу, был наброшен на его плечи, однако не скрывал забинтованную левую руку, которая поддерживалась подвешенным через шею ремнем. Георгий шагнул к нему и отодвинул борт пиджака.

- Ранен? Серьезно?

- Это что, - хмуро отозвался Лобода, - это что... у Хорькова там два парня остались, да и самому пуля в живот угодила.

- А где он? Где Хорьков?

- Там, в кустах, лежит. Около него чех хлопочет.

Устругов двинулся туда, но остановился, увидев Яшу Скорого, который торопливо поднимался по склону.

- Химик там... - крикнул он, махнув рукой в сторону большого столба дыма, поднимавшегося над бараком. - Там Химик...

- Что Химик? Убит? Ранен?

- Химик там... сжечь... всех... хотел... - точно выдавливая из себя каждое слово, проговорил он. - Всех... сжечь...

- Кого сжечь?

- Немцев всех. В бараке закрыл и барак поджег. Они в окна прыгать стали, а Химик из автомата их... Наверно, всех бы в огне оставил, если бы не парни. Двое навалились на него и стрелять по немцам помешали.

- Я же сказал ему: отпустить их на все четыре стороны, - тихим каким-то потерянным голосом проговорил Устругов. - Я же сказал...

- Парни те тоже ему говорили, - пробормотал Яша. - Устругов, мол, велел отпустить пленных. А он как закричит: "Устругов мне не указ, его командиром никто не назначал".

- Много немцев в огне-то погибло? - недоверчиво спросил Лобода.

Яша с готовностью повернулся к нему.

- Когда парни на Химика навалились, немцы опять из окон прыгать стали, а мы им на лес показали: бегите, мол, черти, пока целы... Ну, они, конечно, упрашивать себя не заставили. Думаю, что все уцелели.

Устругов стиснул челюсти и стал жевать и кусать сразу побледневшие губы. Он взглянул на Лободу уже без прежнего сочувствия, перевел глаза на Деркача, стоявшего с бесстрастным, как определили "братья-кирпичники", "казенным лицом", точно говорил: не послушались меня, не действовали, как предписывает устав, вот оно и получилось.

Сердито тронув меня за плечо, Георгий вдруг спросил:

- Ты благословляешь самоуправство Химика?

Сдерживаемое напряжение последних дней и особенно последней ночи прорвалось у него в этой яростной вспышке.

- Мы будем судить его, - сказал я, стараясь успокоить Устругова. - Но не сейчас и не здесь.

- Почему же не сейчас? Почему же не здесь?

- Потому что нужно уйти подальше отсюда. Приди сейчас поезд с солдатами, они немедленно бросятся в погоню. Да и без поезда погоню того и жди. Из поселка, наверно, уже давно сообщили на соседнюю станцию, что в районе моста идет стрельба и что оттуда донесся взрыв. Кроме того, в таком возбужденном состоянии мы будем плохими судьями.

Химик, появившийся вскоре со своей группой, по лицам партизан догадался, что мы уже знаем о его самовольной попытке расправиться с фольксштурмистами. Пренебрежительно оттопырив губы, он с подчеркнуто независимым видом прошел мимо нас с Уструговым, Деркачем и Шарлем, направившись к Лободе. Однако тот встретил его отчужденно-злым взглядом.

- Ты чего там наделал?

- Чего наделал, того наделал, - небрежно ответил Химик, бросив острый и настороженный взгляд в нашу сторону. - Докладывать не буду.

Устругов рванулся было к нему, но я удержал: Лобода вскинул кулачище своей здоровой правой руки, чтобы дать должный ответ Химику. Но не ударил, а только глухо пробормотал:

- Доложишь, сукин ты сын, доложишь...

- Кому докладывать-то? - ощерил ровные мелкие зубы Химик. - Уж не тебе ли?

- И мне и другим доложишь...

- Когда рак свистнет...

Назревал скандал, и чтобы предотвратить его, я громко объявил, что надо немедленно собираться и уходить. Собравшиеся вокруг Химика засуетились. Положив тихо стонущего Хорькова на самодельные носилки, двинулись в путь. У одинокого двора, где жил Стажинский, задержались: сделали более прочные и более удобные носилки. Поляк тем временем забрал свои несложные пожитки: оставаться тут было уже нельзя.

Следующую остановку сделали недалеко от имения, в котором Прохазка, начав с конюха, завершал свою карьеру в качестве личного учителя помещика. Чех пообещал раздобыть у экономки еду, о которой не все говорили, но все думали. Владелец имения был вдовцом, делами в доме заправляла пожилая властная женщина, ненавидевшая немцев лютой ненавистью: ее сын был убит в первый час войны. Прохазка рассчитывал на ее содействие. И не ошибся. Кладовая помещика оказалась богатой, а экономка щедрой: еды, принесенной чехом, хватило всем и даже осталось немного на дорогу.

В нескольких километрах от деревни, около которой прятался со своими парнями Лобода, снова остановились. Между ним и Химиком возник спор, о котором мы узнали, однако, только после того, как он перешел в перебранку. Лобода и его товарищи решили уходить в глубь Арденн вместе с нами. Химик, наоборот, стремился оторваться от "братьев-кирпичников". Ребята, слушавшиеся его раньше беспрекословно, тут опять, как это было вчера перед нападением на мост, воспротивились. Химик грубо, грязно обругал всех и пригрозил расправиться с непослушными. Лобода вступился за парней.

Мы окружили расходившихся приятелей и стали унимать. Раздраженный Устругов решительно взял меня за локоть.

- Ну, что ж ты суд оттягиваешь? Химик заберет сейчас своих ребят и уйдет. Может, ты только этого и ждешь?

Однако предложение устроить над Химиком суд было встречено недоуменным молчанием. Бельгийцы, Стажинский, Прохазка и Гэррит с Кэнхемом достаточно ясно показали, что не желают вмешиваться в дела русских. "Братья-кирпичники" и ребята Хорькова прятали глаза, и мне пришлось опрашивать каждого: за суд или против. Настороженные глаза Химика следили за мной и немедленно упирались в лицо того, к кому я обращался. Темные, красивые, эти глаза становились жесткими и колючими, если мне отвечали утвердительно, или посылали теплый лучик одобрения, если опрошенный говорил:

- Я против.

Большинство все-таки было за то, чтобы судить Химика, и он

сразу как-то сник, ссутулился. Побледнев и сразу вспотев, он смотрел то вниз, под ноги, то поверх наших голов, на вершину дальнего холма, куда скрытое от нас большим облаком солнце сыпало прозрачное золото своих лучей, и вершина выделялась среди неровного темного пространства ярко-зеленым пятном. Химик запротестовал, когда я предложил избрать в качестве судей Деркача, Лободу и Стажинского.

- А поляк зачем? - выкрикнул он. - Среди чужих помощников ищете?

- Действительно, зачем нам чужой? - пробормотал Лобода. - Человек наш, мы и решим, что делать с ним.

- Поляк не чужой, - возразил я. - Это наш товарищ, наш старший товарищ, польский революционер.

И коротко рассказал историю Стажинского, упомянув также, где и при каких обстоятельствах познакомились, как бежали вместе из немецкого концентрационного лагеря, как потеряли друг друга на Рейне и нашли здесь. Парни стали смотреть на поляка уважительно, с готовностью согласились, чтобы Казимир судил Химика, и даже попросили его быть председателем.

Стажинский вошел в круг и встал рядом с Деркачем и Лободой. Всмотревшись в Химика своим обычным цепким и пристальным взглядом, Казимир тихо, но твердо предложил ему отдать оружие. Намеренно медленно, но все же дрожащими руками Химик снял через голову автомат и передал одному из своих ребят. Потом достал из кармана брюк маленький "вальтер" и отдал другому парню.

Стажинский повернулся ко мне.

- Кто будет обвинять его? Обвинителем кто выступит? Ты или Устругов?

- А чего обвинять? - спросил Лобода. - Пусть доложит, как и почему приказ нарушил немцев отпустить.

- Чего докладывать! - огрызнулся обвиняемый. - Нечего докладывать.

- Нет, ты доложи, - настаивал Лобода. - Докладывай, докладывай, не жди, когда рак свистнет.

Химик вскинул на него злые и растерянные глаза.

- Поизмываться захотелось? Ну, поизмывайся, поизмывайся...

- Дурак ты, и больше ничего.

- Сам дурак... Дураком всегда был и останешься навсегда.

Стажинский повысил голос:

- Обвиняемый, прекратите ругаться! И расскажите точно и честно, как и почему приказ нарушили.

- Вот пристали! - досадливо проворчал Химик. - Чего рассказывать тут? Барак поджег, как было сказано, а когда фрицы

в окна полезли, автоматом встретил... Чтобы не лезли, значит. Ну, а парни мои - Федоткин вот, Тюряев, Ильин на меня навалились и стрелять помешали. Вот и все.

- Сколько пленных в огне погибло?

- Я в огонь не лазал, чтобы считать их. А может, и никто не погиб.

- Но ты же стрелял, чтобы помешать им из огня выскочить?

Химик только пожал плечами, не ответив. Он оглядел окруживших его злыми глазами, скривил в брезгливой усмешке губы.

- А я и не знал, что найдется столько слюнтяев-гуманистов, которые фрицев жалеть будут и что из-за них мне душу выматывать будут. Было у меня сомнение относительно политрука, - он небрежно кивнул головой в мою сторону. - Этот, думал я, не упустит случая поковыряться в душе моей, как в банке консервов, да надежда у меня была, что его в перестрелке укокошат. Видно, не повезло мне. Что ж, выматывайте мою душу, гуманисты, так вас и перетак...

- Обвиняемый, вторично предлагаю прекратить ругаться.

Георгий, войдя в круг, остановился перед Химиком.

- Этот человек, - начал он, не глядя на обвиняемого, - этот человек очернил партизан в глазах населения. Оно смотрело на нас, как на людей, которые пришли помогать им бороться против произвола и жестокостей оккупантов. Теперь все скажут, что мы такие же звери, как нацисты. А что может быть позорнее, страшнее такого сравнения? Ничего не может быть позорнее и страшнее. Мы боремся с врагом, убиваем, если он сопротивляется, но не можем и не позволим никому расправляться с пленными... Это противно нашей совести, противно нашему сознанию.

- Противно совести... противно сознанию... - передразнил Химик, ожесточенно сплевывая. - То же мне сознание... Какое у тебя сознание, слюнтяй? Ты просто чистеньким хочешь быть, чтобы ангелочком на тот свет явиться, когда какой-нибудь фриц продырявит твою глупую башку. А я в ангелы не мечу и грязи не боюсь, если это для дела нужно.

- Месть не дело, а подлость! - выкрикнул Георгий. - Подлость!

- Подлость! - повторил Химик. - Если бы гитлеровцы твою семью вместе с домом сожгли, ты не кричал бы: "Подлость..."

- Но ведь то гитлеровцы. Гитлеровцы, понимаешь ты это? Что ж, по-твоему, мы равняться на них будем? - повысил голос Устругов. - Или соревноваться, кто больше жестокостей натворит? Не для этого за оружие взялись.

Никогда зеленая дубрава в центре Арденн не видела такой

удивительной сцены, никогда не звучали в ней такие споры о том, что может и чего не может делать человек, воин и особенно советский человек. Эти люди, гонимые, преследуемые, перенесшие столько бед и невзгод, не хотели оправдать бессмысленную жестокость. Спор, развернувшийся вокруг поступка Химика, был горяч, иногда злобен, чаще товарищески искренен.

И приговор суда, родившийся в этом споре, был мягок и в то же время жесток: Химика не подвергали физическому наказанию, но изгоняли из партизанской семьи. У него отобрали оружие, добытое в недавней схватке. Своим поведением он мог "опоганить", как сказал Лобода, наше дело, поэтому ему запрещалось участвовать в нем и примыкать к какому бы то ни было отряду.

После оглашения приговора партизаны двинулись дальше. Химик остался на том самом месте, на котором стоял перед судом. Он не поднял головы и не поглядел в сторону уходящих.

На кирпичный завод пришли лишь на другой день. Еще издали увидели под окнами пустого барака двух человек. В одном признали Степана Ивановича, другого рассмотрели только вблизи. Высокий, узкоплечий, он был одет в хороший охотничий костюм, на голове красовалась маленькая тирольская шляпа с перышком за лентой. Повернувшись в профиль, он показал ввалившиеся щеки и нос, торчавший треугольничком. Только тогда, схватив Георгия за руку, я почти вскрикнул:

- Крофт!

- Не может быть! - не поверил Устругов, однако, внимательно всмотревшись, только спросил: - Откуда он?

- И зачем?

Стажинский, которому указали на охотника, немедленно признал Крофта. На вопрос, зачем тот здесь, ответил:

- Подлинной цели мы никогда не узнаем. Ясно, что появился он здесь не затем, чтобы прятаться. Его спрячут надежно и в городе.

Крофт бросился нам навстречу с поразительным и совершенно неожиданным радушием. Обнимал нас, восклицая, что рад видеть живыми и здоровыми. Англичанин почему-то нахмурился, узнав, откуда мы возвращаемся, но вскоре снова заулыбался и даже поздравил с успехом операции. Несколько торопясь и не ожидая расспросов, Крофт сообщил, что приехал сюда узнать о здоровье новозеландских летчиков и выяснить, нельзя ли переправить их в Швейцарию, а оттуда в Англию.

Вскоре, однако, обнаружилось, что интересуют его не столько Гэррит с Кэнхемом, сколько Устругов и я. Англичанин часто

шептался о чем-то со Степаном Ивановичем, завоевавшим доверие Крофта необъяснимо быстро. Дня два спустя Крофт отвел меня в сторону и предложил поехать с ним в Брюссель, чтобы встретиться с людьми, которые могут быть полезны нам во всех отношениях.

- В каких отношениях?

- Я же сказал, во всех, - повторил англичанин. - Денег дадут, одежду, обувь, оружие и боеприпасы. Современная техника позволяет сделать то, что вы сделали на днях с большим трудом и потерями, одному и почти незаметно.

Он достал из внутреннего кармана граненый цветной карандаш.

- Этим вот карандашиком можно вывести из строя целый паровоз, если сунуть его куда нужно, можно вырвать железнодорожную стрелку или сбросить поезд под откос, если вставить между рельсами в нужном месте.

Крофт опять спрятал карандаш и немного хвастливо закончил:

- Мы можем доставлять эти современные средства в нужных количествах людям, которые сумеют ими правильно воспользоваться...

Обрадованный такой возможностью, я заверил Крофта, что мы-то сумеем правильно воспользоваться этими средствами. Тогда я не знал, конечно, что англичанин и я понимали под этим разное. Я хотел посоветоваться с Георгием.

- Зачем это? - недоумевал Крофт. - Степан Иванович говорит, что вы тут голова, что Устругов думает вашими думами, говорит вашими словами. Советую действовать самостоятельно. Просто скажите ему, что уезжаете. Чем меньше будут знать и говорить об этом, тем лучше.

Степан Иванович, как я догадался, был человеком Крофта, на оценку которого англичанин полагался. Однако наблюдения агента оказались поверхностными. Устругов уже не думал моими думами и не действовал так, как я скажу. И хотя еще не делал ни одного шага, не посоветовавшись со мной, он не потерпел бы своеволия и с моей стороны.

Предложение англичанина обрадовало Георгия.

- Поезжай, Костя. Обязательно поезжай. Без помощи мы долго не продержимся. Нам она теперь особенно нужна.

- А вдруг немцы начнут повсеместную облаву?

- Вот поэтому-то поезжай. Помощь очень нужна, и ее можно получить только в Брюсселе. Поезжай...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

До Ляроша мы добирались на своих ногах, настороженно

обходя поселки и придорожные харчевни. Перед Лярошем немного задержались, не решаясь войти в город засветло. В сумерки Крофт повел меня в самый центр городка и направился к большому и богатому на вид дому. Мы уже привыкли держаться подальше от таких мест, и мои ноги непроизвольно стали делать мелкие шажки, точно вес ботинок увеличился вдруг многократно. Англичанин заметил мою нерешительность и взял под руку.

- Не беспокойтесь. Это надежный человек.

По условному стуку дверь дома открылась. Крофт и мужчина с приглушенным басовитым голосом обменялись загадочными фразами по-французски, затем перешли на родной язык англичанина.

Хозяин дома, проведший нас в ярко освещенную комнату, был рослый мужчина с большим красным лицом. Полный и важный по осанке, он как-то незаметно и в то же время ощутимо вытягивался, выпрямлялся, когда Крофт обращался к нему, словно не мог не показать готовности повиноваться англичанину.

Привыкший к бедной простоте наших бельгийских соседей-крестьян, я не решался оторваться от двери, до того все богато выглядело. Пол устилал ковер, богатые кресла с подушками поблескивали полированными подлокотниками, в зеркальном столе отражались портреты солидных и важных людей. Спальня на втором этаже, куда отвели нас после ужина, оказалась такой же стесняюще-богатой, а мягкие постели с белыми хрустящими простынями пугающе-неуютными.

Неудобства непривычного комфорта не помешали мне, однако, хорошо выспаться. Проснувшись в просторной светлой комнате, я некоторое время недоумевал: "Где я? Не в больнице ли?" Недоумение возросло, когда на кресле рядом обнаружил свой вычищенный и выутюженный костюм, а рядом свежую белую рубашку и модный галстук. Впервые в жизни кофе подали мне в постель.

С помощью хозяина, у которого ночевали, Крофт придал мне такой вид, что по одежде меня уже трудно было отличить от бельгийцев, и мы могли ехать дальше в машине, не вызывая особого внимания. Это была старенькая немецкая машина с неуклюжей колонкой для газа, но она бежала значительно быстрее, чем шел человек.

В окрестностях Марша остановились в почти пустой лесной гостинице: случайный встречный рассказал, что на мосту в городке стоят полицейские. Крофт решил переждать: за себя он не опасался, но мои документы были ненадежны. Время от времени немцы устраивали на дорогах проверку.

Я воспользовался остановкой, чтобы пробраться знакомым

лесом к "Голубой скале". Мне хотелось встретиться с Аннетой, которая несколько дней назад простилась со мной необычно тепло. Ее синие глаза неотступно следили за моими, и в них было столько сочувствия и тревоги и какая-то немая просьба, что у меня как-то невольно вырвалось:

- Я вернусь, Аннета, обязательно вернусь.

Она обрадованно закивала головой.

Во дворе "Голубой скалы" я встретил не Аннету, а Валлона и Дюмани. Первый посмотрел на меня с удивлением, но без укора. Дюмани коротко и резко назвал мой приход в гостиницу своеволием. Вытянувшись, словно перед строем, и сверля меня прищуренными глазами, он потребовал объяснений. И когда я начал мямлить что-то невразумительное, Дюмани перешел на жесткий шепот:

- Вы же офицер, а не просто партизан. Вы должны уметь не только заставлять других подчиняться дисциплине, но и подчиняться ей сам. Своим непрошеным приходом сюда вы ставите под удар себя, других и прежде всего эту семью.

Я тут же подумал: а не занимаемся ли мы также своеволием, установив связь с англичанином и пытаясь найти помощь в Брюсселе? И, попросив разрешения "доложить", рассказал о появлении на кирпичном заводе Крофта, о нем самом, о поездке, которую я предпринял с ведома и одобрения Устругова.

Дюмани выслушал мой рассказ с явным осуждением, и я не знал, относится ли это ко мне или к замыслу англичанина. Как всякий кадровый военный, привыкший принимать четкие и ясные решения, он готов был высказаться против, но Валлон предупреждающе поднял руку.

- Не спешите, не спешите. Нужно подумать...

- Поезжайте, - сказал он, наконец, после раздумья. - Поезжайте. Помощь никогда не может быть лишней. Заодно и разузнайте кое-что. У нас есть сведения, что советскими пленными в Бельгии занимается, помимо нас, еще кто-то. А вот кто, не знаем. Может, вам удастся узнать это...

Дюмани озадаченно посматривал на нас. Он не понимал ни действий англичанина, ни советов своего друга. Но когда Валлон спросил его, не возражает ли он против такого поручения, чуждый колебаниям и неясностям, кадровый офицер отчеканил:

- Не возражаю.

На другой день, как я мог определить с чердака "Голубой скалы", полицейских с моста сняли. Я поспешно вернулся к Крофту, и уже час спустя наша машина перебралась через опасный мостик, с воем одолела подъем и продребезжала мимо "Голубой скалы". Отодвинув правой рукой занавеску, Аннета

стояла у открытого окна. Побледневшие губы дрожали, удерживая плач, глаза уже не просили, а требовали: "Возвращайся! Непременно возвращайся!"

Милая, славная Аннета! Сколько раз провожала она меня, боясь, что смерть помешает мне вернуться! Сколько раз прощалась со мной, страшась не увидеть снова!

- Я жду тебя, - говорила она потом со слезами и улыбкой радости. Всегда жду, когда тебя нет. А ты бываешь так редко, так мало, что в моей жизни не осталось уже ничего, кроме этого ожидания...

В Брюссель мы приехали ночью. Город был темен и тих. Из окна мансарды пятиэтажного дома, где меня поселили, совсем ничего нельзя было увидеть днем (плотная штора, к которой я не решался прикоснуться, скрывала все) и очень мало ночью. Погасив свет в комнате, я отодвигал осторожно штору и выглядывал. Внизу тянулся черный коридор улицы, напротив, едва различимые, выступали крыши. Когда поднималась луна, крыши блестели, окна затемненных домов казались черными провалами. Иногда в этих черных квадратах появлялись какие-то блеклые пятна: неведомые мне соседи смотрели, как и я, на ночной город. Порою снизу доносились мерные громкие шаги немецких патрулей, шествовавших по самой середине мостовой. Напуганные нападениями, завоеватели держались подальше от домов. Время от времени проносились легковые машины с затемненными фарами. За ними с грохотом летели грузовики, приспособленные для перевозки арестованных. Это немецкая полиция спешила ловить таких же, как я, противников "нового порядка", которые прятались в мансардах, на чердаках или в подвалах.

Днем я слышал бесконечный топот ног. Утром он был четкий, торопливый, иногда даже легкий, к вечеру тяжелел, становился медлительнее. Идущие устало шаркали, с трудом поднимая и передвигая ноги.

Несколько дней и ночей я одиноко томился в мансарде, не отваживаясь покинуть ее. Крофт, доставивший меня сюда, исчез, коротко сказав, что за мной придут. По пути сюда он убеждал меня, что нашей судьбой заинтересовались некие влиятельные и богатые люди, особенно одна дама, которую называл "мадам". Сам он лишь выполнял роль связного. Его, видите ли, попросили привезти в Брюссель кого-нибудь из русских, кочующих в Арденнах. И он, Крофт, выбрал меня потому, что знал по лагерю и побегу. Он считал меня наиболее подходящим: говорю по-французски, могу объясняться по-английски и пользуюсь у русских влиянием.

Однажды в полдень хозяйка впустила в мансарду девушку или молодую женщину. Светловолосая и сероглазая, с красивым умным лицом и немного грузной для ее лет фигурой гостья внимательно осмотрела меня, сказала: "Добрый день", - и осведомилась о моем здоровье на великолепном французском языке. Едва хозяйка покинула мансарду, она подвинулась ко мне и, перейдя на русский язык, которым владела не хуже меня, сообщила, что пришла по поручению мадам Тувик. Мадам хотела побеседовать со мной, и нам следовало немного пройтись, чтобы встретиться с ней.

- Сейчас? В полдень?

- Да, сейчас, в полдень, - слово в слово повторила гостья с легкой улыбкой. - Вечером они (кивок головой на улицу) останавливают всех, проверяют пропуска, а если пропуска нет, забирают...

Она придирчиво осмотрела мою одежду, перевязала галстук, сделав "модный" узел, и посоветовала убрать вихрастый козырек, нависавший на мой лоб. Прическа, по ее словам, выдавала мое русское происхождение, и никакой паспорт не докажет иного. Когда расческа и щетка не помогли, гостья спустилась к хозяйке и вернулась вскоре с бриллиантином. Эта липкая жидкость усмирила топорщившиеся волосы, и ровный пробор лег, наконец, белым кантиком на прилизанной голове.

Мы вышли. Залитая солнцем улица была сравнительно пустынна. Несколько женщин брели с неизменными сумками и корзинками: вся Европа жила тогда по карточкам, недельный паек целой семьи умещался в сумке, которую женщина несла на согнутой руке. Изредка попадались пожилые мужчины, шедшие медленной и усталой походкой. В открытых кафе и пивных стайками сидели девицы, около которых увивались прыщеватые немецкие лейтенанты, получившие увольнительные из мелких гарнизонов, охранявших берег Северного моря.

Спутница легко несла свое полное тело, посматривала красивыми, все схватывающими глазами по сторонам.

- Возьмите меня под руку, - тихо командовала она, заметив что-то подозрительное. - Прижмитесь... Сделайте вид, что увлечены разговором...

Навстречу двигались размеренно и четко, как роботы, немецкие офицеры. Вынырнув из канцелярий многочисленных и многолюдных тыловых учреждений, эти служаки тем строже блюли воинский ритуал, чем дальше были от войны. От кончиков сапог до сверкающих крылышек кокарды на фуражке они воплощали геройство, строгость и дисциплину, и горе было мешковатым пожилым солдатам фольксштурма, если вовремя не

"брали шаг" и не тянули свои большие загрубевшие руки под козырек. Чтобы не привлекать внимания, я наклонял голову к спутнице, а она, наоборот, посылала сверкающий взгляд офицеру, и тот, встречаясь с вызывающей улыбкой, еще больше задирал голову.

Не в меру любвеобильный пожилой майор попался на эту улыбку, как на крючок, остановился в двух шагах от нас и попытался заговорить на ломаном французском языке. Спутница ответила ему на таком хорошем немецком языке, что тот удивленно отступил и козырнул, пристукнув каблуками.

Когда я намекнул, что спутница поступила неосторожно, заговорив с ним по-немецки, она усмехнулась.

- Немецкий язык - самое верное средство. Старые ловеласы хотят легких связей с "туземками", как они выражаются, и как огня боятся немок.

- А вы не немка? - спросил я явно некстати. Мне хотелось выведать о ней что-нибудь.

- Нет, я не немка, - охотно ответила она. - Я русская, и зовут меня, если хотите знать, Ксения, Ксеня...

- Русская? Как же попали вы сюда?

- Моего отца выгнали из России. Не берусь судить, правильно сделали или нет. По-моему, неправильно, но мое мнение ровно ничего не значит. Вместе с ним уехала мать и сестра, а я родилась уже здесь. Отец и мать до самой смерти считали себя русскими, русской считаю себя и я.

- А эта... как вы ее назвали? Мадам Тувик? - спросил я. - Кто она?

- Моя старшая сестра.

На просторной улице с несколькими рядами деревьев посередине мы остановились перед большим домом. Стеклянная дверь, прикрытая с улицы узорчатой решеткой, сверкала медью и лаком. Спутница позвонила. Минуту спустя на мраморной лестнице, белевшей за дверью, показался швейцар. Шел он спокойно и важно, как министр. Пропуская нас мимо, не согнулся, как полагается швейцару, а, наоборот, вскинул плечи и осмотрел меня таким пытающим взглядом, точно знал, кто я, и оценивал, применяя только ему известную мерку. Швейцар был настолько необычен, что, поднимаясь по лестнице на второй этаж, я так же внимательно осмотрел его. Это был квадратноплечий, крепкорукий мужчина с грубым лицом, на котором особо выделялся тяжелый, ковшеподобный подбородок. Он мог быть телохранителем, громилой, наемным убийцей.

В просторной и богатой гостиной навстречу нам поднялась бледная, хрупкая на вид женщина лет тридцати пяти. Своим

красивым лицом она походила на мою спутницу, хотя это лицо уже сильно поблекло и выглядело не просто усталым, а каким-то измученным.

- Мадам Тувик, - тихо сказала Ксеня, чуть заметно толкнув меня под локоть.

Мадам подала тонкую, унизанную перстнями руку.

- Здравствуйте, Забродов. Мне хотелось встретиться с вами, потому что нам нужна ваша помощь.

- Вам? Кому это вам? И какая помощь?

Хрупкая женщина знала, что хозяйка - она, и учила меня помнить это. Она не ответила на мои вопросы, будто и не слышала их. Посадив меня лицом к свету, сама села напротив. Разговаривая, смотрела прямо и очень смело в глаза. То ли пробовала силу воли, то ли проверяла, не спрячу ли я глаза. Говорила быстро, плавно и допрашивала очень осторожно, не настаивая на немедленном ответе, но неизменно и неоднократно возвращалась к вопросу, который заставил меня запнуться.

Затем мадам Тувик заговорила о положении в России, похвалила отвагу и напор русских (она ни разу не употребила слово "советский") и выразила надежду, что победа союзников не заставит себя ждать.

- Теперь многие пытаются примазаться к делу союзников, - с усмешкой заметила она. - Ищут только подходящего случая. Некоторые пытаются использовать даже русских военнопленных, оказавшихся в Бельгии. Нашлись люди, которые привлекают русских на свою сторону, выдавая себя за их единомышленников, политических единомышленников. А единомыслие сейчас может быть одно: разбить немцев.

Она ограничилась этими намеками. На мой прямой и несколько неуклюжий вопрос, о ком она говорит, мадам Тувик опять сделала вид, что не расслышала или не поняла. Однако она и слышала и поняла. Когда заговорила, я догадался, что мадам дает мне ответ, хотя опять-таки не прямо, а косвенно, намеками. Мадам рассказала два или три случая, когда бельгийские коммунисты поставили свои узкопартийные интересы выше интересов не только Бельгии, но и всех союзников. Тем самым они вольно или невольно - мадам была великодушна, она готова была допустить, что скорее невольно, помогали нашим врагам. Именно против этого она считала святым долгом русской предостеречь своих молодых соотечественников, оказавшихся в это тяжелое время на чужбине.

Хитрая и осторожная, она понимала, что совет всегда более весом, если подкрепляется чем-то осязаемым, материальным, он более убедителен, если поддерживается силой. Снова играя в

недомолвки, она намекнула, что "подлинные друзья" готовы оказать молодым русским денежную помощь. Кроме денежной помощи, мы можем получить оружие и особенно удобные и надежные средства для проведения "кое-каких операций". Эти блага сопровождались едва слышным "если". Если мы последуем советам подлинных друзей... Если проведем операции, которые подскажут...

Мадам Тувик ставила меня в трудное положение. На кирпичном заводе собралось уже около сорока человек, и деревня Жозефа не могла прокормить такую ораву. Но больше всего мы нуждались в оружии и особенно в боеприпасах. Партизаны не могли бы выдержать серьезного боя. Через десять-пятнадцать минут наши автоматы были бы немы, как палки. Без патронов, гранат, горючей жидкости мы были не партизанами, как гордо именовали себя, а шайкой обозленных и беспомощных людей. Мы не могли обойтись без помощи. Устругов и я готовы были поклониться в ноги каждому, кто помог бы партизанам. Но ни я, ни он не думали об этих "если". Что делать с ними? Кто и что будет советовать?

Спасительное и всеобъемлющее "авось" подогрело мою решимость. "Авось" советы не повредят нам. "Авось" советники окажутся неплохими. "Авось" сумеем избавиться от них и их советов, если найдем нужным. И с храбростью невежды я согласился принять "если" мадам Тувик.

Настороженные глаза собеседницы стали мягче, она даже улыбнулась и положила свою узкую руку на мой локоть.

- Я так и думала, что мы договоримся.

Она позвонила. В гостиную осторожно и подобострастно вошел тот самый швейцар, который так внимательно изучал меня. Мадам одобряюще улыбнулась ему и кивнула на меня:

- Познакомьтесь, Петр Петрович.

Швейцар откинул свои широкие плечи, вытянулся и гаркнул:

- Поручик царской армии Макаров.

От неожиданности я замер, потом, не придумав ничего умнее, отрапортовал:

- Лейтенант Красной Армии Забродов.

Хозяйка засмеялась, хотя глаза ее оставались по-прежнему настороженными и холодными. Наверное, со стороны мы действительно казались смешными: два штатских человека, стоявших навытяжку друг перед другом и козырявших званиями. Я смотрел на "поручика царской армии", на его тяжелый подбородок, крупные узловатые руки и думал: "Сколько наших людей, отцов, братьев отправил ты на тот свет? Сколько крови на твоих руках?" Однако когда тот протянул руку мне, я пожал ее:

это было первое "если", без которого, думал я, не будет у нас ни патронов, ни гранат, ни горючей жидкости.

Мадам Тувик прищурила свои серые глаза с хозяйской надменностью.

- Петр Петрович будет поддерживать связь с вами, - сказала она мне спокойным, даже скучным тоном, как говорят о незначительном деле. - Он отправит вас назад. Вскоре он присоединится к вам. Петр Петрович исколесил страну вдоль и поперек и знает многое из того, что может быть очень полезным. Я очень советовала бы вам прислушиваться к его словам.

- Поручик будет нашим советником?

Она услышала нотку настороженности и неприязни в моем голосе и опять положила руку мне на локоть.

- Нет, зачем же советником? Мы не хотим вмешиваться в ваши дела. Просто слушайтесь его, как... - она долго не могла подобрать нужного слова, - как... более знающего, что ли...

Только тут я понял, что вся эта сделка не обещает ничего хорошего с самого начала. Несколько растерянно и сердито я объявил, что мои товарищи могут отказаться принять поручика. Они могут послать к черту его советы и его самого.

Мадам начала было говорить что-то о враге, ненавистном всем русским, но Макаров перебил ее:

- Чего там антимонии разводить?.. Дело тут ясное, как пятак: хотите помощи, примите меня и делать будете, как я скажу... Не хотите - как хотите... Не будет вам никакой помощи ни от нас, ни от англичан.

- Какая связь может быть между вами и нашими союзниками?

Макаров засмеялся, откинув голову и выставив большой кадык.

- Какая связь между нами и англичанами? А кто вас сюда доставил? Разве не англичанин? Или вы в самом деле поверили, что он только выполнил просьбу мадам Тувик? Как бы не так!

Теперь я вспомнил странные обстоятельства появления Крофта на кирпичном заводе, его тайные перешептывания со Степаном Ивановичем, обещание помощи со стороны влиятельной и богатой дамы. Я начинал понимать, что Степан Иванович, Крофт, Ксеня, мадам Тувик, Макаров - только звенья большой цепи, которой кто-то сильный и неведомый пытается связать нас и приковать к чему-то.

- Будь хоть кто за вами или с вами, - продолжал упорствовать я, - мы не примем никого и не послушаем ничьего совета, если наши парни по доброй воле не согласятся на это.

- Перестаньте антимонии разводить, - повторил Макаров. - Все примете. Примете не по доброй воле, а по необходимости.

Добрая воля - пустой звук, пыль, мечта. Люди подчиняются необходимости, которая всегда сильнее их. Подчинитесь и вы ей, если, конечно, у вас хватит ума не подохнуть с голоду в горах...

Разговор был прям и даже жесток. Я понимал наше тяжелое положение и, чтобы не ухудшать его, попросил дать мне время, чтобы посоветоваться с ребятами.

Макаров не хотел ничего слушать, но мадам Тувик нашла мои доводы разумными и согласилась подождать несколько дней. На мой вопрос, как известить ее о нашем решении, она только улыбнулась:

- Вы только решите... Остальное без вас сделают...

Ксеня проводила меня в мансарду, посоветовав быть готовым к отъезду. Утром Макаров посадил меня в грузовик, идущий в Люксембург.

- Он высадит вас в Марше, - глухо сказал он вместо прощания.

Вечером того же дня я действительно был снова в Марше, в "Голубой скале", и рассказывал Валлону (Дюмани куда-то уехал) о встрече с мадам Тувик. Тот выслушал меня молча, долго барабанил тонкими длинными пальцами по столу, потом тяжело вздохнул:

- Придется согласиться. Мадам Тувик действительно связана с англичанами, а без них и особенно против их воли нам тут будет очень трудно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

На другой день после моего возвращения из Брюсселя власти расклеили на стенах Марша объявление, что в ответ на участившиеся акты диверсий и нападения на офицеров вермахта арестованы бельгийские заложники. Если в городах и поселках, откуда они происходят, будут отмечены диверсии или террористические акты, заложников расстреляют. Дома, в которых "бандиты" найдут приют, будут сожжены, а их владельцы преданы суду военного трибунала.

Одно из этих объявлений было наклеено на ворота гостиницы, и, когда они распахнулись, пропуская камион Шарля, я смог прочитать немецкую угрозу. Старый Огюст с сердцем захлопнул ворота и резко брякнул засовом.

- Пугают... А чего пугают? Страшнее расстрела родного сына все равно ничего не придумают. А сына уже...

И пошел к сеням, горбясь и тяжело волоча ноги.

- У вас дочери, дядюшка Огюст, - сказал я ему вслед. - У вас дочери, и их надо беречь...

"Дядюшкой" звали его Шарль и Жозеф. За ними и мы с Георгием тоже стали называть его "дядюшкой Огюстом", хотя

прибегали к этому лишь в тех случаях, когда обращение было просто необходимо. Величать его "господином" или "товарищем" не осмеливались, а против "дядюшки" старик не возражал.

- Что дочери... - пробормотал он, останавливаясь. - Сегодня они тут, а завтра их нет. У них свои будут семьи, свои фамилии. Со мной моя фамилия кончится. А фамилия моя уже две сотни лет на этой гостинице красовалась. И чтоб удержать ее на вывеске, мне наследник нужен. Наследник... Сын...

Он постоял немного, сгорбленный и удрученный, подождал, что я скажу, и, не дождавшись, ударом ноги открыл дверь и скрылся.

Полчаса спустя ко мне на чердак поднялся Шарль и шепотом рассказал, что немцы арестовали хозяина одинокого двора, у которого Стажинский жил. Крестьянин сказал только, что видел рядом в лесу людей, но не знал и не знает, кто они и зачем проходили мимо, слышал взрыв, думал, что рвут скалы. Полицейские побывали в деревне, где прятался Лобода. Однако крестьяне смогли лишь рассказать, что в этих местах появлялись иногда какие-то люди, а что за люди, этого не знали. В лесу вокруг деревни, где жил с товарищами Химик, полицейским повстречался одинокий человек, который бросился бежать от них. Его застрелили. Обросший, худой и оборванный, он не имел в карманах никаких документов. Судя по описаниям крестьян, это был Химик.

Шарль хотел, чтобы я немедленно шел в деревню Дяди и увел его на кирпичный завод.

- Но ведь Дядя не принимал никакого участия в нападении на мост. Мы не нашли тогда ни самого, ни ребят его. Они, наверно, о мосте ничего даже не знают.

- Немцы едва ли будут спрашивать их об этом, - досадливо поморщился Шарль. - Им достаточно того, что это русские и что они бежали из плена.

Я заторопился, готовясь тут же уйти. Бельгиец посоветовал подождать ночи: "Не ровен час, встретишь доносчика или полицейского".

Едва стемнело, ко мне пришла Аннета. Она была обеспокоена и смотрела на меня такими глазами, точно прощалась навсегда. Бельгийцы отвергали завоевателей душой, издевались над ними заглаза, порою не прочь были напакостить им. Однако они еще не знали тогда, как тяжела и беспощадна может быть рука этих вылощенных, выутюженных, тщательно выбритых и надушенных немецких офицеров, которых привыкли видеть на своих улицах, в кафе и ресторанах. Аннета хотела проводить меня до дороги, по которой легче всего добраться до деревни Дяди, и, как я ни

отговаривал ее, настояла на своем.

Мы спустились во двор и взобрались по хорошо знакомой лесенке на вершину скалы. Погруженный во тьму городок еще не спал, и сюда доносились обычные звуки провинциального вечера: крик матери, зовущей детей домой, звон падающего ведра или засова, простуженный голос патефона.

Расставание делает человека сентиментальным. Я обнял Аннету за плечи, и она, тихо вздрагивая, прижалась ко мне.

- Я боюсь, - прошептала она. - Я до сих пор совсем не боялась, а теперь боюсь чего-то. Почему это?

- Не знаю, Аннета. Я тоже боюсь... Нет, не боюсь, а тревожусь. За тебя, за Мадлен, за отца твоего...

- Знаешь, - сказала она, - я боюсь потерять что-то. Даже не знаю что. Но, кажется, что-то важное.

- А раньше не боялась потерять это важное?

- Раньше? Мне кажется, раньше этого важного у меня не было.

Сколько раз бывал я в ночном лесу, черном, загадочном и поэтому немного пугающем! И чем больше всматривался в него, тем больше настораживался. Черные кусты выглядят фантастическими чудовищами, притаившимися во тьме, чтобы схватить тебя, когда приблизишься к ним. Холодок опасности, в которую не веришь, все же ложится на сердце. В ту ночь лес был родным домом. Нас подводили иногда ноги, забредающие в ямы или рвы, но глаза не видели пугающих призраков: им просто не было места в наших сердцах.

Часа через три выбрались мы на лесную дорогу и стали прощаться. Прощались долго, как могут прощаться только влюбленные. Вспомнив о том, что нужно уходить, обнимались в последний раз. И снова не могли оторваться друг от друга.

- Я провожу тебя еще немножко, - говорила Аннета и шла дальше. Пройдя метров сто, я останавливал ее, и мы опять прощались долго, а потом Аннета тихо просила:

- Позволь мне проводить тебя еще немного. Ну, совсем, совсем немного...

И мы снова шли, останавливались, прощались и снова шли. Наконец она объявила:

- Одной мне возвращаться через лес страшно. Я пойду с тобой, пока не станет светло. А как станет светло, я вернусь домой...

Никогда дорога не была для меня так легка, как дорога через арденнские леса в ту теплую летнюю ночь. Я и теперь вижу себя среди притихших черных деревьев, а рядом с собой славную бельгиечку. Аннета прижималась ко мне крепеньким горячим телом и шептала:

- А знаешь, я поняла, что боюсь потерять. Тебя...

- Я не собираюсь теряться и не потеряюсь.

- Да? - с надеждой и тревогой переспрашивала она. - Ты не потеряешься? Никогда не потеряешься? И ты не имеешь права теряться, не имеешь... Ты вошел в мою жизнь, ты стал частью меня самой, очень большой частью. Отыми ее, и у меня ничего не останется, мне жить не захочется. Понимаешь ты меня? Ах, как бы мне хотелось, чтобы ты понял меня!..

Конечно, я понимал ее, чувствовал, что значит потерять человека, который входит в твою жизнь, приносит радость уже одним тем, что существует. Я верил, что не потеряюсь сам и не потеряю ее, но сердце мое заныло, когда в сером свете утра Аннета удалилась от меня по узкой лесной дороге. Недавно совсем чужая, а теперь такая близкая, она уносила с собой ничем не заменимую радость, которую дает присутствие любимого человека.

Около полудня я добрался до деревни, в которой жил Дядя. Парень возился возле каменного двора, стоявшего несколько на отшибе. Окликнутый мною, он растерянно выпрямился, оглянулся по сторонам и только после этого направился ко мне.

Высокий, под стать Устругову, с еще более широкими, чем у моего друга, плечами и непропорционально маленькой головой, Дядя выслушал мой рассказ обеспокоенно и явно расстроился, когда я посоветовал забрать ребят и немедленно покинуть деревню.

- Понимаешь, нехорошо как получается, - сказал он, взяв меня за плечо и повернув к себе. - Понимаешь, уборка здесь только началась, и бельгийцы, понимаешь, очень на нас надеялись. Хлеб тут, понимаешь, не бог знает какой - земли-то кот наплакал, - но участочки расположены, понимаешь, на таких горках, что до них на карачках добираться приходится. Тут, понимаешь, мужской труд непременно нужен, а откуда тут мужчинам быть? Все в немецком плену. Я всех ребят своих на уборку мобилизовал. Сейчас, понимаешь, день год кормит, и упусти этот день - без хлеба насидишься.

- Все это верно, конечно. Но немцы могут нагрянуть сюда каждую минуту. Они теперь злы, как осенние мухи, и с нашим братом у них разговор один - пулю в лоб или спину.

Парень уставился на меня маленькими светлыми глазками, поскреб висок и тяжело вздохнул.

- Понимаешь, все-таки нехорошо. От немцев пощады, понятно, не будет. Им что наши жизни? Не дороже пули. Но, понимаешь, соседи наши, бельгийцы то есть, на это с другой точки посмотрят. За шкуры, скажут, свои испугались и нас

бросили. Немцы-то, понимаешь, могут нагрянуть, а могут и не нагрянуть, а вот хлеб-то на тех горных участках наверняка останется.

И еще больше насупился.

- За предупреждение, понимаешь, спасибо, - виновато, но твердо пробормотал он. - Управимся с урожаем, придем...

- Ты же рискуешь не только своей жизнью, - пытался урезонивать я. - И жизнями ребят рискуешь.

- Не могу иначе поступить, - тем же виноватым тоном произнес Дядя. Не могу. И ребята тоже. Не можем мы, понимаешь, людей обмануть, если они всю свою веру на нас положили. Мы их не только без хлеба на зиму оставим, но и веры этой в нас самих, понимаешь, лишим. А это, понимаешь, все равно, что себя самого обворовать...

Он помолчал немного, вскинув вопросительно свои мелкие глазки: доходит до меня это или не доходит? Ему, видимо, показалось, что я не понимаю его, поэтому решительно закончил:

- Нет, пока урожай, понимаешь, не уберем, не уйдем...

Своим крестьянским сердцем Дядя чувствовал, как важно для обитателей горных деревушек убрать урожай с жалких клочков, отвоеванных упорным трудом многих поколений у гор и леса. Он не мог оставить этот урожай осенним ветрам и дождям. В его словах слышалось жадное упорство крестьянина, знающего цену хлебу, и я понял, что никакие доводы не смогут переубедить его. Посоветовав принять некоторые меры предосторожности и объяснив, как добраться к нам, я простился с Дядей.

К кирпичному заводу вело несколько дорог; я выбрал ту, которая проходила поближе к Маршу, и поздно вечером того же дня спускался по лесенке, ведущей с вершины скалы во двор гостиницы. Проскользнув, как обычно, вдоль стены, осторожно поднялся на чердак и, шаря руками в темноте, стал искать постель. В черной тишине вдруг звонко хрустнул спущенный предохранитель пистолета, и я замер, ожидая блеска смертельной молнии и грома, который едва ли бы услышал. Вместо выстрела донесся робкий шепот:

- Кто тут?

Это был Жозеф, и я чуть не вскрикнул от радости.

- Жозеф, чертяка... Что ты тут с пистолетом играешь?

- Тихо ты, тихо, - сердито зашикал он. - Немцы кругом.

- Как кругом? И здесь, в "Голубой скале"?

- И здесь, в "Голубой скале".

- Чего же ты прячешься здесь? В лесу переночевать не мог, что ли?

- Не успел удрать. Во дворе был, когда они к гостинице

подкатили. Вот и жду тут, чтобы угомонились.

- А Валлон? Где Валлон? Успел уйти?

- Зачем ему уходить? У него бумаги надежные, главным немецким генералом выданы. Он может в Брюссель вернуться, когда сам захочет.

Я сел рядом с Жозефом. Мы замолчали, настороженно прислушиваясь к глухим голосам, которые доносились из дальней части дома. Мне надо было уходить с Жозефом: встреча с немцами ничего хорошего не обещала. Но я очень боялся за семью старого Огюста и прежде всего за Аннету. Жозеф попытался рассеять мои страхи.

- Ни дядюшке Огюсту, ни его дочкам ничего не угрожает.

- Почему?

- Потому, - односложно отвечал Жозеф, не объясняя.

Вскоре мы услышали поскрипывание лестницы. По той осторожности, с какой ставили и переносили ногу с одной ступеньки на другую, поняли, что пробирается не враг. Но кто это мог быть? Аннета? Шарль? Мадлен? Может быть, сам старый Огюст? Дверь на чердак открылась, и Валлон тихо позвал:

- Жозеф... Жозеф... Ты где?

- Тут... Тут я. И Забродов тут.

- Я тут, - подтвердил едва слышно я. - Только что вернулся.

- Очень хорошо, что только что вернулся, - шепотом одобрил Валлон. Было бы хуже, если бы вернулся раньше и на немцев нарвался. Или позже, к утру.

Валлон подвинулся поближе и тихо посоветовал:

- Уходить надо немедленно. Сдается мне, что немцы насчет кирпичного завода пронюхали и туда собираются. Нужно ребят предупредить...

Менее чем через пятнадцать минут я был снова в лесу. И на этот раз рядом шли Валлон и Жозеф.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Хотя ничто еще не говорило о грозящей опасности, в бараке "братьев-кирпичников", ставшем теперь многолюдным и тесным, чувствовалась нервозность тревожного ожидания. Немцы не могли оставить нападение на мост без возмездия, и мы ждали появления в Арденнах "карателей". И чем тише и спокойнее текли один за другим дни, тем тяжелее и напряженнее становилось это ожидание. Казалось, что дремлющие под жарким солнцем арденнские леса накапливали скрытую, но беспощадную опасность. По ночам она подбиралась вместе с темнотой вплотную к нашему бараку, и иногда даже чудилось, что из черноты окружавшего леса вот-вот хлынет на дощатый барак острый, всесокрушающий огонь пулеметов.

Наше появление в бараке вызвало возбужденное любопытство.

- Где пропадал? - резко спросил меня Лобода, положив на плечо тяжелую руку. - С какими новостями вернулся? - И, не дав мне ответить, кивнул в сторону Валлона: - Кто таков? Наш брат беглец или кто?

Устругов отвел меня в сторонку.

- Будет помощь или нет? И как скоро?

После моего рассказа на его озабоченном и хмуром лице появились растерянность и недоумение.

- Не понимаю, совсем не понимаю, - пробормотал он. - Англичане союзники наши. Зачем же понадобились им беляки, чтобы связь с нами поддерживать? И зачем нам белоэмигрантов в советники давать? Обходились без них и дальше обойдемся.

- Политика дальнего прицела, Гоша.

- Не понимаю этого, не понимаю...

- Спроси Валлона, он разъяснит.

- Валлон тоже чужой. Разъясни ты, если можешь.

- Нам Валлон не чужой, Георгий. Он принадлежит к тем бельгийцам, которые, как говорит Шарль, стремятся устроить свою послевоенную жизнь вместе с нами. Их интересы совпадают с нашими не только в войне, но и в мире. Может быть, они думают и действуют иначе, но цели у нас одни.

Георгий задумался, отчего выражение на его лице стало еще более озабоченным и мрачным.

- Опять не понимаю. Ничего не понимаю, - почти с отчаянием прошептал он. - Если Валлон с нами в войне и мире, то почему же он посоветовал тебе соглашаться на условия этой мадам?

- Потому что за мадам стоят англичане. В нашем нынешнем положении мы не может действовать не только против их воли, но даже без их одобрения.

- И ты говоришь таким спокойным тоном, точно тебя это вполне устраивает.

- А меня это действительно вполне устраивает. Пока идет война, мы должны действовать вместе с англичанами...

- И даже с присланными ими советниками-беляками?

- И даже с советниками-беляками. В войне, Гоша... Только в войне. К миру мы пойдем вместе с Валлоном и теми бельгийцами, которые захотят устраивать послевоенную жизнь вместе с нами.

- Объяснил! - саркастически воскликнул Устругов. - И где ты только так заковыристо говорить научился? Из тебя, наверное, дипломат хороший вышел бы. Или философ. Те тоже закручивают так умно, что читаешь или слушаешь, а ничего не понимаешь...

Он, однако, прибеднялся и хитрил: я чувствовал - друг мой все понял.

Вокруг Валлона, которого Степан Иванович вызвал на разговор, собрались настороженные слушатели, и на лицах их, как я заметил издали, все отчетливее проступало недоверие. Подвинувшись к ним, я догадался, в чем дело. Одни слушатели совсем не понимали бельгийца, другие понимали плохо, а Степан Иванович переводил им только отдельные фразы по своему выбору. Доверенный Крофта или мадам Тувик стремился создать у обитателей барака ошибочное, даже извращенное представление о нашем товарище по концлагерю и побегу. Я немедленно протиснулся в круг и предложил свои услуги в качестве переводчика.

- Зачем нам переводчик? - всплеснул руками Степан Иванович. - Мы ведь и так понимаем друг друга. Верно ведь?

- Верно, верно, - неуверенно подтвердили несколько голосов. - Да и чего тут особенно понимать? И так видно, что человек к нам примазаться хочет. А зачем?

Мне пришлось коротко объяснить, кто такой Валлон, где мы с ним встретились, как вместе бежали и пробирались через Голландию в Арденны. Подошедший Стажинский добавил, что Валлон не покинул беглецов в Арденнах, пока не пристроил всех. Больному Бийе нашел врача, который поставил его на ноги.

- Чудак человек! - с насмешкой воскликнул Аристархов. - Сам про себя сейчас такое наговорил, что хоть гони сразу прочь. А на самом деле мужчина, оказывается, невредный, совсем невредный...

Валлон озадаченно смотрел на окружавших его людей. Он не понимал ни того, почему их участливые вначале лица заметно мрачнели по мере того, как Степан Иванович переводил его ответы, ни того, почему неприязнь на их лицах исчезла, уступив место прежнему любопытству и благожелательности.

Ободренный этой переменой, Валлон начал рассказывать, зачем, собственно говоря, пришел сюда, на кирпичный завод. Он рассказал о расклеенных в бельгийских городах и поселках немецких предупреждениях, об арестах заложников и угрозе расстрелять их. Валлон сообщил далее, что немецкие полицейские рыскают в окрестностях Марша и Ляроша. Похоже, что они пронюхали о нашей партизанской группе. В сводках, которые посланы в Брюссель, группа именуется хорошо организованным отрядом с опытными офицерами во главе.

- Оказывается, враг оценивает нас много лучше, - заметил Деркач. Знали бы они, какие мы на самом деле организованные. До сих пор старшего над всеми выбрать не можем...

- У нас есть старший! - выкрикнул кто-то. - Капитан наш...

- Капитан не способен выполнять обязанности командира, - возразил Деркач. - Он серьезно ранен и пока не поправился. А устав говорит, что командование должен принять старший по званию.

- У нас четверо старших по званию, - насмешливо вставил тот же голос.

- То-то и оно, что четверо, - мрачно повторил Деркач. - Поэтому из четырех выбирать придется. В условиях партизанской...

- Ладно, слышали уже! - бесцеремонно прервал крикун. - Зачем выбирать, если у нас капитан есть...

- Командир нужен, - поддержал Валлон. - Немцы могут появиться здесь в любой час, и тогда просто времени не будет, чтобы советоваться и решать вместе.

- Вот и я долблю им: нужен командир, нужен командир, - подхватил Деркач.

- Конечно, нужен, - веско объявил Стажинский. - И группа стала больше, и обстановка сложнее.

- Солдаты без командира, что семья без отца, - подал голос Мармыжкин.

- Философия, - изрек все покрывающее слово Клочков.

Тогда, вскочив на табурет, я закричал, чтобы все подошли поближе. И когда несколько удивленные обитатели барака собрались, я повторил рассказ Валлона о том, какие меры принимают немцы для борьбы с партизанами и предложение Деркача выбрать командира. В новой и опасной обстановке мы не могли оставаться без командира даже на один день. Возражений не последовало, и я спросил:

- Кого изберем?

Молчание было длительным и настороженным. И вдруг Стажинский взметнул руку и громко провозгласил:

- Предлагаю Устругова... Он неуклюж немного, слишком прямолинеен и не умеет скрывать, что у него на сердце или на уме. Но он, как я убедился во время побега, великолепный товарищ, верный, надежный и смелый...

- Хорькова! - выкрикнул кто-то. - Капитана Хорькова... Он старше...

- Лободу! - раздалось в ответ. - Лободу!

- Устругова! - радостно завопил Яша Скорый. - Устругова!..

- Устругова! - почти так же громко подхватил Аристархов.

- Я тоже за Устругова, - вежливо вставил Прохазка. - Я тоже видел его. Он не бросил Самарцева на мосту и больше всех нес его. И если бы не он, мы все замерзли бы в лесу в Германии.

- Я знаю Устругова с первых дней войны, - сказал я, почему-то не решившись признаться, что встретился с ним в самый канун войны в Химках. Прикрывал своим взводом его саперов под Смоленском. Вместе был в плену, затем в концлагере, бежали вместе, здесь все время вместе. Честно говоря, нет у нас человека более достойного быть командиром, чем Устругов.

- Я тоже, я тоже, - пробормотал Деркач. - Я за Устругова, хоть ему не хватает командирской собранности, знания устава.

- Устругова, Устругова! - прокричал кто-то за моей спиной. - Видели его, как в бою действует. На него можно жизнью положиться...

Георгий, стоявший в задних рядах толпы, смотрел на меня ошеломленными глазами. Хотя мы не раз говорили о необходимости иметь командира, эта необычная сходка была для него, как и для меня, неожиданной. Неожиданным оказалось и почти единодушное выдвижение его кандидатуры. Георгий понимал, что, избирая его командиром, люди отказывались от своей воли, от свободы, но в еще большей мере они связывали его, делая ответственным за неудачи, за промахи, за раны и смерти, за голод и холод. Все же у него не хватило решимости отказаться.

- Я знал, что это большое бремя, - говорил он мне несколько позже. Но увильнуть от него не мог. Это значило бы переложить бремя на других. На тебя, может быть, на Деркача, на Лободу. Совесть не позволила...

Всем, кто хотел, чтобы Устругов был командиром, я предложил перейти в другой конец барака, а кто не хотел, остаться здесь. Спрыгнув с табурета, я первым пошел туда, где лежал выздоравливающий новозеландец. За мной двинулась почти вся толпа. Гэррит и Кэнхем, сидевшие возле своего товарища, вскочили на ноги, вопросительно уставившись на нас. Я объяснил, что происходит, и летчик тут же объявил, что поддерживает выбор. Кэнхем только вытянулся, чуть пристукнув каблуками. Около табурета остались несколько человек: Степан Иванович, не пожелавший участвовать в выборе командира, двое парней Хорькова да сам Устругов. Он улыбался обрадованно и смущенно, хотя брови озабоченно надвинулись на глаза. Выбор льстил ему и пугал. Оставшись в сторонке от людей, избравших его командиром, Георгий просто не знал, что же делать.

Смущение скоро прошло, но озабоченность и недоумение остались. На мой взгляд, Георгию следовало обратиться к обитателям барака с речью: благодарю, мол, за доверие, буду справедлив, но - теперь уж не обессудьте! - требователен, обстановка сложна и опасна, поэтому нужна бдительность,

сплоченность и дисциплина, дисциплина, дисциплина... Устругов не произнес даже пары слов, и мне показалось, что этим разочарован не только я, но и Стажинский, и Валлон, и другие.

Устругов отправился к раненому Хорькову, посидел рядом, спросил, как тот себя чувствует. Он смотрел на капитана так, словно укорял: ну, когда ж ты поднимешься? Раненый кусал губы, чтобы удержать стон. Георгий тяжело вздохнул, поднялся и начал осматривать оружие. Обнаружив запущенный автомат или карабин, коротко говорил:

- Почисть-ка...

И не отходил, пока обладатель автомата или карабина не приступал к делу. В двух или трех случаях Георгий сам принимался за чистку, если хозяин не мог справиться с незнакомой для него системой автомата.

Это казалось мне тоже неправильным. Однако я уже не решался, как раньше, подойти к нему и выложить свое мнение. Внимательно следивший за ним Деркач так же недоуменно пожимал плечами, но осудить его даже шепотом со мной не осмеливался. Командир был командиром.

Лишь закончив обход всего барака и осмотрев все оружие, Устругов позвал Валлона, Деркача, Лободу, меня и вышел на улицу. Он направился в сторону леса, жестом руки пригласив следовать за ним.

- Давайте поговорим, что делать будем, - сказал он, когда мы добрались до опушки и уселись на высокую, немного подсохшую и потому жестковатую траву. - Уходить в глубь гор? Или что?

Никто не отозвался. Хотя все думали о том, что делать, никто не имел готового мнения. Мне думалось, что надо встретить немцев, ищущих нас в арденнских лесах, ударить по ним в удобном для нас месте, а потом бежать. И я высказал это мнение. Деркачу оно показалось рискованным. Немцы могли, как он выразился, "уцепиться зубами в наш хвост" и не выпускать, пока не настигнут нас. Силы же наши были недостаточны, чтобы "огрызаться как следует". Он думал, что лучше уйти потихоньку в горы, а когда тут все уляжется, "опять вернуться и шарахнуть их".

- Невелика хитрость - запрятаться в горы, - недовольно проворчал Лобода. - Запрятаться и дурак может.

- Ты предлагаешь встретить немцев и дать им бой?

Лобода недовольно повернулся ко мне.

- Ничего я не предлагаю. Я только говорю, что спрятаться и дурак может, тут ума большого не надо...

Деркач пренебрежительно фыркнул и, видимо повторяя чью-то чужую, но хорошо запомнившуюся фразу, назидательно изрек:

- Командир не может ограничиться отрицательным

суждением. Решение командира должно давать его подчиненным возможность действовать. А как могут действовать твои подчиненные, если ты сам ни на что не решаешься?

Направленные в Лободу, эти слова задели Георгия. Он обеспокоенно задвигался, собрал складки на лбу, помрачнел и жестко сложил немного оттопыренные губы.

Валлон, следивший за разговором по моему короткому переводу, осторожно спросил, может ли он высказать свое мнение. Георгий с готовностью и даже обрадованно повернулся к нему.

- В горы, по-моему, уходить рано, - тихо заговорил бельгиец. - Это значит выйти на какое-то время из борьбы, а она становится сейчас все более ожесточенной. Теперь каждый день дорог и каждый человек нужен.

Валлон легонько тронул меня за рукав.

- Захватить врасплох немцев, которые ищут в здешних лесах партизан, трудно. Они не маленькие. Сюда прилетел оберштурмбанфюрер Грессер, а он до этого был в Белоруссии и считается специалистом по борьбе с партизанами. Ввязываться с ними в бой рискованно. Пока оружия и боеприпасов у нас мало...

На лбу Устругова снова появились морщины: надежда на бельгийца не оправдывалась, и командир опять оказался перед тяжелой проблемой, которую не умел решить. Лобода смотрел на Валлона разочарованно, а Деркач насмешливо кривил губы.

Бельгиец помолчал немного, а затем без видимой связи с предыдущим стал рассказывать, что на окраине Льежа находится большой лагерь советских военнопленных. Утром их под конвоем водят в шахты, вечером так же возвращают в бараки, обнесенные забором с проволокой поверху. Между пленными и бельгийскими шахтерами установились подлинно дружеские отношения. Бельгийцы, живущие несравненно лучше, помогают русским одеждой, едой, рассказывают, что происходит в мире. Узнав о больших боях в России, пленные попросили недавно своих бельгийских друзей помочь им бежать на волю. Бельгийцы готовы помочь, но побег потребует больших жертв, если... если...

- Если что? Что если? - нетерпеливо потребовал Георгий.

- Видите ли, - еще тише продолжал Валлон. - У пленных в лагере и у бельгийцев, которые связаны с ними, появилась идея. Очень интересная, на мой взгляд, идея. Если одновременно напасть на охрану лагеря изнутри и с внешней стороны, то можно освободить большую группу советских людей. И не только это. Можно оружия много захватить.

- Что же, они план готовый имеют? - спросил Устругов с надеждой и опасением. - Или только идею?

- Да, план имеют, - коротко подтвердил Валлон. - План давно разработан, да сил у нас было мало, чтобы взяться за его осуществление.

В плане, о котором Валлон рассказал, многое было неясно, поэтому сомнительно. Сомнение, естественно, рождало недоверие, а недоверие тревогу. Приходилось, однако, рисковать. В помощи нуждалась большая группа советских людей, и мы не могли не оказать ее. Во имя этого мы должны были довериться людям, о которых знали очень мало. Впрочем, и те доверялись нам, зная о нас не больше.

Валлон советовал выделить для этого дела человек пятнадцать-двадцать наиболее смелых, ловких, опытных. Им следовало отдать лучшие автоматы и почти весь запас патронов. За ними должен был приехать Шарль, который в одну ночь доставит их на своем грузовике в окрестности Льежа.

- Я составлю группу, - объявил Деркач, едва бельгиец кончил, и начал перечислять, загибая пальцы: - Огольцов, Аристархов, Клочков, Гришанин, Сапунов...

- Балухатый, Спирьков, Занозин, - подхватил Лобода, притрагиваясь указательным пальцем к кулаку Деркача.

- Занозин - размазня, - отверг Деркач. - Давай лучше Гвоздарькова, Паньшина и...

- Лободу, Забродова, Стажинского, Жозефа, - добавил Георгий, смотря перед собой, точно припоминая, кого бы еще включить.

Он достал из внутреннего кармана пиджака маленький блокнотик, подаренный Дениз, и записал имена, заставив Деркача и Лободу повторить их, потом тихо сказал, не обращаясь ни к кому.

- Группу поведу я.

- Почему же ты? - обиженно переспросил Деркач. - Я же первый...

- Группу поведу я, - повторил Георгий, по-прежнему не повышая голоса и не обращаясь ни к кому. - Деркач останется здесь за старшего.

- Это ж неправильно, это не по уставу, - забормотал Деркач. Командир должен оставаться с частью.

- Лейтенант Деркач! - вдруг жестко и даже зло прикрикнул Устругов. Позвольте мне самому решать, что делать. Когда надо будет, я спрошу вашего совета, а пока я не нуждаюсь в нем...

Деркач вскочил на ноги и безмолвно вытянулся: он не просто признавал, он уважал, любил порядок и дисциплину. И в течение всего последующего разговора бывший лейтенант с увлечением демонстрировал свою готовность быть дисциплинированным и

старательно тянулся или четко рапортовал, когда Устругов обращался к нему. На лице молодого служаки появилось выражение обиды лишь на короткое мгновение: без обсуждения Георгий отверг его предложение выставить на дороге к Маршу и Ляроше посты.

- Какие там посты! - пренебрежительно бросил он. - Немцы поймают их, все о нас узнают. Как только мы уедем, немедленно забирайте раненых и уходите поглубже в лес. И не попадайтесь немцам на глаза. Чтобы и духу вашего не учуяли.

- Есть! - восклицал Деркач. - Есть! Чтобы духу не учуяли...

- О предстоящей операции в Льеже никому не говорить, - закончил Устругов, обращаясь ко всем. Лейтенант принял и это на свой счет и опять подхватил: - Есть никому не говорить!..

Однако через несколько минут Устругов сокрушенно вздохнул:

- А ведь секрет операции удержать не удастся. Дело сложное и опасное, и я хотел бы, чтобы на него шли только добровольно. А для этого придется опросить всех. Опросить, конечно, осторожно, под запретом, чтоб не болтали, но все же опросить.

- Мои пойдут, опрашивай их или не опрашивай, - с абсолютно непоколебимой уверенностью заявил Лобода. - Раз своим помочь из неволи вырваться, мои пойдут без опроса. В таком деле у нас даже в мыслях разброда не бывает. Сами знаем, что такое немецкая неволя...

Мне опрос казался опасным: разболтают. Деркач не решился высказаться.

Устругов остался при своем мнении: опросить. Он согласился, однако, сделать это перед самым отъездом, чтобы слух не опередил нас.

Вскоре Валлон уехал, пообещав прислать Шарля. Через несколько дней знакомый нам камион остановился под окнами нашего барака, из кабины выпрыгнул Шарль и подошел к Устругову.

- Собирайтесь побыстрее. Путь будет долог...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

На пути сюда Шарль обогнал две продолговатые, как бы приплюснутые машины, набитые вооруженными полицейскими. Перед гостиницей в Ляроше торчал автомобиль, выкрашенный в несуразный зелено-песчаный цвет с черными потеками: так маскировались машины, которыми пользовались крупные шишки из германской военной администрации. Шарль полагал, что нам не миновать встречи с полицейскими и столкновения с ними. Это не входило в наши планы, и поэтому Шарль направил свой камион не на север, к Льежу, а на юг, к Люксембургу. Проехав

километров пятьдесят, мы повернули на запад к французской границе. Добравшись до западных отрогов Арденнских гор, мы двигались затем вдоль реки Маас, которая охватывает огромной скобой весь горно-лесной массив Арденн.

Дорога оказалась раз в пять длиннее, и вместо одной ночи заняла три дня. В довершение неприятностей грузовик сломался километрах в пятидесяти от Льежа.

Оставив машину в укромном месте, мы двинулись пешком и шли, не останавливаясь, всю ночь, понукаемые упрямым и неутомимым Уструговым. Как и во время побега из концлагеря, он не давал никому засиживаться.

- Пошли, пошли, - торопил он нас. - Прохлаждаться некогда. Валлон ждет...

Валлон, ждавший нас в одиноком домике в лесу недалеко от Льежа, начинал волноваться, не наскочили ли мы на немецкую засаду. Он отправился в Льеж к человеку, работающему по поручению партии в полицейском управлении. Тот успокоил его, сказав, что сообщений о схватках с партизанами - удачных или неудачных - не поступало. Начальник полицейского отряда, посланного в Арденны, донес, что "бандитов" не обнаружено.

Увидев партизан, подходивших гуськом к лесному домику, Валлон отшвырнул бритву и, вытирая рукавом мыльную пену с обритой наполовину щеки, кинулся навстречу и стал обнимать всех подряд, радостно восклицая:

- Наконец-то! Наконец-то!..

Он радовался тому, что вновь увидел нас, и особенно тому, что можно, наконец, приступить к осуществлению нашего замысла - освободить пленных.

Однако вскоре выяснилось, что пока мы тряслись в камионе Шарля по арденнским дорогам, положение в Льеже ухудшилось. То ли предупрежденные кем-то, то ли просто встревоженные усилением недовольства местного населения, власти увеличили охрану лагеря. Перед высоким дощатым забором натянули два ряда колючей проволоки. На вышках поставили прожекторы, которые могли по желанию охраны залить подходы к лагерю ярким светом, и тогда ничто не могло бы спасти нападающих от губительного огня пулеметов.

Мы уже начали думать, что замысел пока неосуществим, и собирались отложить его на более удобное время, когда немцы ослабят меры предосторожности. Из лагеря, однако, передали весточку с просьбой ускорить нападение. Охранники забрали несколько человек, среди них два участника замысла, и другие боялись, что кто-нибудь не выдержит избиений и расскажет. Тогда многие отправятся отсюда в Германию, в концлагеря.

Дюмани, которому сообщили об этом, пожал плечами и стиснул зубы, Валлон нахмурился, а Устругов мрачно опустил глаза. Он не сказал ничего в присутствии бельгийцев, а когда мы вышли из домика, схватил меня за плечо и силой повернул к себе:

- В беде товарищей бросаем... И за это только мы в ответе будем... Не сумели найти...

- Чего найти?

- Того, - односложно ответил он и, помолчав немного, напомнил: - Вася Самарцев говорил, что нет такого положения, из которого нет выхода. И если мы не видим его, значит еще не нашли, значит надо еще искать...

И продолжал искать, хотя почти все смирились с мыслью, что нападение на лагерь придется отложить. И нашел. Узнав, что военнопленных выводят с территории лагеря на территорию шахт, просто пересчитывая их, а не перекликая, и таким же порядком возвращают назад, Георгий предложил нашей группе проникнуть в лагерь и напасть на охрану изнутри. План его был поразительно прост и смел. Вместе с бельгийцами - это обещал устроить Валлон - проникнуть на шахту, опуститься в забой, там переодеться в одежду военнопленных и вечером вместе с ними войти в лагерь. Работавших в шахте не обыскивали, а в мешковатой старой одежде нетрудно было спрятать оружие.

Наши товарищи в лагере подхватили план и обещали подобрать "напарников": двадцать человек, ослабленных тяжелой работой и плохой пищей. Они должны были поменяться с нами одеждой. После этого всю заботу о нас брали на себя неведомые еще друзья. Мы охотно согласились, точно вверяли жизни свои в руки братьев.

Бельгийцы без труда провели нас в шахту и оставили с шахтерами-военнопленными. Какой-то крепыш, назвавшийся Ивановым, подвел к каждому его "напарника". Около них мы держались весь день, выспрашивая и запоминая то, что могло потребоваться на случай неожиданной переклички. Все шло хорошо, пока не началось переодевание: "напарники" иногда не сходились размерами, и их пришлось перетасовывать. Наибольшие трудности вызвало переодевание Устругова. Самый высокий "напарник" оказался все же мал для него, и Георгию пришлось натянуть слишком короткие штаны. Вид его был жалкий и смешной, но это не привлекало особого внимания: немцы намеренно одевали военнопленных "посмешнее".

Новые друзья поставили нас в средину колонны, и со стороны, вероятно, трудно было отличить пленных от людей, которые добровольно отправлялись в немецкий лагерь.

Возбужденно и несколько обеспокоенно посматривал я на

конвоиров, опоясавших колонну цепью. Придерживая автоматы на груди, они шагали, как это всегда делают конвоиры, по обочине. Это было похоже на возвращение страшного сна, и чувство тревожной беспомощности снова охватило меня. Чтобы успокоиться, я говорил себе, что теперь мы не беспомощны, что можем не только ответить на их насилие, но и нанести удар сами. И нанести неожиданно.

Все же на сердце у меня похолодело, когда ворота лагеря распахнулись перед нами. Во дворе, почти напротив, точно поджидая нас, стояла группа эсэсовцев. Ладно одетые, с поблескивающими поясами, портупеями и кобурами, в начищенных сапогах, они были воплощением незыблемой самоуверенности и превосходства. Это особенно подчеркивалось их небрежными и надменными позами, в которые так любят становиться всесильные перед лицом беспомощных и обездоленных. Охранники брезгливо смотрели на оборванных, истощенных, грязных, точно вернувшихся из преисподней, военнопленных, еле волочивших от усталости ноги. Слепота, присущая почти всякому чувству превосходства, помешала им увидеть тех, кто шел в самой середине колонны. Наши лица тоже были черны от угольной пыли, спины сгорблены, а ноги волочились. Но если бы эсэсовцы очень внимательно всмотрелись сюда, то могли бы открыть, что у этих людей, бредущих в середине колонны, совсем иные, чем у их соседей глаза, что они с трудом сгибают спины и намеренно волочат ноги.

Украдкой бросая взгляды, мы высматривали, насколько крепка ограда изнутри, как защищается казарма охраны, где могут спрятаться наши враги и где можем укрыться сами. Когда нас привели в большой деревянный барак, Устругов тронул меня за локоть.

- Видел, откуда лучше подобраться к казарме? - И сам же ответил: Из-за угла того маленького домика. Туда пулемет с ближней вышки не достанет.

Небольшой кирпичный домик действительно укрывал подбирающихся к казарме от пулемета, который торчал на угловой вышке. В домике, как шепнул мне сосед по колонне, жил начальник охраны.

Нападение должно было начаться около полуночи. План был таков: наша группа бросалась на казарму охраны, чтобы обезвредить ее, захватить оружие и раздать его пленным. Потом совместно с ними предполагалось уничтожить ближайшую к воротам вышку с пулеметом. Затем удар наносился по охране ворот. Лишенная поддержки пулемета, она не могла сопротивляться долго. Устранив эти препятствия, пленные

должны были хлынуть в спасительную темноту пустыря, лежавшего прямо за воротами.

Все развернулось, однако, иначе. В нарушение порядка пленные шахтеры не стали в тот вечер мыться: друзья не хотели показывать нас тем, кто не знал, что готовится. Особенно опасались агентов начальника лагеря. За жалкие подачки эти мерзавцы доносили обо всем, что находили подозрительным в бараке. На вопрос Георгия, как же быть, если нас все-таки раскроют, крепыш Иванов схватил своими клещами-пальцами горло, поддернул голову немного вверх, точно душил, и, оторвав руку, сделал успокаивающий жест: не беспокойтесь, все будет в порядке.

Вскоре к нам действительно приблизилось несколько человек. Они были одеты лучше, чем другие, выглядели как нормально питающиеся люди. Один из них подошел к Устругову, озадаченно и насмешливо осмотрел его ноги, высовывавшиеся из коротких штанин.

- Ты откуда, цапля?

- Новичок, - быстро ответил за Георгия Иванов. - Прислали прямо на шахту.

- Ха! Новичок, - с сомнением повторил подошедший. Заметив топорщившуюся одежду (под ней был автомат), он протянул руку, чтобы пощупать. Устругов перехватил ее и твердо отвел в сторону.

- Эт-та что ты прячешь? - выкрикнул тот. - Эт-та что?

- Эт-та вот что, - передразнил его Иванов и ударил по голове ручкой тяжелого пистолета, который дали ему бельгийцы в шахте. Не в меру любопытный рухнул Устругову под ноги, сразу затихнув. Его приятель рванулся из нашего кружка и побежал к дальней двери, завопив по-немецки:

- Хильфе! Хильфе!.. - На помощь!

В несколько прыжков Иванов догнал его, сбил с ног и навалился на него. Я не знаю, что сделал он с упавшим, но уже через полминуты засовывал его обмякшее тело под ближайшие нары. Георгий поспешил спрятать также доносчика с разбитой головой. Призыв о помощи был, однако, услышан постовым за дверью. Держа автоматы наготове, два охранника ворвались в барак.

- Кто кричать "хильфе"? Кто кричать?

- Я кричал, - выступил вперед Иванов. - Я кричал.

- А зашем кричать?

- Баловались мы, - ответил еще красный от напряжения Иванов. - Меня тут сильно прижали, и я товарищей на помощь звал.

- По немецкой речь? Зашем по немецкой речь?

- Шутки ради... Пошутил просто...

- Шутил, - насмешливо повторил охранник и, оглядев испуганные лица пленных, с угрозой пообещал:

- Ну, мы с тобой тоже шутить будем. Сильно шутить будем, ошень сильно, штоп ти не шутил на совсем.

Он двинул повелительно дулом автомата и неожиданно громко заорал:

- А ну, ходи передом, грязный швайн.

Иванов посмотрел на нас, пытаясь вложить в этот взгляд мольбу о помощи и приказ действовать немедленно, стиснул тонкие губы и встал между охранниками. И как только те повернулись к нам спиной, Устругов, правильно понявший взгляд товарища, обрушил всю силу и весь свой вес на того охранника, который уткнул автомат в бок Иванова, и сразу подмял его под себя. Мы ринулись на другого охранника. Оба немца оказались на полу раньше, чем могли подумать об этом.

С какой-то автоматической торопливостью мы засунули убитых под нары, и если бы через минуту кто-нибудь зашел сюда, он не обнаружил бы ничего необычного.

Наш новый товарищ был настолько же решителен, насколько беспощаден. Сверкнув на нас глубоко сидящими глазами, Иванов скомандовал громким шепотом:

- А ну, приготовить оружие! Полночи нам не дождаться. Начнем сейчас же!

Сам он вооружился автоматом убитого охранника, но пистолет все же не отдал: видно, был запаслив или жаден. Он выкликнул по именам десятка полтора пленных и, когда те собрались вокруг, коротко приказал:

- Пойдете вместе с нами. Бок о бок. Убьют кого, сразу оружие подхватывайте и в бой. В казарму вместе врываться, чтобы оружие в руки и тут же драться! Понятно? - И, не дожидаясь ответа, повернулся к остальным пленным: - Кто с нами на нацистов пойдет?

Обитатели барака были поражены молниеносной расправой с доносчиками, появлением охранников и их убийством. Вопрос Иванова застал их врасплох, и некоторое время ответом было беспокойное молчание.

- Автоматы бы нам, - невнятно пробормотал кто-то.

- Автоматы! - саркастически повторил Иванов. - Может, тебе пулемет дать? С пулеметом еще лучше...

Он вдруг сорвал с плеча автомат и вытянул перед собой, зло выкрикнув:

- Бери мой автомат, кто хочет, чтобы ему оружие на блюдечке

поднесли. Бери! Я себе автомат в бою добуду...

Никто не решился взять автомат. Иванов подержал еще немного в вытянутой руке, потом брезгливо сложил тонкие губы.

- Значит, нет желающих автомат задаром получить? Тогда пошли с нами добывать оружие.

Уверенный, что никто не осмелится ослушаться его, Иванов повернулся к ним спиной и пошел к двери. Мы двинулись за ним.

На дворе уже было совсем темно. Нам пришлось задержаться немного, чтобы всмотреться в темноту. Лишь после этого мы могли разглядеть очертания других бараков, казарму охранников и домик начальника лагеря. Окна бараков, казармы и домика были завешаны, и свет проникал наружу только по краям, вырисовываясь на черном фоне редкими рядами желтоватых рамок. Наиболее яркими эти рамки были в доме начальника. Оттуда доносились возбужденные голоса. Вероятно, лагерные шишки собрались там, чтобы гульнуть. Обменявшись всего лишь двумя-тремя словами, мы решили ударить прежде всего по этому домику.

Гуляки еще не опьянели и все же не могли понять, что случилось, когда чернолицые, оборванные и грязные военнопленные ввалились к ним. Начальник лагеря - дородный мужчина с большим круглым и рыхлым лицом и красными, как кета, губами сладострастника - вскочил на ноги, сбросив с ручки своего кресла молоденькую девушку, и заорал возмущенно:

- Что за рожи? Кто пустил?

И только увидев, как Иванов нацелил автомат в его толстую грудь с железным крестом, в какую-то долю секунды понял, что сейчас умрет, и отчаянно завопил:

- Не надо! Не надо!

- Надо! Надо! - прокричал в ответ Иванов, нажимая гашетку автомата.

Начальник плюхнулся в кресло, точно смертельно устал стоять на ногах, потом уронил голову на плечо. Эсэсовец в дальнем углу юркнул под стол, свалив на себя тарелку с едой, остальные остались сидеть. Повернув к нам побелевшие в одно мгновение лица, они смотрели большими остановившимися глазами. Неожиданная смерть, о которой узнаешь перед самым ее приходом, парализует волю. Эти люди, привыкшие убивать других, не сделали даже попытки сопротивляться.

Лишь когда я захотел убедиться, не притворяется ли кто убитым, снизу, от кресла начальника, за которым пряталась забытая нами содержанка, хлопнул слабый выстрел. Мне показалось, что кто-то сильно ударил меня в спину. Обернувшись на выстрел, я увидел скорчившуюся за креслом девушку,

нацелившую свой маленький, почти игрушечный пистолет мне в живот. Зажав пистолет в ее руке, я рванул девушку вверх. Она вскочила, но не открыла зажмуренных от страха глаз и сжалась, ожидая выстрела или удара. Была она молоденькой, лет шестнадцати-семнадцати, хрупкая, как подросток, с беспомощно пухлыми губами и по-детски округлыми щеками. В скорченной фигурке было столько жалкой обреченности, что я не решился даже ударить ее. Оттолкнув в сторону, я бросился за товарищами, побежавшими к казарме.

Встревоженные стрельбой, охранники всполошились. Вместо молниеносного налета, на что надеялись мы, пришлось ввязаться в беспорядочно тяжелый бой. Хорошо укрытые и вооруженные эсэсовцы били из окон во двор. Их поддерживал пулемет с соседней вышки. Он, правда, не приносил вреда, но его угрожающее и самоуверенное рокотание вдохновляло охранников. Сюда же направляли с вышки луч прожектора. Раскаленный добела, он выхватывал из тьмы крышу казармы, ворота с будками охранников и дальние вышки. Он помогал нам. Оставаясь в тени, которая становилась еще гуще, темнее, мы легко находили и "снимали" прятавшихся у ограды постовых.

Бельгийцы, собравшиеся к тому времени по ту сторону забора, воспользовались неожиданной щедростью врага. Ослепленные прожектором охранники на ближайшей вышке подставили себя под автоматы и карабины друзей Валлона и Дюмани. Через несколько минут Дюмани, забравшийся с забора на вышку, уже поворачивал ее пулемет туда, где сверкал чудовищно-яркий глаз прожектора и грохотал пулемет. Умелые руки и верный глаз кадрового офицера помогли сделать поединок двух вышек молниеносным. Невидимая струя почти моментально погасила прожектор. Ослепнув, пулемет, казалось, потерял способность злобно ворчать и скоро умолк.

Ободренные помощью, мы поползли к казарме смелее. Лобода, ухитрившийся принести бутылку с горючей жидкостью, запустил ее в окно. Пламя взвилось, осветив казарму изнутри. Мы подобрались вплотную к казарме и, укрывшись за кирпичными стенами, приготовились к перестрелке. Группа охранников, то ли спасаясь от огня, то ли решив атаковать нас, бросилась в окна. Завязалась рукопашная. Даже не рукопашная, а драка. Ожесточенная, беспощадная, смертельная. Это была самая жестокая драка, какую я когда-либо видел. Освещенные пламенем, бушующим внутри казармы, десятки людей избивали друг друга. Душили. Резали. Били прикладами и ручками пистолетов.

Мы боялись затяжной схватки: из Льежа, где находилась

немецкая воинская часть, могла прибыть помощь. Но мы были бессильны оторваться от врага, как бессилен человек, попавший в трясину. Впрочем, в той страшной и азартной драке мы, как помнится, и не думали отрываться от врага. Да и об опасности, грозившей нам со стороны Льежа, вспомнили уже на рассвете, когда многие враги, как и друзья, лежали перед выгоревшей изнутри казармой.

У нас не было времени ни считать потери, ни осматривать раны. Плохо одетые и обносившиеся до этого, пленные выбрались из лагеря в таком растерзанном и ободранном виде, что встретившие нас Валлон и Дюмани со своими бельгийцами сначала в страхе подались назад, потом покатились со смеху. Мы напоминали, как признался мне потом Валлон, драчливых индюков, потерявших в драке последние перья.

Валлон обратил внимание на кровавую полосу на моем почти совсем обнаженном теле. Более похожая на царапину, чем на рану, она начиналась от самого позвоночника и охватывала голый бок сине-красным полукольцом.

- А это ему начальниковская шлюха след на память оставила, - пояснил Жозеф. - Девчонка сопливая, но с норовом. Одна сообразила пистолет в ход пустить.

- И смазливая, - добавил кто-то. - Такая смазливая, что Забродов даже пальцем тронуть ее не решился.

- Наверно, надеется вернуться к ней. Начальник-то теперь на том свете скитается.

И чем веселее издевались они над моей раной, тем болезненнее отдавался их смех где-то в глубине спины. Ее называли царапиной, метиной, следом, но для меня это была рана, хотя я даже не мог посмотреть на нее. Попытка повернуться вызывала такую боль, что я немедленно выпрямлялся: боялся вскрикнуть.

Утром того дня, забравшись в относительную безопасность леса, мы подсчитали, наконец, потери и осмотрели раны. На волю вырвалось несколько сот человек, и Валлон позаботился, чтобы они мелкими группами утекли в горно-лесистые глубины Арденн. Мы не знали, не видели и, конечно, не могли сказать, кто остался в лагере, кто погиб в схватке и кто потерялся. Но крепыша Иванова и его товарищей знали. Иванова не было. Сначала думали, что он затерялся где-то или отбился. Ждали его, волновались и надеялись. Он был страшноват в своей беспощадной решительности, но смел и надежен. Не оказалось с нами и шестерых его товарищей. Особенно опечалило нас отсутствие Лободы, Огольцова и трех парней из группы Хорькова. Никто не видел их мертвыми, и мы охотно отнесли всех к

пропавшим без вести. Этих, как известно, ждут днями, неделями, годами. И мы ждали их весь тот день, ждали на всем долгом пути назад в Арденны, ждали там, пока не стали забывать.

Раненых оказалось также много: переломы рук, разбитые челюсти, ножевые раны. Осмотр повреждений сопровождался сочувственными советами, не всегда полезными, но доброжелательными. Только моя рана вызывала смех, хитро-блудливое подмигивание и неприличные намеки. Она стала объектом шуток и легких разговоров, и даже фельдшер Петушок, которому я пожаловался на сильные боли в спине, прищурил свои выцветшие глазки и великодушно издевательски пообещал:

- Ладно уж, ладно... Скажу им, что за этой царапиной внутреннее повреждение скрывается. Может, перестанут смеяться.

Петушок сдержал обещание, но сделал при этом такую хитрую рожу, точно призывал: не верьте моим словам, братцы, рана Забродова пустяковая. Лишь после войны я узнал, что пуля ударила в основание ребра, повредила его и, не застряв, срикошетила.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

После освобождения большой группы военнопленных мы оказались в затруднительном положении. Бежавших надо было одеть, кормить и, самое главное, вооружить. Одежду собрали друзья Валлона. Прокормить большую молодую ораву не могли ни одна деревня Жозефа, ни несколько окрестных деревень, запасы которых быстро исчерпались. Пришлось разбить всех на небольшие группки и разбросать по дальним деревням.

Самым трудным было все же снабжение боеприпасами. Захваченное у немцев оружие становилось бесполезным, как только расходовался обычно ничтожный запас патронов. В некоторых автоматах, носимых с такой самоуверенной гордостью, торчали пустые обоймы, пистолеты с длинными стволами и толстыми ручками использовались нередко как современная разновидность старого кистеня. Немецкие склады боеприпасов находились далеко и охранялись с такой строгой настороженностью, что успешное нападение на них практически исключалось.

Тогда-то вспомнил Устругов о моей поездке в Брюссель. Пригласив меня прогуляться, Георгий долго и молча шествовал рядом, хмурился, мялся, точно не осмеливался заговорить. Когда мне надоело посматривать на него сбоку, я прямо спросил, что он хочет. Даже после этого он все же не сказал, зачем позвал меня. Георгий заговорил о том, что народу нашего в Арденнах стало много, а силы не прибавилось.

- Без оружия мы просто толпа, а не партизанская группа, -

уверенно изрек он.

- Что ты хочешь?

- Своей маленькой группой, когда у нас было оружие, мы могли сделать и делали больше.

- Что ты хочешь?

- Вместо того чтобы помогать своим товарищам на фронте, мы только объедаем бельгийцев.

- Ты замучаешь меня... Можешь сказать прямо, что ты хочешь?

Устругов остановился и оглядел меня так сердито, как смотрят на безнадежно непонятливых.

- Оружия хочу, вот что. Оружия и особенно боеприпасов. Разве непонятно?

- Это понятно. Настолько понятно, что доказывать совсем не нужно. Что ты предлагаешь?

- Пока ничего не предлагаю. Посоветоваться только хочу.

И опять замолчал, а когда заговорил, то уже тем тоном, который показывал, что Георгий перестал колебаться.

- Придется нам беляков принять, - объявил он. - Придется... Если без них оружия не будет...

- Каких беляков?

- Ну, тех самых, которых тебе в Брюсселе в виде принудительного ассортимента к оружию давали.

Это было трудное решение, и оно далось нам нелегко. Деркач и поправившийся Хорьков были против "советников" мадам Тувик.

- Не затем мы в гражданскую с беляками воевали, чтоб теперь советниками брать, - обозленно отрезал Хорьков. - Нашли помощников!

- Ведь мы и с англичанами в гражданскую воевали, - напомнил я, - а теперь, как видишь, они наши союзники.

- Сою-ю-зники, - повторил капитан, вкладывая в долгое "ю" свое непокорное недоверие.

- Какие бы ни были, но союзники, а не враги.

- Главное не в этом, - досадливо поморщился Устругов. - Главное не в этом. Оружие нам нужно. Оружие и боеприпасы. А там пусть хоть черта советником присылают.

- А я считаю, что главное - принцип, - сказал Деркач. - Не можем мы беляков советниками иметь. Это уставом совсем не предусмотрено и в принципе неправильно.

Стажинский и Прохазка, а потом Валлон, приехавший к нам на пару дней, поддержали наше решение.

- Советники сами по себе не страшны, - заметил поляк. - Надо только умело относиться к их советам.

Я сказал о решении Степану Ивановичу. Тот сделал удивленное лицо, будто не понимал, почему именно его почтили таким доверием, однако вскоре исчез из барака и пропадал почти двое суток. Вернувшись, не сказал ни слова и даже отвел глаза, встретив мой вопрошающий взгляд. Тем не менее ранним утром три дня спустя в барак ввалился пожилой крупноплечий большерукий человек с мощной челюстью. Пока я вспоминал, кому принадлежит это чем-то знакомое лицо, вошедший обежал своими острыми, глубоко сидящими глазами барак, остановил их на мне и твердо двинулся в мою сторону.

Теперь я узнал его: это был швейцар мадам Тувик - "поручик царской армии" Макаров. Он подал руку и, зажав мою, потянул на себя и поднял. Приказав кивком головы следовать за ним, он тем же твердым, тяжелым шагом направился к двери и ударом ноги распахнул ее.

- Забирайте-ка своего командира, - глухо проговорил Макаров на улице, - да шагайте за мной. Но не догоняйте. Там, в лесу, грузовик с гостинцами.

"Гостинцев" оказалось много, и мы могли дать кому автомат, кому карабин, а кому пистолет - большой десятизарядный пистолет с надписью на английском языке: "Собственность правительства США" (хитрые начальники Крофта - оружие, как намекнул "советник", шло от него - посылали нам "гостинцы" всех стран, кроме своей: не хотели оставлять "следов"). С "гарниром" - так Макаров называл патроны - было значительно хуже. Их хватало лишь на одну серьезную схватку, не больше. Когда я пожаловался Крофту, оказавшемуся в наших местах, что патронов дают мало, англичанин оттопырил по обыкновению пренебрежительно свои тонкие бледные губы.

- Мы еще не научились делать пули из желудей, а порох из песка, сказал он, сохраняя серьезную мину и тем подчеркивая издевательский тон. Видимо, поэтому испытываем недостаток в патронах.

- Врет он, английская глиста, - грубо резюмировал бывший поручик, которому я передал объяснение Крофта. - Врет... У них на тайных складах этого добра хоть мешками таскай. На голодном пайке держат, чтобы не вольничали. А мне из-за этого своей шеей рисковать чаще приходится. Попадись к немцам - на первом столбе повесят.

"Советник", которого боялись, не любили и звали за глаза только "беляком", был груб, решителен и смел. Его "советы" звучали так же ясно, четко и грубо, как приказ.

Впрочем, тогда у нас не было желания отвергать его советы, особенно когда они совпадали с нашими собственными

намерениями: бить оккупантов в Бельгии, мешать переброскам войск, выводить из строя подвижной железнодорожный состав, портить дороги. Макаров снабжал нас "карандашами", один из которых показывал мне Крофт. Одного такого "карандаша" было достаточно, чтобы подорвать паровоз, разрушить станционную стрелку, вырвать кусок рельса на стыке.

Наши удары чаще всего направлялись так, чтобы помешать переброске немецких войск на запад, во Францию, к побережью Ла-Манша и Северного моря. Хорьков кричал, что мы с Устругoвым "играем в английскую игру" и действуем односторонне.

- Правильно, - подтвердил Крофт с обычной улыбочкой превосходства и пренебрежения. - Это можно было давно заметить, будь вы чуть-чуть понаблюдательнее.

Его нахальная откровенность не столько возмущала, сколько озадачивала. Я смотрел на него в недоумении. И англичанин, не убирая с худого, вытянутого лица насмешливой улыбки, спросил:

- Вы же хотите открытия второго фронта?

- Конечно.

- А раз хотите, то должны понимать, что чем меньше здесь, на Западе, войск, тем легче открыть этот фронт. Перед вторжением союзников на континент нам придется перерезать все дороги, чтобы джерри не могли подбросить пополнения и сбросить союзников в море. Надеюсь, это-то вы понимаете?

Это было понятно, и мы старательно вредили на дорогах, веруя, что помогаем ускорению открытия второго фронта и победе союзников.

Наши группы были разбросаны на большой территории, и Устругову приходилось часто пробираться от кирпичного завода то к одной деревне, то к другой. Он двигался от группы к группе с неутомимым упрямством, которое теперь я уже хорошо знал и перечить ему не решался. Он выспрашивал ребят, чем можно тут навредить немцам, оживлялся, если такая возможность имелась, и мрачнел, получая отрицательный ответ. Очень охотно, иногда даже с азартом ввязывался Георгий в операцию, подготовленную группой. Мне приходилось порою напоминать ему: не может, не имеет права командир части участвовать в операциях своих мелких подразделений.

- Вот еще комиссар нашелся! - с добродушной насмешливостью восклицал он и, намекая на Деркача, советовал: - Ты еще на устав сошлись...

Советские люди, оказавшиеся к тому времени в Арденнах, все больше тянулись к Устругову, сплачивались вокруг него, и его потеря была бы серьезным ударом по нашему замыслу - создать в

этих местах увесистый боеспособный кулак. Однако, видя, как ободрялись участники групп, с какой готовностью брались они за операцию, если Георгий говорил, что сам пойдет с ними, я переставал возражать и шел тоже. Это нравилось ему, и он оберегал меня тогда особенно сердечно. Небольшие операции наши часто удавались, и по всем Арденнам от одной группы к другой летела слава о смелой удачливости и сердечности командира.

В большой разбросанности наших групп была и выгода. Мы наносили удары в разных местах: в одном месте взрывали паровоз на станции, в другом поджигали склад горючего, в третьем ловили в придорожной харчевне растолстевших на тыловых хлебах офицеров, в четвертом разбирали полотно железной дороги или пускали под откос поезд. Мы соорудили, наконец, треножник для крупнокалиберного пулемета, снятого с самолета, притащили его к железной дороге Льеж - Аахен и, дождавшись воинского эшелона, прострочили его от первого до последнего вагона. Грохот пулемета, удесятеренный скалами, так напугал начальника эшелона, что тот не решился остановить поезд. На соседней большой станции, как донесли нам потом, из эшелона выгрузили десятка полтора убитых и раненых.

Рядом, а часто и вместе с нами действовали такие же небольшие и подвижные группы бельгийских внутренних сил Сопротивления. В трудных и серьезных операциях мы объединяли силы. Рабочие парни, студенты, служащие, они лучше нас знали местность и обстановку, но часто не имели военного опыта. Совместные операции усиливали и нас и их и во многих случаях заканчивались удачно.

Обеспокоенное возрастающей активностью партизан в Бельгии, во Франции и Голландии, германское командование на Западе потребовало "очистить" ближайшие тылы немецких сил, которые должны были отражать ожидавшееся вторжение союзников на европейский континент. Сюда были переброшены из Германии крупные полицейские части во главе со специалистами по партизанской войне, получившими опыт в России. "Каратели" - так называла мы их - заняли города и поселки, перехватили дороги и начали углубляться в горы. Охватывая Арденны большим кольцом, они намеревались прижать нас к излучине Мааса. Поняв их замысел, мы решили просочиться на восток. Мелким группам нетрудно было сделать это, и вскоре немцы почувствовали нас снова за своей спиной.

Тогда они повернули тоже на восток и двинулись в сторону Германии. На этот раз они позаботились о том, чтобы мы не смогли так легко проскользнуть назад. Некоторые наши группы,

попытавшиеся сделать это, исчезли навсегда, и только после освобождения Бельгии выяснилось, что они попали на засады и были уничтожены.

В один из холодных зимних дней "братья-кирпичники", спасаясь от преследователей, снова перешли границу Германии. Правда, мы не заметили этого: германские укрепления - "линия Зигфрида" - находились значительно глубже, новая граница, установленная завоевателями, не была еще никак обозначена. Пробираясь по лесу впереди группы, я увидел сквозь мерзлые деревья красные крыши станционных зданий. На вокзале крупной готической вязью было начертано слово "Рехт". Жозеф, не пожелавший покинуть нас и присоединиться к бельгийской группе, подтвердил, что мы действительно перебрались в Германию.

Мы постояли немного, посмеиваясь над собой, потом, махнув рукой: "А, будь что будет", - обогнули станцию и пошли дальше. Мстительное чувство взывало к нам, требуя ударить по немцам, которых видели издалека, пустить им красного петуха и вообще приступить к расплате по старому счету. Осторожность, однако, удерживала, и мы решили пробираться к Маастрихту, в Голландию, где действовали наши собратья.

В Голландии, врезавшейся в Арденны узким клином, мы обосновались на одинокой ветряной мельнице. Она не работала, но мучной пыли было везде так много, что в несколько дней все покрылись каким-то седым налетом. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, где мы обитаем, поэтому остерегались высовывать нос. Хозяин не очень обрадовался, обнаружив на своей мельнице обросших вооруженных людей. Угрюмо и молча выслушав наши объяснения, он неохотно согласился:

- Ладно уж, оставайтесь. Только я вас не видел и вы меня не знаете...

Хорьков упрекнул Устругова в беспечности: тот отпустил мельника домой, несмотря на совет задержать его.

- Типичный куркуль, - определил Деркач. - Непременно выдаст.

Георгий отмалчивался, хотя видно было, что тоже обеспокоен. Наше беспокойство еще более возросло, и мы приготовили оружие, когда услышали перед вечером, что кто-то бродит вокруг мельницы. Неведомый посетитель то приближался к лесенке, ведущей к нам, то отходил, а затем возвращался опять. Не выдержав напряжения неизвестности, Устругов спустил предохранитель пистолета и вышел. Мы ждали минуту, две, три, готовые ринуться ему на помощь. Однако вместо выстрелов

услышали восклицания, смех и опять восклицания. Вскоре, впустив в помещение клубы холодного воздуха, Георгий втащил молодого голландца, который почти год назад привел нас с хутора Крейса в Неймеген.

Восхищенно осматривая нас, тот пожимал руки и, как в тот раз, четко и ясно возглашал по-русски:

- Здравствуй, друг!

И наши товарищи, подобно нам самим, принимали его за русского и сыпали восклицаниями и вопросами. Макс отвечал только недоуменным взглядом.

Мельник, как рассказал Макс, прислал к нему своего сына, который шепнул на ухо, что на их мельнице прячутся люди, называющие себя русскими. Макс тут же отправился сюда, чтобы проверить, действительно ли это русские или самозванцы какие-нибудь. Конечно же, он не ожидал встретить здесь Устругова и меня. Его небольшая группа находится в этих местах недавно: им тоже пришлось удирать от немецких "карателей". Макс признался, что ничего серьезного они еще не сделали, но надеются, что в будущем им повезет больше.

На мой вопрос, не встречал ли он Хагена, парень весело воскликнул:

- Как же, встречал! И все еще часто встречаю. У себя в отряде.

- Неужели пацифист взялся за оружие?

- Взялся. Да еще так крепко, что теперь его и силой не отнимешь. Я же говорил тогда: концлагерь - хорошая школа...

Макс начал вслух мечтать, как было бы хорошо, если бы удалось совместно провести парочку налетов на железнодорожные узлы или напасть на немецкий склад в окрестностях Маастрихта.

Однако совместных операций нам осуществить не привелось. Голландские друзья передали через того же Макса, что считают целесообразным пока притаиться. Советовали копить силы для того времени, когда на Востоке и Западе завяжутся решающие бои.

К весне, когда немцы, успокоенные затишьем в Арденнах, увели полицейские части, мы вернулись на кирпичный завод, и Устругов стал вновь колесить по лесам и горам, собирая рассыпавшиеся по глухим уголкам группы. Упрямый и неутомимый, он не давал отдыхать никому, посылая меня, Хорькова, Деркача, Жозефа в разные стороны. К нашему удивлению и радости, мы обнаруживали в Арденнах новые группы, с которыми раньше не встречались.

Приехавший к нам Валлон сообщил, что в центре создан штаб внутренних сил Сопротивления Бельгии, которому будут подчинены не только бельгийские или бельгийско-русские, но и чисто русские отряды. Он советовал стягивать разбросанные отряды поближе друг к другу, чтобы быть готовыми действовать не мелкими, слабыми группками, а крепким и мощным кулаком.

- Это лето будет последним летом войны, - сказал он на прощание и, прищурив хитрые глаза, добавил: - Если, конечно, все сделают те, которые могут сделать...

В течение одной недели мы собрали все наши группы вокруг завода. Их насчитывалось уже больше двадцати, хотя общая численность не достигала и двухсот человек. Каждая группа имела своего командира, воинские звания которых были потрясающе несоизмеримы: от ефрейтора до полковника. Полковник, правда, был только один. Это был пожилой человек, вялый в движениях, разговоре и даже, как казалось мне, в мыслях. На фронте полковник Моршанов командовал дивизией, которая была окружена и разгромлена. Он претендовал на старшинство, занял лучший топчан в нашем бараке и потребовал, чтобы "братья-кирпичники" потеснились и дали место его ребятам. Он был неглуп, военное дело, конечно, знал лучше любого из нас. Но той вольнице, которая собралась тогда вокруг брошенного кирпичного завода, нужен был не просто человек, умеющий отдавать приказы. Им нужен был смелый, энергичный вожак, за

которым они пошли бы не только по велению ума, но и сердца. Таким вожаком полковник быть не мог, и я решительно воспротивился его притязаниям на старшинство.

Служака Деркач осудил меня решительно и резко, Хорьков отделался усмешкой, а Устругов объявил:

- Я готов передать командование полковнику.

- Ты не имеешь права делать этого, - вскипел я. - Ты не назначен, а избран, а выбранные люди не могут распоряжаться своими постами, как им захочется.

- Устав говорит...

- Перестань ссылаться на устав, - оборвал я Деркача, - у нас особая обстановка. Партизаны выбрали Устругова, и только они могут заменить его другим...

Мы разругались всерьез. Обозленный на Устругова, Деркача и Хорькова, я отправился к "братьям-кирпичникам", потом пошел к другим. Мнения разделились: одни считали правильным, чтобы полковник, как старший по званию, командовал ими, другие верили больше в Устругова, чем в неведомого им человека. Но почти все соглашались со мной, что Устругов не может лично передать свой пост полковнику: они сами хотели решать этот вопрос.

Собрание, состоявшееся в тот же день, было долгим, бурным и закончилось почти единодушным решением избрать командиром Устругова, а начальником штаба - Моршанова. Вопреки моему ожиданию Георгий, не обменявшийся со мной во время всего собрания ни единым взглядом, вдруг предложил избрать меня политруком. Голосование за меня было менее единодушным, но все же большинство поддержало своего командира. Тут же Моршанов внес предложение именоваться впредь "партизанской бригадой", и оно было с энтузиазмом принято.

- Почему бригадой? - недоумевал Георгий, когда мы оказались втроем.

- Рота, батальон, полк звучат слишком определенно, - ответил полковник, - а бригада... она может сокращаться или увеличиваться почти до любого состава.

- Вы думаете, что она когда-нибудь дойдет до нормального состава?

- Не велика беда, если и не дойдет...

Бригада действительно не дошла до нормального состава, хотя временами в ней насчитывалось до шестисот человек. Эти шестьсот человек не собирались тогда вместе. Они продолжали действовать небольшими группками, которые временами сливались в один отряд, объединялись для проведения отдельных

операций. Штаб назначал командира, хотя часто отряд возглавлял сам Устругов. По окончании операции отряд снова распадался на отдельные группы.

И только летом 1944 года вся бригада была собрана вместе. Диверсий на дорогах и налетов на мелкие пункты врага было уже недостаточно. Отступая под напором союзных армий, вырвавшихся с нормандского плацдарма, германские части покатились на восток. Перед Дюмани, которого назначили командующим южным районом внутренних сил Сопротивления Бельгии, была поставлена задача помешать немцам, которые стремились остановить продвижение союзников к границам Германии, закрепиться в Арденнах. Лучшим способом помешать врагу удержаться на удобных горных перевалах и переправах было захватить их и не подпустить к ним немцев.

Нашей бригаде досталась дорога Намюр - Марш. В течение двух-трех дней мы очистили ее от немцев, взорвали мост через горную речку недалеко от Намюра и сделали на дороге такой завал, что для его расчистки потребовалось бы много людей и немало техники. Вокруг взорванного моста и завала создали позиции, которые не так-то легко было взять. Мы могли держаться тут даже с нашим слабым вооружением против значительных сил.

Одна из колонн отступающих немцев двинулась через Арденны по занятой нашей бригадой дороге, и нам пришлось принять на себя их ожесточенный напор. Сотня Хорькова, укрепившаяся около разрушенного моста, дралась беспрерывно двадцать восемь часов и вся осталась там. К нам на перевал прибежал только Яша Скорый, которому было приказано доставить донесение командиру. Он был настолько расстроен и подавлен гибелью товарищей, что тут же, у наших ног, уселся на землю и разрыдался.

Моршанов полагал, что немцы появятся на перевале через день: раньше не могли построить мост. Они появились, однако, уже перед вечером того дня. Не дожидаясь постройки моста, начальник немецкой колонны послал часть солдат вперед. Командиру авангарда было приказано любой ценой овладеть перевалом, и он бросал своих солдат в беспрерывные атаки, которые мы отбивали. У противника было почти такое же легкое оружие, как у нас, и патронов не намного больше. В сумерки атакующие подползли почти вплотную к нашей позиции и бросились врукопашную. Они жестоко поплатились за это легкомыслие: партизаны были к тому времени мастерами этого вида схваток (у нас всегда недоставало патронов, и мы учили всех прежде всего рукопашной).

Поздно вечером к немцам прибыло подкрепление. Они открыли беспорядочную стрельбу, освещая время от времени перевал ракетами. С рассветом они поднялись в атаку и не прекращали атак до полудня, когда на дороге показались головные машины колонны.

Положение наше резко ухудшилось. Атакующие выкатили на дорогу пару пулеметов. Под их прикрытием немцы снова приблизились к нам, чтобы атаковать. Но как только они поднимались, пулеметы умолкали, и мы немедленно открывали огонь. Солдаты валились на землю, и пулеметы снова хлестали по нашим бойницам. Потом они опять замолкали, а немцы вскакивали и бежали к нам, и мы опять били в них почти в упор. Мы отбивали атаку за атакой. Грязно-зеленые фигуры устелили дорогу так плотно, что атакующим немцам приходилось бежать по трупам своих товарищей. Но с каждой атакой немцы падали на землю или прятались за камнями все ближе и ближе к нам. И наши потери становились все чувствительнее. Из шестисот человек, которые пришли на эту дорогу пять дней назад, оставалось, наверное, не больше ста восьмидесяти - ста пятидесяти. Патроны были на исходе.

- Продержаться бы до темноты, - устало и равнодушно сказал Моршанов, когда мы собрались на короткое время вместе.

- До темноты? - переспросил Устругов. - А потом что? С наступлением темноты им же легче будет. Их много больше, и они голыми руками передушат нас.

- С наступлением темноты можно оторваться и уйти в лес.

- Значит, позволить им пройти по дороге? - настороженно и подчеркнуто тихо проговорил Георгий. Я знал, что скрывалось за этим понижением голоса, и ждал вспышки гневного ожесточения.

- Они все равно пройдут.

- Не пройдут! - вдруг закричал Устругов. - Не пройдут, пока я жив. И я застрелю всякого, кто посмеет покинуть оборону! Застрелю, будь тот мерзавец хоть начальником штаба или комиссаром!

Оборванный от ползания по камням, обросший и грязный, Георгий был действительно страшен, и я верил, что в таком состоянии он без колебаний застрелит всякого, кто осмелится не подчиниться его решимости удерживать перевал.

Неожиданная помощь пришла к нам... с неба. Авиация союзников, преследуя немецкие колонны, обнаружила нашу дорогу, забитую немецкими машинами. Пять истребителей один за другим пронеслись прямо над дорогой. Пулеметы крупного калибра врезались в тесно стоявшие машины, заставив солдат шарахнуться в кюветы. Несколько машин загорелось, и их

бензиновые баки взрывались, обливая все вокруг пылающей жидкостью.

Самолеты развернулись и снова один за другим проревели над дорогой, вспарывая своими пулями поблескивающий на солнце асфальт. Теперь черные столбы дыма взметнулись уже в десяти-пятнадцати местах, и грохот взрывающихся баков или канистр с горючим стал сотрясать окрестности. А когда взрывы прекратились, мы отчетливо услышали звонкие неторопливые выстрелы.

- Пушки, - отметил Моршанов. - Танковые пушки.

- Танков еще не хватало, - с ожесточением отозвался Устругов и выругался с той самой витиеватой смачностью, которую я слышал впервые от него под Смоленском. - С танками нам не справиться, теперь они пройдут. Но мы все равно будем держать их так долго, как можем.

- Даже если удержим только час?

- Даже если удержим только десять минут. Мы еще заставим их заплатить и за это.

Немцы, однако, и не пытались атаковать нас. Они бросали грузовики и кучками убегали в лес, испуганно оглядываясь на невидимую нам за изгибом дорогу. Они спасались от чего-то более страшного.

Вскоре из-за поворота выполз танк с американскими знаками, подошел к нашему завалу и остановился. Откинулась крышка люка, и молоденький офицер высунулся по пояс и начал осматриваться. Устругов вылез из укрытия и, поманив меня, вышел на дорогу. Американец потянулся к пистолету, резко выкрикнув:

- Кто такие?

Устругов тяжело поднял руку к своему берету и четко отрапортовал:

- Командир первой советской партизанской бригады в Арденнах лейтенант Красной Армии Устругов.

Американец удивленно выпучил большие светлые глаза, оторвал руку от кобуры пистолета и поспешно приложил ее к ребру стальной каски, вытягиваясь, как перед начальством.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Уже на другой день мы были в Марше, и дядюшка Огюст отвел нам с Георгием в "Голубой скале" ту самую угловую комнату, которую занимали раньше немецкие офицеры. С утра до поздней ночи взбудораженный городишко звенел песнями и музыкой. Девушки и женщины обнимали и целовали партизан и американцев. Мужчины зазывали в гости, чтобы угостить самым лучшим в доме вином. Хотя немцы были еще недалеко,

бельгийцы радовались освобождению с увлечением и непосредственностью детей.

Осень в Арденнах всегда хороша; в тот год она была великолепной. Дни стояли солнечные, теплые, с той голубой прозрачностью в воздухе, когда все казалось значительно ярче и ближе, чем было на самом деле. По утрам над горными речками и падями поднимались туманы, которые светились и таяли под солнцем, открывая пеструю красоту леса каждый день заново. Яркой бронзой оплывали свечи берез, ало пылал клен, упрямо зеленел дуб, сдававшийся осени последним.

По горным дорогам гремели военные обозы, доставлявшие снаряжение пришедшим в Арденны войскам. На окраинах поселков, у перекрестков дорог выросли груды канистр с горючим, ящиков с патронами и снарядами. Лужайки и поляны были заставлены новенькими "шерманами" (танками) и грузовиками. На опушках прятались тысячи зеленоватых орудий. Этот гигантский склад оружия и боеприпасов охранялся ленивыми постовыми, которые дремали около своих палаток, совершенно не интересуясь теми, кто едет или идет мимо. Они несколько оживали только тогда, когда по дороге проносился джип ("виллис") с военной полицией. Дюжие парни в белых касках, перетянутые белыми поясами и портупеями, взбадривали дремлющих весьма примитивным, но всегда действенным способом, и часовые побаивались их.

Американское командование отвело нашей бригаде для охраны большой участок Арденн между Уффализом и Лярошем, и мы опять разбились на мелкие отряды, чтобы занять мосты и мостики, перекрестки горных дорог. Вопреки опасениям в лесах было спокойно. Отставшие немецкие солдаты старались проскользнуть поближе к дому незамеченными; натыкаясь на наши посты, не оказывали сопротивления, с готовностью поднимая руки.

В октябре установилось полное затишье. Солдаты и офицеры проводили большую часть времени в городах, уезжая порою от месторасположения своих частей на десятки километров. В Марше, Льеже, Намюре, Шарлеруа, Ляроше открылись офицерские и солдатские клубы (отдельно). Появились даже танцевальные школы, в которых нарядные, легконогие бельгийские девушки старательно и робко обучали неуклюжих, громко топочущих вояк сложным поворотам и па.

Партизаны тоже уходили в ближайшие поселки и городки, где было, конечно, веселее, чем в лесу. Я пробирался в Марш, в "Голубую скалу", где повеселевшая Аннета принимала меня с заботливой нежностью. Мы были молоды и счастливы тем

единственным счастьем, которое дается только любовью любимого человека.

Устругов не хотел отлучаться из бригады и посоветовал мне остаться с ним, когда до нас дошли тревожные слухи о странных приготовлениях немцев. Я остался, послав Аннете записку, что увижу ее через несколько дней.

Но увидел я ее лишь два месяца спустя. Немцы нанесли свой последний и единственный сильный удар по союзникам через Арденны. Они сокрушили части первой американской армии, оборонявшие Арденны, и заставили нас снова уйти в горы. Мы потеряли на мосту Стажинского, в которого выстрелил переодетый в американскую форму немецкий диверсант.

Тот месяц, пока немцы занимали восточную часть Арденн, был одним из самых тяжелых. Фронт не имел тогда в Арденнах определенной линии. Окруженные немцами, американские части продолжали сражение, оставаясь в тылу наступающих. Немцы выбрасывали далеко вперед парашютистов, которые захватывали населенные пункты и перекрестки дорог в тылу обороняющихся. Вокруг парашютистов немедленно замыкалось кольцо. Помимо танковых клиньев, которые продвигались по главным дорогам, в лесах и горах Арденн полыхали очаги схваток, и часто было трудно понять, кто кого окружил, кто атакует и кто обороняется.

Со своими автоматами и карабинами партизаны были в те дни танковых сражений не очень опасными противниками. Однако вредить на дорогах, нападать из-за угла мы могли. Мы взорвали два моста на дороге Бастонь Льеж и сожгли большой склад горючего недалеко от Уффализа. Правда, это было американское горючее, но немцы использовали его для заправки захваченных ими американских танков и грузовиков. Когда немецкие войска начали отступать, мы снова вылезли на дорогу и сожгли несколько машин.

Однако гитлеровцы заставили нас заплатить за это высокой ценой: партизаны потеряли сразу восемь человек. Мы слишком поздно сообразили, что это не фольксштурмисты.

После окончания боев партизаны вновь вышли из леса. Возвращение в знакомые и такие добрые для нас городки было тяжелым. Смерч войны сокрушил их краснокрышие дома, разнес в щепы мосты, изрыл воронками мостовые, вырвал деревья. Многих знакомых не оказалось: одни ушли, боясь немецкой мести, другие погибли. В "Голубой скале" я нашел только старого Огюста: его дочерей эвакуировали на север - не то в Брюссель, не то еще дальше. Почта все еще не работала, и он, конечно, ничего не знал о них.

Власти отвели нашей бригаде казармы бельгийской армии,

которая все еще была в плену. Выстроив бойцов на плац-параде, мы с горечью и болью осмотрели их. Некоторые отряды совсем не вернулись, и мы только значительно позже узнали от бельгийцев, где и как погибли они. Устругов, прихрамывая на левую ногу и держа на перевязи левую руку (его ранило дважды), прошел вдоль передней шеренги. Многие партизаны, как и он сам, были перевязаны.

Мне казалось, что сейчас самое подходящее время сказать хорошую речь о вероломном враге, о верности в братстве по оружию, о мужестве и потерях, о славе и победе. Георгий выслушал меня и устало махнул рукой.

- Зачем говорить?.. Они ведь знают это. Может быть, не всякий скажет это так красиво. Но настоящая красота все-таки не в словах, а в действиях человека...

Через несколько дней штаб бригады получил телеграмму от советской военной миссии с распоряжением немедленно прислать человека для доклада. Устругов послал меня.

Начальник миссии, седоголовый грузноватый генерал с очень живыми и веселыми глазами, встретил меня снисходительным и в то же время довольным смешком.

- Слышали, слышали о вашей партизанской бригаде. Москва заинтересовалась и требует подробный отчет. Дорогие союзники наши бубнят в газетенках своих, будто русские на Западе на немецкой стороне воюют. Это, конечно, сплошное вранье. Не было тут русских на немецкой стороне. А вот такие, как вы, были. Были во Франции, были в Бельгии, были в Голландии, были в Италии. Даже в Люксембурге были. Пишите поэтому подробно, как, где, кто, что и т. д.

Писание доклада заняло немного времени. Генерал, прочитав и похвалив доклад за ясность и стройность изложения, все же не отпустил меня.

- Ждать, - приказал он с краткой категоричностью военного. - Москва слово свое должна сказать. С этим словом вы и к ребятам своим вернетесь.

Я поселился в мансарде того дома, который отвели военной миссии. Каждое утро спускался вниз и целыми днями околачивался в канцелярии, стараясь попасться на генеральские глаза. Занятый и всегда торопящийся, тот не замечал меня или делал вид, что не замечает. И лишь дней семь спустя вдруг остановился передо мной и, протянув руку, объявил:

- Кончилось ваше ожидание, лейтенант. Можете отправляться к себе.

- А что Москва? Какое же слово пришло из Москвы? - забормотал я, всматриваясь в смеющиеся глаза генерала. - Вы же

говорили, Москва слово свое должна сказать.

- Слово? - переспросил генерал, точно впервые слышал об этом, а потом, будто вспомнив о чем-то, воскликнул: - Хорошее слово из Москвы получено! Очень хорошее! Советское правительство решило требовать, чтобы ваша бригада была возвращена домой с оружием в руках. Поезжайте к своим, скажите об этом. Они, наверное, обрадуются.

- Конечно, обрадуются, товарищ генерал! Очень обрадуются!..

И я помчался назад, несказанно взволнованный. Как же! Родина оценила поведение наше!

И партизаны действительно обрадовались. Они бросились качать меня, точно не правительство, а я распорядился вернуть бригаду домой с оружием в руках. Затем с таким же азартом они подхватили Устругова и стали подбрасывать его к самому потолку. Потом они вытащили его, меня, полковника Моршанова во двор и почти бегом понесли по кругу, не слушая приказа командира немедленно опустить нас на землю. Они хватали своих товарищей и поднимали над собой, как знамя. Энергия, рожденная радостью, находила в этом выход, и никакая сила не могла бы остановить их.

Наше шумное, даже несколько буйное ликование было прервано появлением на плац-параде Шарля и его друзей из внутренних сил Сопротивления. Их отряд размещался недалеко от нас, и время от времени партизаны ходили к ним, а они к нам в гости. Бельгийцы были мрачно настроены, и мы сразу догадались, что на этот раз они пришли не затем, чтобы просто навестить нас.

Цель их визита была в самом деле сложнее: они пришли за помощью. Отряды внутренних сил Сопротивления получили приказ отправиться на север, где немцы закрыли доступ в Антверпен с моря.

Германские войска заняли оба берега бухты Шельды, через которую корабли шли к крупнейшему порту Европы. Чтобы немцев не могли выбить с суши, они открыли шлюзы плотины и залили водой низменность, лежавшую за ними. Союзники не хотели ввязываться в тяжелое и дорогостоящее сражение и предложили бельгийцам самим очистить берега бухты. Бельгийское правительство согласилось. С одной стороны, оно ослабляло силы, собранные в отрядах внутреннего Сопротивления, с другой стороны, вносило вклад в общее дело поражения Германии.

Партизаны выслушали просьбу Шарля, посерьезнев и помрачнев. Они с тревогой и надеждой посматривали на Устругова, который стоял рядом с бельгийцем. Каждому было

понятно, что командир решает, но каждый чувствовал, что общая воля совпадет с его желанием. Георгий знал это и молчал: ему не хотелось отнимать у людей надежду на скорое возвращение домой, не хотелось также отдалять их от бельгийских друзей, нуждавшихся в помощи.

Сердитый и хмурый, повернулся он ко мне.

- Ну, как, комиссар?

Привыкший нести свое бремя на своих плечах, тут он невольно переложил его на меня. Глаза людей, окружавших нас, уставились в мое лицо. Они знали, что такое война, и не хотели воевать ни одним днем, ни одним часом больше, чем необходимо. В то же время мы не могли выйти из войны, пока она продолжалась. Ближайший к нам враг был на севере, на берегах бухты Шельды, и я сказал, что мы должны помочь нашим бельгийским друзьям.

Партизаны молчали. Молчали долго, тяжело, угрюмо. И тогда Устругов, вдруг приняв решение и сразу как будто посветлев лицом, громко и почти весело спросил:

- Ну, как, поможем?

- Поможем... поможем... - раздалось несколько неуверенных голосов. Раз нужно помочь, поможем...

Никто не возражал, но и возгласов одобрения также не последовало. Наши друзья просто согласились на тяжкую и опасную необходимость. И мы тут же занялись сборами к поездке на север.

Бельгийцы, однако, не были готовы, отъезд задерживался, и партизаны забеспокоились. Они подходили то к Устругову, то ко мне и спрашивали, когда бельгийцы тронутся с места.

- Куда ты спешишь? - спросил я Мармыжкина, обеспокоенного задержкой.

Он опустил голову и, ковыряя носком ботинка землю, виновато пробормотал:

- Кончить бы поскорее тут да домой... Там теперь, ох, как мужицкие руки нужны! Дома-то у всех одни бабы да малые дети остались...

Дня два спустя к казарме подошла колонна больших американских грузовиков: за нами. Первыми погрузились и отправились на север дружинники Шарля. Было ветрено, слякотно, холодно; дружинники усаживались на дно грузовиков и прятали лица. Их машины проходили мимо нас молчаливые, и это произвело на партизан угнетающее впечатление.

Мы расселись по грузовикам так же угрюмо, молча и тоже начали прятать лица от холодного мокрого ветра. Устругов остановился перед моим грузовиком.

- Как на похороны, - пробормотал он, кивая головой на грузовики, и как-то неопределенно предложил: - Песню, что ли, спеть...

- Хорошо бы, - также неопределенно поддержал я. - Только кто запевалой будет? У меня голос, сам знаешь, слабый.

Георгий пошел к соседним машинам, выкликивая обладателей сильных голосов, подзывал их к себе и убеждал не сидеть сычами. Затем, забравшись в свой грузовик (он отказался сесть в кабине шофера), начал дирижировать этим необыкновенным хором на колесах. Получалось плохо, но вопреки ожиданию ребята не замолкали, а стали перебрасываться язвительными замечаниями и шуточками, развеселились и, наконец, запели. Запели с подъемом, радостью, с озорством.

Наша шумливая, поющая колонна врывалась в унылые бельгийские городки, проносилась по их мокрым улицам, заставляя обитателей выскакивать из домов или прилипать к окнам. Скашивая глаза на случайных слушателей, ребята пели еще звонче, веселей, с уханьем и присвистом: знай, мол, наших!

Вечером мы прибыли в Брюссель, не останавливаясь, пересекли его и устремились по широкой дороге к Антверпену. Мосты были еще взорваны, грузовикам приходилось покидать дорогу, делать большой крюк, потом снова возвращаться на нее. И хотя расстояние от бельгийской столицы до "водного фронта", как именовался тогда тот участок, было небольшое, мы добрались на берег бухты только к утру.

День был пасмурный, серый. Низкое небо было темным и неприветливым, как море, и море казалось таким же бескрайным и бездонным, как небо. Перед нами, насколько хватает глаз, волновалась грязная холодная вода. Лишь прямо далеко впереди из воды выступала узкая черная полоска со странными кучками, очень похожими на муравьиные. Это был берег. Кучи когда-то были домами, но они сожжены или разрушены бомбардировками с воздуха и земли: немцы соорудили под ними свои огневые точки.

Врага нельзя было одолеть с суши - его прикрывала вода, нельзя было взять и с моря - мешало мелкое дно. По залитой равнине не могли пойти ни танки (слишком вязко), ни "утки" - амфибии (слишком мелко). Тут мог пройти только человек, смелый, самоотверженный, ненавидящий сидящего в теплых подвалах врага, готовый на холод и голод, на риск и смерть во имя дела, которое ставит выше жизни.

Весь тот день мы долго топтались на чердаке кирпичного домика, отведенного под штаб бригады, смотрели то в бинокль на рябившую под ветром воду, то на карту местности, изучая овраги

и лощины, которые следовало обходить. Чаще же всего вглядывались в черную дальнюю полоску. Над кучами кирпича и камня поднимались легкие дымки: противник грелся, готовил пищу, жил. Еще жил.

Валлон и Дюмани, приехавшие к нам, сочувственно и старательно всматривались вместе с нами то в воду впереди, то в карту перед нами. Качали головами, вздыхали; встречаясь глазами, ободряюще улыбались. Дюмани уехал перед вечером: он был уже важной персоной, его призывали в столицу какие-то неотложные дела. Валлон остался с нами до начала атаки.

Собственно, атака началась лишь к утру, когда мы добрались до той узкой черной полосы земли и, почувствовав под ногами твердую почву, бросились врукопашную - в последнюю и самую страшную рукопашную, в которой не было ни пленных, ни раненых. Но до этой атаки, продолжавшейся не более десяти минут, шесть часов шли мы по воде. Уровень ее был различен: иногда наши ноги погружались в воду только по щиколотку, порою она доходила по пояс, до груди и до горла. Тогда мы, подняв оружие над головой, двигались особенно медленно.

Туман, спустившийся на залитую равнину, скрывал нас от прожекторов и осветительных ракет. Немецкие прожекторы даже помогали: светлые пятна, возникавшие впереди, тянули к себе, указывали направление. И чем ярче становились они, тем увереннее двигались атакующие: скоро, скоро!..

Артиллерия союзников била по немецким позициям с вечера. Пушки деловито и ровно ухали за нашей спиной, не переставая. Снаряды пролетали над нашими головами, подбадривая и подталкивая. Немцы отвечали нашим артиллеристам редко, но зато щедро сыпали шрапнелью над водой, и она звонко булькала и поднимала частые тонкие фонтанчики.

Сначала мы шли цепями, стараясь соблюдать дистанцию, Георгий в середине, а мы с Моршановым по краям. Постепенно цепи перемешались, Устругов и я оказались рядом, за нами - большая группа наших парней, и мы вместе продолжали путь. Когда дно стало заметно подниматься и ноги почувствовали более прочную опору, Георгий поймал мою руку и пожал ее с такой силой, что я чуть не вскрикнул от боли. Подвинувшись вплотную к нему, я обеспокоенно всмотрелся в его лицо.

- Ты что, Гоша?

- Ничего, - тихо ответил он. - Ничего. Проститься захотелось...

Он тут же оторвался от меня и заспешил вперед, покрикивая:

- Пошли, пошли! Впереди - суша и немцы...

Светлые круги прожекторов выхватили из молочной пелены черные силуэты вооруженных людей. Чем ближе подходили мы,

тем ярче горели круги, тем яснее выступали лица, руки, мокрая одежда людей.

Немцы заметили или услышали нас. Взвились ракеты. Несколько пулеметов загремело рядом, почти под ногами у нас. Георгий, шедший немного впереди, что-то крикнул, махнул призывно рукой, повернулся и побежал на невидимые пулеметы, на невидимого, но близкого врага.

Больше я его живым уже не видел. Партизаны и дружинники бежали и падали, поднимались и снова бежали, опять падали и поднимались. Иногда казалось, что все скошены огнем и никогда не поднимутся. Минутой позже думалось, что все бессмертны: атакующие бежали также тяжело и густо.

Схватка была короткой и жестокой. Немецкий гарнизон был полностью уничтожен, и на узкой полоске сухой земли, окруженной водой, стало вдруг удивительно тихо, и мы услышали печальный вскрик чаек, разбуженных боем.

- Где Устругов? - забеспокоился я, вдруг вспомнив, что не видел его с того момента, когда он, призывно махнув нам, побежал вперед. Никто не ответил, и я уже испуганно закричал: - Устругов! Георгий! Гоша! Гоша!

- Егор! Егор! - подхватил Мармыжкин тоже с тревогой в голосе.

В ответ донесся только крик чаек. Он был теперь громче и печальнее. Мы бросились искать Устругова. И нашли. Такого большого человека нетрудно было найти. Он лежал перед самым входом в подвал, где был командный пункт немцев. Крепкая рука его была вытянута в броске: она успела запустить в подвал гранату, прежде чем вражеская пуля сразила Георгия.

Мы подняли тело, перенесли его на самое высокое место и положили так, чтобы остекленевшие глаза Георгия могли посмотреть на восток: там была Родина, которую он так любил, что отдал за нее жизнь на чужой земле.

Мы собрали и положили рядом с Георгием погибших в ту ночь товарищей. Шеренга мертвых была длинной и страшной. Вытянув руки вдоль тела, они смотрели невидящими глазами в небо, светлевшее с каждой минутой все больше и больше.

Ночь осталась позади. Какой же долгой и тяжелой была эта ночь! И как дорого заплатили мы, чтобы оказаться утром на этой чужой полоске тверди!

Ч А С Т Ь П Я Т А Я

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Полет на восток укоротил ночь, и рассвет мы встретили на несколько часов раньше, чем в Америке. Черные квадраты окошек поблекли, затем стали прозрачными, и за ними вновь засверкало

небо той удивительной синевы, какая бывает на больших высотах. Впереди и немного пониже появилось одинокое белое облако, похожее на медведя. Медведь тянулся к невидимому костру, который окрашивал чем-то алым его острую морду.

Длинная, сигароподобная кабина самолета неслась в воздухе стремительно и плавно. Только мелкое дрожание да шум моторов напоминали, что мы летим, а не висим между небом и океаном, который снова развернулся под нами, такой же бездонный и бескрайный, как небо.

Пассажиры еще спали. Одни лежали в откинутых назад креслах, повернувшись друг к другу спинами, другие - лицом к лицу, будто шептались, третьи запрокинули головы, выставив вверх щетинистые подбородки. Первой проснулась маленькая стюардесса, прикорнувшая на круглом табурете у буфета. Открыв глаза, она тряхнула пшенично-светлой головой, заметив, что за ней наблюдают, улыбнулась с детской застенчивостью.

- Доброе утро!

- Вы проснулись слишком рано, - сказал я. - До утра еще далеко.

Девушка оглянулась на кабину и нахмурилась. Пледы, которыми накрывала она пассажиров, чтобы уберечь от холода - самолет летит в Европу по дуге, загибающей далеко на север, - сбились у некоторых в ноги. Стюардесса встрепенулась и побежала туда. Она поднимала мягкие шерстяные полотнища кончиками прозрачно-тонких пальцев и осторожно накрывала спящих. Лишь наведя порядок, удовлетворенно вздохнула и подошла ко мне.

- Кофе хотите? Или, может быть, сок? После кофе уже не заснете, а сок не помешает поспать еще.

Кофе был горячий. Вливаясь густо-черной струей из термоса в пластмассовую чашечку, которую я держал перед собой, он дымился. Сосед по самолету, услышавший шепот стюардессы, продрал глаза и бодрым голосом, точно вовсе не спал, провозгласил:

- Кофе... Вот это хорошо! Дайте-ка и мне.

Он нетерпеливо облизывал поблекшие и помятые губы, глядя, как девушка льет кофе в его чашку. Выдернув из сахарницы короткими, но крепкими, как щипцы, пальцами сразу три пакетика, сосед надрывал их зубами и вытряхивал мельчайший песок в кофе.

- Вот хорошо! - бормотал он. - Сахар тонирует сердце, а кофе сразу возвращает человека из блужданий сна туда, где он есть: дома - домой, в чужом городе - в чужой город, в самолете - в самолет.

Стюардесса согласно наклонила голову и вздохнула.

- Иногда бывает так приятно поблуждать еще во сне, что просто жаль, когда проснешься. В жизни ведь редко случаются увлекательные вещи.

Сосед поднял на нее серые равнодушные глаза, которые казались особенно мелкими и бесцветными в темных, будто набухших мутью подушечках век. Самоуверенный и сильный, он, наверное, не знал ни увлекательности снов, ни тихой радости мечтаний.

- Сон - это необходимость, - сказал сосед. - С этой необходимостью приходится считаться, но чем скорее избавляешься от нее, тем лучше.

Девушка посмотрела на него растерянно и улыбнулась с такой беспомощностью, словно встретила на своем пути каменную глыбу, которую не могла ни устранить, ни обойти. Толстяк громко втянул губами кофе, пожевал и еще раз изрек:

- Кофе - это хорошо. Утром кофе - самое первое дело.

Самолет постепенно оживал. Просыпавшиеся пассажиры требовали сок, чай, кофе. Взъерошенные и заспанные, они сердито окликали стюардессу, бормотали просьбы или распоряжения (облеченные правом командовать никогда не упускают возможность воспользоваться им). Лишь выпив то, что приносила неизменно улыбающаяся бельгийка, они благосклонно осматривали соседей, растягивали губы в улыбках, поднимались, разминая затекшие ноги. Захватив бритвенные приборы, мужчины выстраивались перед уборными.

Обыденные и даже пустяковые, эти события не могли не только взволновать, но и просто заинтересовать. Их, однако, оказалось достаточно, чтобы вернуть меня из далекого прошлого, в котором я находился всю ночь. Подобно тому как ночной мрак уступал место дню, прошлое отходило назад. Правда, оно не опускалось сразу на дно памяти, а все еще кружило где-то под самой поверхностью. Время от времени даже пробивалось наружу, если настоящее давало малейшую зацепку.

Когда командир самолета послал по рядам кресел синий листок с пожеланием "доброго утра" и известием, где находимся, мое внимание уцепилось не за 20 тысяч футов, которыми измерялась высота полета, и не за количество миль, оставшееся до ирландского берега, а за подпись: капитан Дюман. Мысленно я тут же прибавил букву "и": Дюмани. Пилот, наверное, укоротил фамилию, как делают, подписываясь наскоро, почти все. Конечно, Дюмани, а не Дюман. Конечно, это не мог быть тот Дюмани, который командовал внутренними силами Сопротивления в Арденнах. Он теперь слишком стар, чтобы водить самолеты.

Возможно, родственник. А может быть, просто однофамилец. Скорее всего однофамилец.

И все же, толкаемый внутренним беспокойством, я остановил пилота, проходившего мимо. Тот удивленно выслушал вопрос и торопливо подтвердил:

- Нет, я не Дюмани, я Дюман. Роже Дюман.

- А не встречали ли вы человека с таким именем?

Пилот собрал складки на большом лбу и крепко стиснул губы, будто силой пытался выжать нужное из памяти.

- Я знаю одного человека с таким именем. Он держит магазин в Лювене.

- Торгует?

- Да, торгует.

- Дюмани торгует? Не может быть!..

Я просто не мог представить себе его высокую и прямую фигуру за прилавком магазина, в белом фартуке, с карандашом за ухом. Дюмани не мог опуститься до того, чтобы капризные покупательницы помыкали им, приказывая подать кусок мыла или отвесить килограмм конфет. Уважаемый партизанами, признанный правительством и союзниками, Дюмани закончил войну в должности коменданта (командующего) южным районом. В первые месяцы после войны он был так важен и занят, что меня, приехавшего проститься, даже не пустили сразу к нему. Сопровождавший меня Валлон с усмешкой остановился перед массивной дверью и покачал головой.

- Ведь был же всегда доступным человеком. А теперь... как у министра.

- А он почти министр, - подхватил бельгиец, оказавшийся вместе с нами в большой холодной приемной с золочеными зеркалами и кривоногими бархатными креслами. - Или будет министром...

Министром Дюмани не стал. И хотя, вернувшись после войны домой, я потерял его след, все же не допускал мысли, что "наш комендант" занялся торговлей в Лювене.

- Дюмани торгует, - обиженно повторил летчик. - Тот, которого я знаю, торгует.

У меня не было оснований не верить ему. Помимо известного мне Дюмани, в стране были сотни или даже тысячи его однофамильцев. В бельгийских городах и поселках можно было найти, наверное, немало бакалейных лавок, рыбных лабазов и галантерейных магазинов, на вывесках которых красовалось: "Дюмани".

- Его очень легко найти, - продолжал пилот, задетый моим недоверием. - Надо только добраться до Лювена. На машине или

трамваем. Будете въезжать в деловую часть города со стороны Брюсселя, смотрите направо. Большая вывеска: "Анри Дюмани". Золотые буквы по черному стеклу... Ее нельзя не заметить...

Уже урезонив себя и заставив согласиться, что однофамилец Дюмани мог иметь магазин где угодно, я вновь заволновался: совпадало и имя.

- Послушайте, капитан, а на вывеске в самом деле написано "Анри Дюмани"? Вы не могли ошибиться?

Летчик посмотрел на меня внимательно и строго.

- Не мог. Наша компания не держит пилотов с плохим зрением или плохой зрительной памятью.

- Извините, - пробормотал я, чувствуя себя виноватым и обеспокоенным. - Уж очень странное совпадение. Фамилия и имя...

- Что ж тут странного? - недоумевал летчик. - Анри Дюмани. Ничего странного...

Сосед, вернувшийся после бритья, оттеснил и заслонил капитана. Большой и толстый, он долго топтался перед креслом, а когда, наконец, уселся, летчика уже не было. С досадой и неприязнью оглядел я толстяка. Короткими крепкими пальцами он поглаживал свои рыхлые щеки и большой подбородок, точно искал, не осталась ли где седая щетина.

- Побриться и умыться утром теплой водой - очень хорошо, - важно и веско проговорил он. - Чувствуешь себя легче и лучше.

Сосед еще раз ощупал скулы и мелкие складки на подбородке, потом уставился на меня маленькими глазками. Заметив, видимо, беспорядок на моем лице, сменил благодушный тон на назидательный:

- Пока не брит и не мыт, ты вроде к выходу в люди не готов, и другим смотреть на тебя неприятно. А побрился, помылся - ты в полной форме.

Он был набит бесспорными и примитивными истинами, этот делец. И навязывал их другим с уверенностью человека, который совершает благодеяние, хотя на самом деле только портил настроение.

- Земля! Смотрите, земля!..

Радостный вопль всполошил пассажиров. Сталкиваясь лбами, они прильнули к окошкам. Впереди, далеко внизу, вырастая из океана, появилась темно-зеленая полоска. Заметно приближаясь, она развертывалась в глубь туманного горизонта и вытягивалась в обе стороны. Изрезанная заливчиками, взгорбленная холмами с черными каменистыми лысинами, земля - случись что с самолетом - была бы не милостивей океана. И все же мы обрадовались. Эта зеленая твердь была нашим материком. Океан,

стоявший огромной и мощной преградой между нами и домом, оставался теперь позади.

И хотя до Брюсселя предстояло лететь еще несколько часов, пассажиры начали собираться. Они укладывали в дорожные сумки вещи, которыми пользовались ночью, торопливо заказывали десятки пачек сигарет и шоколадных плиток, коньяк и вино. Официант и стюардесса, привыкшие к этому предпосадочному торговому ажиотажу, носились по проходу. Нагруженные толстыми и длинными, как поленья, пачками сигарет, коробками шоколада и бутылками, они спешили на зов, тянулись к поднятым рукам, в которых пестрели банкноты: американские и бельгийские, канадские и австрийские. В небесах нет таможни и таможенных границ, в самолете все продавалось значительно дешевле, чем на земле, где царит пошлина. Каждый старался купить побольше.

Ажиотаж продолжался долго, но все же над Северным морем пассажирам не осталось ничего другого, как только ждать. Море было зеленовато-серым, невзрачным, и на него не хотелось даже смотреть.

Утомленный полетом и особенно своим путешествием в прошлое, я попытался задремать. Это не удалось. Сосед громко сопел, возился, потом попросил у стюардессы яблоко и, с хрустом откусив, изрек:

- Яблоко очень полезно. Как говорят, одно яблоко в ночь гонит доктора прочь. То есть ешь яблоко каждый день - будешь здоров, и врачи не потребуются.

Даже прижав одно ухо к мягкой спинке кресла, а другое прикрыв ладонью, я не мог спастись от противного трескающего звука: "хряп-хряп", за которым следовало чавканье. Раздражаясь и злясь, я поносил про себя соседа, желая ему подавиться. Но он благополучно грыз. Грыз старательно и смачно. Грыз так долго, будто ему дали яблоко величиной со школьный глобус.

Делец не только мешал дремать. Он разгонял тени прошлого, еще витавшие где-то поблизости, и гасил щемящее чувство горечи, сожаления и грусти. Это чувство появилось у меня еще в Нью-Йорке, в полете усилилось, а утром, когда, простившись в своих воспоминаниях с Георгием, я снова оказался в самолете над океаном, оно стало постоянным и ощутимым до физической боли. И чем ближе подлетали мы к Брюсселю, тем сильнее ныло сердце. Оно радовалось и болело, как перед долгожданной встречей с любимым человеком, которого ты жаждешь увидеть и боишься, что не увидишь.

До нью-йоркской встречи с Казимиром Стажинским и Крофтом у меня не было желания вновь побывать в тех местах,

где мы когда-то скитались и воевали, голодали и мерзли, ненавидели и любили. Возвращение туда даже в мыслях волновало и расстраивало, и мне вовсе не хотелось заново пережить наши неудачи и промахи, легкие, скоро проходящие радости и тяжелые, незабываемые потери. Никого не радует кладбище, где похоронены близкие, а я оставил в тех краях слишком много дорогих могил.

В Нью-Йорке, получив нежданно-негаданно билет на бельгийский самолет, я почел в этом волю судьбы, которая сначала свела меня со старыми соратниками, а теперь толкала в Бельгию, на старые места. Однако бессонная ночь над океаном, во время которой я снова совершил побег из концлагеря и проделал весь путь от Бельцена до узкой полоски берега бухты Шельды, измучила меня. Я слишком отчетливо увидел искромсанное автоматной очередью лицо Миши Зверина и изжеванную на самой груди фуфайку Алеши Егорова, оставленных нами на мосту недалеко от концлагеря. В моих ушах болезненно-резко прозвенели два пистолетных выстрела, оборвавшие жизнь Павла Федунова. Я слишком пристально заглянул в черную, даже в темноте ночи, могилу на высоком берегу Ваала, в которую опустили тело Васи Самарцева. Перед моими глазами лежала страшная шеренга мертвецов, в центре которой был большой и сильный даже в своей неподвижности Гоша Устругов.

Нет, я не хотел видеть старые места и встречать старых знакомых. Они не могли заглушить вновь обострившуюся боль. Да и сами бывшие друзья... Постаревшие, обремененные семьями и заботами, они, коротко вспомнив прошлое, будут затем долго и скучно жаловаться на обиды жизни, которая обошлась с ними скверно. Вместо боевых, ловких и неунывающих товарищей, которые остались в памяти, я, очевидно, встречу либо жалких неудачников, либо растолстевших, самодовольных чужаков, помешанных на делании денег.

Может быть, только Аннета... Аннета... Впрочем, то же, наверное, и с ней. Женщина живет с мужчиной, пока любит его. Разлюбит - он перестанет существовать для нее. Изнывай, пей горькую, бросайся под поезд - ей все равно, ты останешься для нее чужой. Даже хуже, чем чужой, - постылый. И я, конечно, был для Аннеты давно чужой. Правда, Крофт сказал, что она спрашивала про меня. И замуж до сих пор не вышла. Возможно. Вполне возможно. Женщины любознательнее и любопытнее мужчин. А замуж Аннета не вышла, разумеется, не из-за меня. Ведь, провожая меня домой, она прощалась совсем, навсегда. Как же она плакала тогда!.. Глупая, хорошая Аннета... Она не знала, как и сам я не знал, что Татьяна не дождалась меня. Или не

захотела ждать "пропавшего без вести". Какой-то матерый морской волк сокрушил девушку в несколько дней, проглотил ее маленькое сердечко и через неделю после первой встречи увез на Дальний Восток. Ну что ж, это вовсе не обязывало Аннету любить меня, если бы она даже знала об этом. А она не знала... И будет, несомненно, лучше, если никогда не узнает.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

На брюссельском аэродроме, окруженном полями, было пустынно. Лишь перед серым недостроенным аэровокзалом торчали несколько самолетов. Среди них картинно выделялся стройный длинноногий "ТУ-104". Со срезанным лбом и откинутыми назад крыльями, даже прикованный к асфальту, он выглядел стремительным и быстрым.

Прохладный ветер, особенно приятный и легкий после гнетущей духоты Нью-Йорка, нес едва уловимый запах спеющих хлебов. Почти невольно повернулся я лицом к ветру, раскинул руки и вздохнул глубоко и шумно. Бог ты мой! Тринадцать лет назад я улетал отсюда домой. Тогда еще не было этого большого аэровокзала, но ветер дул такой же легкий и пахучий. Мы стояли с Валлоном, вот так же раскинув руки, вдыхали запах поля и радовались. Радовались тому, что тепло и легко, что нам хорошо, что кончилась война и мы остались живы. Даже расставание не печалило: не верили, что надолго и всерьез.

- До скорого, - сказал Валлон, провожая меня к старому, видавшему виды транспортному самолету, летевшему в Берлин.

- Пока, пока! - кричал я с лесенки, как будто мы прощались на день или два.

Смешные... Мы не заглядывали тогда даже на немного вперед. Заглянув, поняли бы, что прощаемся надолго. И все же я не поверил бы в тот день, что не увижу вновь Валлона или окажусь здесь лишь через тринадцать лет. В мою голову никогда не пришла бы мысль, что вновь высажусь с человеком, которого считал мертвым. Стажинский шел со мной рядом, устало посматривая по сторонам: он уже бывал тут.

Новый аэровокзал велик и громоздок. Под огромными сводами звонко клокотало эхо многих голосов. Чиновники и чиновницы авиационной компании в темно-синей форме метались из конца в конец, не в силах справиться с пассажирами, которые бродили по каменным просторам. В большие круглые окна в потолке, лишенные пока стекла, заглядывало небо, и редкие медлительные облака задерживались над вокзалом, чтобы полюбоваться его сумятицей.

Пойманный мной бравый молодой чиновник с черными сверкающе-прилизанными волосами, низким лбом и большим

носом повертел мой билет в тонких, с длинными наманикюренными ногтями пальцах и быстро посыпал:

- В Москву, месье? Послезавтра, месье? Хорошо, месье... А пока в отель, месье. Автобус у входа, месье.

И, шагая боком, он повел нас с Казимиром к автобусу.

Ох, как трудно отделаться от воспоминаний, когда после долгого отсутствия возвращаешься на старые места! Я узнавал дороги, по которым катился в Брюссель наш автобус, узнавал перекрестки и даже отдельные дома, стоявшие вдоль дороги особняком, будто оторвавшись от города. А узнавая, немедленно вспоминал что-нибудь связанное с этим местом. Иногда большое и важное, а то совсем мелкое, пустяковое или смешное.

Отель, в который привезли нас, был большой и старый. Одной стороной выходил на площадь, другой - на оживленную улицу, и его просторные длинные коридоры напоминали торговые пассажи. Сходство с пассажами усиливалось витринами вдоль стен, в которых сверкали под стеклом ювелирные изделия, дорогие безделушки. Манекены с изящными фигурами и восковыми лицами демонстрировали последние моды. Не дожидаясь, когда покупатель-чужеземец соизволит прийти в магазин, реклама перебиралась к нему в отель.

Отведенный мне номер оказался неуютным. Почти половину его занимала огромная, как поле, кровать. На ней с одинаковым удобством можно было вытянуться вдоль или поперек. Однажды на такой кровати мы спали впятером. Это было в другом отеле, но здесь же, в Брюсселе, после сражения на "водном фронте". Город отапливался плохо, в номере, который дали нам военные власти, было холодно, и мы улеглись на одной кровати, прижавшись друг к другу. Только Жозеф отталкивал Аристархова, который сильно наваливался на него. Сеня стучал кулаком в его спину. "Не возись, дьявол! Привык с девчонками спать, теперь покоя не находишь". Но холод угомонил скоро и Жозефа. Проснувшись к утру, я обнаружил, что Жозеф сам прилип к соседу. Жозеф... Где теперь этот рыжий и веснушчатый, как подсолнечник, парень? Парень... Этому "парню" теперь, наверное, лет тридцать пять тридцать семь...

Я поймал себя на том, что опять погружаюсь в прошлое. Я распахнул окно и уставился на площадь. Она была пустынна. Лишь у ярко освещенного газетного киоска на другой стороне несколько парней рассматривали парижские журналы с обнаженными красавицами да на трамвайных путях стояла маленькая женщина с ломиком в руках. Трамваи, наползавшие на нее то с одной, то с другой стороны, сыпали искры и погромыхивали. Женщина звякала ломиком, переводя рельсы, и

вагончики с опущенными окнами катились дальше, озаряя голубыми вспышками темные улицы. Город глухо шумел. В этот монотонный шум изредка врезывались одинокие, какие-то панические вопли автомобилей, иногда совсем рядом слышался смех и громкие голоса.

Каким же темным и тихим был этот город в конце лета 1943 года, когда я впервые приехал в него! Из окна мансарды, где меня поселили, ничего нельзя было увидеть... Опять! Я опять возвращался в прошлое...

С досадой задернув штору, отошел к столу. Но там ждало новое искушение: пухлая желтая телефонная книжка. Полистав ее, можно в полминуты установить, живут ли твои знакомые в этом городе или не живут, найти их адреса и - что важнее - телефон, с помощью которого тут же можно связаться с ними. Почти непроизвольно открыл я книжку на букву "В": Валлон, Луи. Вероятно, он. Я соединился с городом и набрал номер. Телефон подавал сигнал за сигналом: "Гу-у, гу-у, гу-у". Там, на другом конце провода, никто не подходил. С досадой отнял я трубку от уха, готовясь опустить на рычажок, но в трубке вдруг щелкнуло, и смеющийся молодой голос прокричал издалека:

- Ал-ле, ал-ле-о...

- Могу я говорить с месье Валлоном?

- С которым? - стараясь подавить смех, переспросили в трубке. - Здесь их трое. Ученик, студент и депутат.

- Кажется, с депутатом, - немного замялся я, не зная нынешнего положения Валлона.

- О, вы даже не знаете, с кем хотите говорить, месье, - со смешком отозвался голос. - Студент и ученик рядом и готовы к вашим услугам. Депутата придется позвать.

И звонко заорал:

- Папа, спускайся, с тобой хотят говорить.

Депутат долго спускался, взяв трубку, прокашлялся сначала (Валлон и раньше покашливал, "горло прочищал") и устало-скучным голосом сказал:

- Слушаю.

- Говорит Константин Забродов. Тот самый, с которым вы вместе в Бельцене были, бежали в Голландию, затем здесь, в Бельгии, не раз встречались.

- Константин! - обрадованно закричал Валлон. - Ты здесь, в Брюсселе? На выставку приехал? Я так и думал: русских тут теперь много, Забродов, если сможет, обязательно приедет. И ты вот приехал. Молодчина! Где остановился?

Я сказал.

- Слушай, - торопливо и взволнованно заговорил он, - мы

должны встретиться. И немедленно! Знаешь что? Приезжай ко мне. Бросай этот буржуйский отель, там только наши помещики, немецкие капиталисты да американские туристы останавливаются. Поживешь у меня, с моим студентом в одной комнате. Не так шикарно, конечно, как в твоем отеле, а зачем тебе шик? Ты ведь на выставке целыми днями будешь пропадать. Приезжай! А?

На меня словно весенним ветром подуло, я вздохнул с облегчением. Валлон не изменился, несмотря на годы. Мне хотелось увидеть его, вновь обнять, заглянуть в черные то дружески веселые, то злые до неприятного блеска глаза.

- Хорошо, Луи, - сказал я. - Сейчас же спускаюсь вниз, ловлю такси и еду к вам. Если не ошибаюсь, мне придется далеко ехать. Это ведь на окраине?

Валлон засмеялся.

- А ты думал, депутат парламента обязательно живет в центре? Во дворце?

- Ничего не думал. Если хочешь знать, мне даже приятно, что ты живешь на окраине. Дворцы портят людей.

- А роскошные отели?

- Не язви. Отель оплачивает авиационная компания: я ведь пролетом тут.

- Пролетом? Откуда? Куда?

- Из Нью-Йорка. Лечу, конечно, в Москву.

- Когда?

- Послезавтра.

- Послезавтра?

- Да, послезавтра.

Валлон прокашлялся и решительно объявил:

- Ну, послезавтра, положим, ты не улетишь. Ты не можешь послезавтра улететь. Это просто нехорошо, неприлично, даже нечестно. Впервые за тринадцать лет здесь - и только на пару ночей. Совести у тебя нет. Это, знаешь...

Он вдруг прервал себя, вздохнул, будто дунул мне в ухо, и сменил крикливый тон на просительный.

- Ладно, приезжай скорей. Здесь поговорим. Если сможешь остаться еще на пару дней, буду очень рад, нет - ничего не поделаешь. Спасибо и за то, что покажешь себя. Приезжай только поскорее.

- Еду, еду, Луи. Только разреши мне друга одного привезти с собой. Можно?

- Конечно. Хоть десяток привози. И я и ребята мои будут рады русским.

- Он не русский, Луи. Он поляк.

- Все равно вези. Национальность не имеет значения. Важно, что он твой друг.

- Он и твой друг, Луи.

- Мой? Кто же это? Стажинский? Казимир Стажинский? Какого же дьявола ты водишь меня за нос? Приезжайте оба скорее. Его я тоже давно не видел...

Шофер такси, торчавшего перед отелем, выслушав адрес, высунул сильно полысевшую голову, удивленно переспросил, подумал и неодобрительно хмыкнул.

- Это далеко, месье. И там ничего веселого нет.

- Мы ничего веселого и не ищем.

- Ваше дело, месье, - с явной обидой в голосе заметил шофер. - Мне-то все равно. На окраину так на окраину. Только отсюда по вечерам больше к площади де Брукера вожу. Там рестораны, кафе, ночные клубы. Там всякое такое, что одинокому мужчине требуется.

Он выпрямился за рулем, поерзал на месте, но мотор не включил, выжидательно повернув к нам свое толстощекое, с маленьким носиком лицо. Не дождавшись изменения адреса, сердито поджал губы, отвернулся и резко дабанул на стартер.

Мы проехали вдоль улицы, на которой стоит отель, повернули налево и нырнули под большую эстакаду. Я не мог припомнить ее и наклонился к шоферу.

- Городская магистраль, - сердито ответил он. - Недавно построена. Чтобы улицы от машин разгрузить, говорят. А что всю красоту города испакостили, это им горя мало. За Америкой тянутся. А какая уж тут Америка!

Центр действительно выглядел несуразно, и я готов был согласиться, что брюссельские строители в самом деле плохо заботились о красоте города. Но шофер оказался не поклонник красоты, а просто брюзга. Остановившись во второй или третий раз перед светофором, обиженно пожаловался:

- Наставили чертовых красных глаз на каждом шагу, хоть машину бросай да пешком иди, скорее в нужное место доберешься.

Вспоминая пустынные черные улицы военного времени, я с радостью смотрел на праздные толпы, которые текли в обе стороны, перепутываясь, но не сливаясь. Перед витринами, освещенными ярким внутренним светом, образовались как бы лужицы, которые убывали и пополнялись почти незаметно. Постояв перед светлым окном, пары, молодые - в обнимку, постарше - под ручку, совсем пожилые - просто рядом, двигались дальше, к другому окну, к другой витрине.

- Ну, скажите, пожалуйста, - обратился к Стажинскому

шофер, когда машина остановилась перед светофором, - чего они бродят от витрины к витрине? Чего они разглядывают? Ведь купить-то все равно не смогут.

- Развлечение, видимо, - неохотно отозвался Казимир.

Шофер покрутил головой и фыркнул.

- Развлечение... Разврат это, по-моему, а не развлечение. Они глазами покупают, а в мыслях все это домой перетаскивают. Есть такие, что им мало только в мыслях домой таскать. Приходят ночью, когда никого нет, трах-тарарах по стеклу и давай хапать. А хозяева не дураки, у них там провода, сигнализация, звонок-перезвон, сторожа, полиция - и... пожалуйте, садитесь, мигом доставим в тюрьму... Вот к чему это ведет!

Забитые народом кафе с распахнутыми дверями и открытыми окнами, которые волновали и радовали меня светом, шумом, жизнью, вызвали у шофера такси только раздражение.

Лишь на маленькой узкой улочке, выходящей на площадь ратуши, шофер стал добродушнее. Вся улочка состояла из лавчонок, где даже в этот поздний час продавались сувениры. Среди них главное место занимал знаменитый брюссельский мальчик, который, по преданию, спас столицу от пожара, погасив пламя собственной жидкостью. Он был изображен в этом виде во всех размерах - от самого крошечного до естественной величины. Во всех материалах - в бронзе, меди, камне, мраморе, пластмассе, папье-маше, воске. В обеих национальных одеждах - валлонской и фламандской. Во всех костюмах - гвардейцев, пожарников, трамвайщиков, железнодорожников, моряков. Металлические фигурки мальчика были снабжены помпой, что позволяло ему выполнять свою естественную надобность по воле и в руках каждого.

Туристы, накупившие фигурок мальчика, тут же в магазине набирали в помпу воды - она предоставляется бесплатно и в большом изобилии - и выходили на улицу. Покатываясь со смеху, они запускали тонкие сверкающие струи и обливали друг друга.

- Дурни, вот дурни! - показал на них шофер и захохотал. - Купили мальчика и сами стали детьми, заигрались.

Его широкое лицо стало еще шире, круглее. Он почти любовным взглядом проводил группу расходившихся американцев, повторяя:

- Дурни... Вот дурни...

И опять захохотал.

Наше молчание, видимо, обидело его.

- Может, вы думаете, нашли, чем удивить? - с вызовом сказал он, не поворачивая, однако, головы. - Париж Эйфелеву башню показывает, Нью-Йорк стоэтажное здание, Лондон - крепость, где

королям головы рубили, а Брюссель - мальчика со своим фонтанчиком. А, между прочим, наш мальчик не хуже. Не знаю, спас ли он в самом деле, как говорят, Брюссель от пожара, но пользы много приносит. Зять мой в мастерской работает, которая медных мальчишек льет, и хорошо зарабатывает. И, между прочим, отец его там же работал. Лет сорок работал и все мальчишек медных отливал. Семья его всю жизнь этим кормилась, теперь дочь моя, две внучки, ну, и зять, само собой разумеется, этим кормятся. Вот он какой, мальчишечка наш...

- Мальчишка полезный, - согласился Стажинский.

- Еще какой полезный! - подхватил шофер. Он помолчал немного, потом, вспомнив, наверное, американцев, опять прыснул: - Дурни... В самом деле дурни...

Мы выбрались, наконец, из узких улиц старого города, проехали километра полтора-два по авеню Люиз, свернули вправо. Чем дальше от центра, тем пустыннее и темнее становились улицы. Редкие фонари налетали на такси, и я видел тогда обшарпанные дома, избитые панели, серые заборы с неправдоподобно яркими рекламами. Светофоров тут было мало, пешеходы попадались редко, шофер не брюзжал.

Наклонившись к окошку машины, замедлившей бег, я начал внимательно всматриваться в дома, стараясь схватить название улицы. Это была улица Валлона, и скоро такси остановилось перед домом с нужным номером. Из освещенного провала двери выскочил невысокого роста плотный мужчина с большой, белеющей даже во мраке лысиной и бросился к машине.

- Наконец-то! - воскликнул он, принимая сначала Казимира, а затем меня прямо из двери машины в свои объятия. - Наконец-то!..

В ярко освещенной комнате Валлон обошел вокруг нас, как обходит барышник лошадей на конном базаре, его сверкающе-черные глаза единственное, что не изменилось в нем, - заискрились довольной насмешкой.

- А вас обоих развезло. Никогда не думал, что эти обтянутые кожей скелеты, откликавшиеся один на имя "Стажинский", а другой - "Забродов", способны на то, чтобы обрасти таким солидным слоем мяса и жира.

- Я тоже не мог представить, что под густой чернущей копной волос окажется такой стеклянно-голый череп, - заметил Казимир.

Обмен "открытиями" вызвал такой звонкий хохот за моей спиной, что я моментально обернулся. Черноволосый подросток и такой же черноволосый юноша покатывались со смеху, в их сверкающе-черных отцовских глазах блестели слезы. Встретив мой взгляд, они зажали рты, отчего их напряженные лица стали

пунцово-красными.

- Мои, - не без гордости представил отец. - Студент и ученик.

И те, еще более напрягаясь, чтобы не рассмеяться вновь, церемонно поклонились и бросились затем со всех ног вон, грохнув хохотом за дверью. Отец укоризненно покачал головой и почему-то вздохнул.

- Постарели мы... Все трое постарели...

- Не мудрено, Луи. Времени прошло немало.

- Да, немало, - согласился он. - И прошло оно удивительно быстро. Поразительно быстро. Иногда кажется, что скитались в Арденнах только вчера. До того ярко, живо возникает все перед глазами. А иногда, наоборот, все покрывается таким туманом, что начинаешь сомневаться: да было ли это? Не приснилось ли?

- Фокусы памяти, - неопределенно заметил Стажинский. - Настроение... Обстановка...

Мы уселись, и я смог, наконец, более внимательно оглядеть старого друга. Валлон заметно потолстел, раздался вширь, поэтому казался квадратным и ниже ростом. Вместо неутомимого, смелого, хотя и настороженного подпольщика передо мной стоял благообразный и солидный делец или чиновник с круглым, помятым лицом и отвисающим животиком. Лишь глаза оставались теми же: до блеска черными, смелыми и веселыми, и они смотрели на меня с тем немного насмешливым участием, которое было так хорошо знакомо.

С некоторым запозданием я спохватился и спросил его о здоровье. Валлон вздохнул, тяжело подняв плечи: о каком здоровье может быть речь в такое время? Ответил, однако, бодро, что здоровье вполне терпимо, хотя сердце иногда пошаливает и усталость, не в пример старым временам, настигает быстрее и чаще.

Как он жил эти годы? Так же, как и все. Состояния не нажил, да и не стремился к этому. Карьеры тоже не сделал и не стремился делать. Депутат парламента? Да, уже почти двенадцать лет, и есть надежда, что будет избран на четвертый срок. От того же рабоче-горняцкого округа в районе Льежа.

Вероятно, только самовлюбленным фанфаронам их жалкие поступки и похождения кажутся великими деяниями. Нормальному человеку его собственная жизнь всегда представляется обычной. Видимо, поэтому мой друг не нашел ни в своем недавнем прошлом, ни в настоящем ничего особенного.

Валлон открыл дверь, за которой скрылись сыновья, и крикнул, чтобы те поставили кофе. Сверху ответили: "Есть приготовить кофе!" - потом по лестнице что-то прогремело, точно со второго этажа скатилась бочка с камнями, через четверть

минуты грохот повторился, и внизу, за стеной раздался смех. Отец посмотрел на стену укоризненно, будто она была виновата в чем-то, и улыбнулся мягкой, почти нежной улыбкой.

Потом повернулся ко мне.

- У тебя есть дети, Константин?

- Нет, у меня нет детей. Я еще не успел жениться.

- Тэк-с, тэ-эк-с, - протянул он озадаченно. - Значит, девушка, о которой ты говорил - не помню ее имени, - не дождалась тебя?

- Не дождалась. И пока я свыкся с мыслью, что для меня ее нет, прошло время, а с возрастом мужчине становится все труднее жениться.

- Верно, - подхватил Стажинский. - Выбор становится труднее.

Валлон сочувственно положил мне руку на плечо и немного пожал: ничего, мол, старина, неженатые тоже имеют право на существование. И, следуя какой-то неведомой мне мысли, вдруг вспомнил:

- А знаешь, Аннета - помнишь, девушку в "Голубой скале", в Марше? тоже еще не замужем и про тебя недавно спрашивала.

- Она, видно, всех обо мне расспрашивает, - несколько неприязненно отозвался я, пораженный неожиданным переходом. - Один англичанин, которого в Нью-Йорке встретил, тоже говорил мне об этом.

- Вот видишь, - подхватил Валлон, не замечая неприязни. - Аннета интересуется тобой. И я должен тебе сказать, что это великолепная женщина. Еще стройная, еще красивая...

- Еще молодая, скажешь?

- Безусловно, - подтвердил он серьезно и тут же насмешливо добавил: Беда всех немолодых мужчин заключается в том, что они ищут молодость и свежесть, но отвергают их обладательниц потому, что не находят зрелости, а зрелых отвергают потому, что у них нет уже молодости и свежести...

Казимир засмеялся, Валлон подхватил смех, потом, сразу посерьезнев, легонько стукнул меня по спине.

- Я вовсе не собираюсь женить тебя на Аннете. Но было бы все же очень хорошо, если бы ты смог, если бы вы оба смогли поехать туда.

- Куда? В Марш?

- Сначала в Льеж к горнякам, затем в Марш. Я уверен, что все обрадуются вашему приезду. Это у наших правителей короткая память, а бельгийцы хорошо помнят русских, знают, что они сделали, и всегда готовы обнять их по-братски.

Стажинский не мог ехать, у него были дела в бельгийском министерстве иностранных дел, но усердно уговаривал меня поехать. Он задерживался здесь дня на три и хотел, чтобы я

задержался тоже.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Мы провели тот вечер в теплой, дружеской и немного печальной беседе. Почти каждый раз, когда кто-нибудь начинал: "А помните?.." - разговор неизменно кончался грустно: человек, о котором вспоминали, погиб, событие, пришедшее на память, возвращало нас к утихшим болям, к забытому горю, и мы невольно чувствовали отголосок той боли или горя. Правда, прошлое не казалось нам только черным, тяжелым, безрадостным. У него были свои радости, светлые дни. Но эти радости давала нам молодость, а она ушла.

Прощались мы поздно, растроганно, но с облегчением: вырывались из прошлого в настоящее. Я согласился поехать с Валлоном на юг, и он обещал заехать за мной в отель. Утром, однако, он позвонил и сообщил, что поехать в тот день не сможет: правящая партия замыслила какой-то трюк в парламенте, и депутатам из оппозиции нужно было быть начеку.

Мне не оставалось ничего иного, как отправиться на выставку. Я обошел основные павильоны, прокатился на подвесной дороге, побывал в "Атомиуме", в "Старой веселой Бельгии" и прибрел, наконец, к ресторану, где мы с Казимиром договорились встретиться. Дипломат опоздал, и свободного столика не оказалось. Попросив метрдотеля позвать нас, мы стояли у входа, вяло разговаривая.

Стажинский, посматривавший по сторонам, вдруг всплеснул руками:

- Батюшки-светы, опять Крофт!

Действительно, немного возвышаясь над толпой, к ресторану двигался Крофт. Он не глазел по сторонам, как делали все посетители, а смотрел прямо перед собой тем не замечающим никого взглядом, который мы так хорошо помнили. Лишь брезгливо оттопыренные губы показывали, что англичанин все-таки видит снующих вокруг людей и презирает их.

Стажинский окликнул его. Крофт повернулся к нам, не выразив ни удивления, ни радости, раздвинул бледные губы и вяло пожал руки. На вопрос, как он оказался в Брюсселе, сухо ответил:

- Короткая служебная поездка. Мне приходится часто делать это.

- И на выставку еще раз захотелось посмотреть?

- Нет. Просто тут хороший ресторан.

Метрдотель позвал Стажинского и меня, посоветовав Крофту подождать, когда освободится столик. Мы пригласили его с собой.

Разговор за столом не клеился. По нерушимому английскому обычаю Крофт заговорил о погоде, нашел ее значительно лучше, чем в Нью-Йорке, обратил наше внимание на пестроту посетителей ресторана и модернистское украшение стен. Он вел разговор, который считал "очень приятным", то есть вежливым, бесстрастным и пустым.

Казимир, слушавший его со скучающим видом, спросил, почему Крофт, часто наезжающий в Брюссель, не встречается с Валлоном. Имя бельгийца заставило дипломата стиснуть губы, глаза его стали острыми и злыми.

- Не нахожу нужным.

- Вы, кажется, сердиты на него.

Англичанин усмехнулся надменно и презрительно.

- Слишком много чести сердиться на него. Это пустышка, погремушка, которой изредка потрясает некая длинная рука.

Несомненно, Валлон вызвал чем-то немилость дипломата, и тот даже не хотел или не мог скрыть раздражения. Наблюдательный поляк также заметил это и, пряча усмешку, попытался уточнить:

- Вы не видели Валлона, а все же знаете о нем.

- Мне говорил о нем наш посол в Брюсселе.

- Послы великих держав мелкотой обычно не интересуются.

- Тут больших талантов не требуется, - возразил Крофт. - Чтобы обратить внимание какого-либо посла, достаточно произнести несколько злых речей против его страны.

- Валлон произносит злые речи против Англии, наверное, потому, что не согласен с вашей политикой, - заметил Казимир. - И вы невзлюбили его за это?

Англичанин пожал узкими плечами, поднял глаза к потолку и даже собрал в гармошку морщины на лбу, показывая, видимо, как неправильно понимают его. Потом приложился к стакану с виски и бросил на нас быстрый пытливый взгляд.

Мне казалось, что Крофт решал, как вести себя с нами. Он мог выпалить что-нибудь злое против Валлона, против нас, подняться и уйти. Этого, однако, не случилось. Он решил стать еще любезнее.

- Вы были и остаетесь моими друзьями, - великодушно объявил он, хотя мы не спрашивали об этом. - Мы не переносим своих политических или религиозных убеждений на личные отношения. Этим мы отличаемся от русских (поклон и улыбка в мою сторону) и вообще славян (поклон и улыбка в сторону поляка). Если сложить все в скорлупу ореха, то уважение убеждений другого - основа нашего общежития.

Почти невольно обменялись мы с Казимиром улыбками,

услышав про скорлупу ореха. Оба вспомнили, что это выражение было его любимым еще в те давние годы. Оно обычно иллюстрировалось особенным жестом: Крофт складывал пальцы в щепотку и показывал, точно действительно держал невидимый для других орешек. Порою даже мелкие привычки людей сопровождают их по жизни с таким же постоянством, как врожденные физические свойства или недостатки. Человек свыкается с ними, как с шестью пальцами на руке, разным цветом глаз и родимым пятном на кончике носа.

Я не очень верил англичанину: мы никогда не были друзьями, поэтому не могли остаться ими. Сомневался я и в веротерпимости: он делал вид, а на самом деле не терпел убеждений других. Своими словами Крофт только предупреждал, что не собирается порывать с нами, хотя мы и находимся на разных берегах.

Трудно беседовать мирно, когда нет общего интереса. Англичане, сделавшие политику профессией, говорят о погоде, американцы, помешанные на делании денег, - о спорте, славяне, склонные к возвышенной мечтательности, - о политике. Не зная, о чем говорить, Казимир и я стали высмеивать и критиковать англичан, их друзей и союзников, которые повторяли в Западной Германии именно то, против чего мы когда-то совместно боролись; Крофт возражал вяло, как человек, убежденный, что всегда прав и что даже не может быть неправым. Однако, по мере того как убывало виски из его большого стакана, исчезала вялость, возрастал азарт.

Алкоголь не только развязывает языки. Он раскрывает характеры. Вместо маски, напяленной на себя человеком, появляется подлинное лицо. Вечные молчальники становятся неудержимыми болтунами, тихони - скандалистами, святоши - похабниками, неугомонные весельчаки - плаксами, трусы отчаянными и чаще всего бессмысленными смельчаками.

И Крофт под воздействием алкоголя потерял маску самоуверенного превосходства. На его обычно надменно-спокойном лице появилась тревога. Даже тонкие губы, так часто изогнутые в презрительно-холодной улыбке, безвольно растянулись и опустились по углам с выражением горечи и упрека.

- Если втиснуть все в скорлупу ореха, - говорил он, показывая пальцы правой руки, сложенные так, будто хотел перекреститься, - то главная опасность лежит для нас, англичан, не в Германии, как думает мистер Стажинский, совсем не в Германии. Мы боимся потерять то, что до сих пор имели. Не столько в Европе, сколько в Азии и Африке. И эта опасность идет с вашей стороны.

- Мы ничего не отнимали и не собираемся отнимать у вас.

- Это делают за вас другие.

- За нас?

Дипломат церемонно поклонился в мою сторону.

- Пардон! Неточно выразился: они делают это для себя, но с вашей помощью.

- Пардон! Мы никому не помогали отнимать у вас что-либо.

- Пардон! Вы помогаете им тем, что существуете. Они не посмели бы поднять на нас руку, если бы вас не было.

- Пардон! Мы не можем отказаться от своего существования, чтобы сделать приятное вам.

Крофт навалился на столик и поманил к себе. Поставив локоть среди стаканов, он сложил пальцы в шепотку и повертел, точно ввинчивал невидимый нам шуруп.

- Если сложить все в скорлупу ореха, - сказал он уже заплетающимся языком, - то всех можно разделить на три категории. Одни хотят подтолкнуть историю и заставить ее, как неопытную мать, рожать раньше срока. От этого появляются выкидыши или хилые дети. Этого добиваются революционеры. Другие хотят остановить историю или повернуть назад. Это также противоестественно: нельзя удержать плод в утробе матери дольше определенного срока. Это реакционеры (кивок в сторону сидевших за соседним столом американцев). Третьи хотят позволить истории развиваться нормально, без подталкивания или попыток остановить ее. Это настоящие реалисты.

- Себя вы относите, конечно, к последней категории, - иронически предположил Казимир.

Уже захмелевший англичанин тупо посмотрел на него и согласно наклонил голову. Потом вдруг погрозил нам обоим пальцем и строго сказал:

- А вы не хотите позволить, чтобы мы позволили истории развиваться нормально. Разве это справедливо? Нет, несправедливо. В этом нет настоящей справедливости.

Он опустил голову, уставившись невидящим взглядом в стол, помолчал, затем встряхнулся всем туловищем, как встряхивается собака, вылезая из воды, и позвал бармена.

- Двойную для каждого.

С бесстрастием человека, видевшего всякие виды, бармен понимающе кивнул головой. Однако, собирая со стола пустые стаканы, бросил мне вполголоса:

- Попридержали бы его немного, мистер. Он здесь не первый раз и всегда напивается...

Остановить Крофта оказалось не так-то легко. Выслушав пожелание: а не пора ли нам перестать пить, он выпрямился,

щелчками пальцев подозвал бармена и с щедростью пьяного бросил ему под ноги пятифунтовую бумажку.

- Еще по двойной виски на каждого. И не разбавляйте!

Крофт схватил стакан с подноса, не дожидаясь, когда поставят на столик, выпил одним глотком и с силой опустил стакан снова на поднос.

- Еще двойную...

Пришлось уводить его из ресторана. Сначала он сопротивлялся, а потом заспешил, не желая ждать даже счета. Перед дверью Крофт вдруг остановился, словно вспомнил что-то важное. На его пепельно-бледном лице появилось страдальческое выражение. Смотря прямо перед собой бессмысленно-пьяным взглядом, он пробормотал:

- Пустота... впереди... пустота...

За широкими стеклянными дверями, у которых мы задержались, лежало просторное и пустое фойе. Предвечернее солнце, пронизав окна, легло на зеленый линолеум нежно-золотистыми квадратными плитами, и, видимо, поэтому пустота казалась большой и печальной.

- Обеденное время давно кончилось, все разошлись, - сказал я, думая, что Крофта беспокоит отсутствие людей.

- Все разошлись, - как эхо повторил он. Помолчав, повернулся ко мне: - А куда я пойду?

Мы переглянулись со Стажинским. Тот пожал плечами и взял дипломата под руку.

- Мы отвезем вас в гостиницу, мистер Крофт. Скажите только, куда вас отвезти.

Англичанин высвободил руку и уставился на Казимира.

- В какую гостиницу? И зачем меня в гостиницу?

- В гостиницу, где вы остановились.

Крофт с отвращением плюнул.

- Гостиницы здесь мерзкие... Ни комфорта, ни уюта... Каминов нет... Ничего нет... Пустота... Одна пустота...

Выяснилось в конце концов, что остановился он в "Метрополе", на пляс де Брукер. Мы вывели англичанина за ворота, посадили в такси и минут через двадцать были уже в центре Брюсселя.

У отеля, где мы намеревались высадить его, а сами ехать дальше, англичанин заупрямился.

- Или вы подниметесь со мной, - объявил он с пьяной решимостью, покрутив при этом пальцем перед моим носом, - или я остаюсь в такси...

В большом, богато обставленном номере Крофт с подчеркнутой любезностью усадил нас в кресла, сказав "сию

секунду", исчез за дверью глубокого стенного шкафа и вылез оттуда с торжествующе-лукавым видом: в одной руке держал бутылку, похожую на огромную, сдавленную с трех сторон грушу, в другой - сифон с содовой водой.

- Это вот настоящее виски, - тряхнул он грушевидной бутылкой с янтарной жидкостью. - Настоящее шотландское. Из настоящего шотландского ячменя. И держали его в настоящих бочках из настоящего английского дуба. Тут все настоящее. Нет, не подделка, а настоящее...

Вероятно, слово "настоящее" было его любимым, и он прибегал к нему часто.

Мы оба отказались пить, а Стажинский посоветовал и ему не пить. Почти с детской покорностью закупорил он бутылку и отнес на место. Закрыв шкаф и прислонившись к двери спиной, он вопрошающе посмотрел на нас: раз, мол, не хотите пить, то какого дьявола сидите здесь? Я поднялся.

- Подождите, не уходите, - торопливо и испуганно проговорил Крофт, делая несколько неуверенных шагов к нам. - Мне нужно поговорить с вами.

Однако мы напрасно ждали разговора. Дипломат хмуро посматривал то на меня, то на Стажинского, косил глаза на дверь стенного шкафа, потом снова предложил выпить. Мы опять отказались. На этот раз он обиделся.

- Какого дьявола! В трезвенники записались, что ли? С вами так же трудно иметь дело, как с бронзовыми или мраморными статуями в музее. Оболочка есть, а души настоящей нет. Человеческой теплоты настоящей нет...

Чтобы не усиливать его обиду молчанием, я возразил, напомнив, что именно эта человеческая теплота помогла всем нам пережить когда-то Бельцен, одолеть долгий и тяжелый путь от концлагеря до Арденн.

- Не будь у нас этой теплоты, вы, наверное, не сидели бы сейчас в этом роскошном отеле, а давно сгнили бы в лесу.

- В каком лесу? - переспросил Крофт удивленно и строго.

- В лесу под Бохольтом, в северо-западной Германии. Не помните?

Серовато-бледное лицо дипломата начало краснеть медленно и постепенно, словно прозрачный сосуд со светлой жидкостью, в которую вливали тонкой струйкой краску: из бледного оно стало розовым, потом алым, затем совсем красным.

- Помню, - глухо сказал он, стиснув губы жесткой и злой подковой. Очень хорошо помню. Пользуясь тем, что были крепче, сильнее физически, вы заставили обессиленных, голодных людей плясать всю ночь.

- Мы заставляли людей плясать, чтобы спасти их жизни.

Крофт усмехнулся.

- Спасти наши жизни... А били? Тоже, чтобы спасти наши жизни?

- Вы отказывались топтаться на месте, - напомнил я. - Вы хотели, чтобы вас оставили в покое и позволили лежать.

Англичанин встал передо мной, засунув руки в карманы брюк, и посмотрел на меня с брезгливым ожесточением.

- За всю мою жизнь меня били только раз, - тихо, точно вспоминая вслух, проговорил он, и я почувствовал, сколько злости вложено в этот шепот. - Только раз... И это было в том лесу под Бохольтом... Даже нацисты не осмелились бить меня, потому что понимали, что делать этого нельзя... Английский аристократ... офицер Интеллидженс сервис... Его можно расстрелять, повесить, но бить... унижать... нельзя, нельзя... А вы били меня, как мясника какого-нибудь... Тяжелой тюремной бутсой с деревянной подошвой в зад... Бутсой в зад... Как бродягу... Офицера его величества.

Он остановился и приблизил ко мне свое лицо.

- Интересно, какой наглец осмелился сделать это?

Я наклонил голову, будто представлялся ему впервые.

- Этот наглец - я. И бил я вас, чтобы заставить двигаться и тем самым спасти жизнь.

Дипломат упрямо и молча рассматривал меня светлыми, очень злыми глазами.

- Может быть, вы и думали, что спасаете меня, давая пинка под зад, но я никогда не прощу вам этого стыда. Я не знал, кто бил меня, хотя и подозревал грубияна Федунова. Я не мог рассчитаться с ним, потому что он погиб там, в немецком лесу. Теперь я знаю, кто виновник моего стыда. Теперь я знаю... Теперь я знаю...

В последних словах, произнесенных опять жестким шепотом, послышалось шипение подлинной ненависти. Была ли она порождена алкогольными парами или обидой, разбуженной воспоминаниями, я не знал. Мы поднялись, и хозяин не пытался удерживать нас. Он не проводил нас даже до двери, а лишь издали поклонился церемонно и холодно, сложив губы в надменно-презрительную улыбку.

В лифте мы спускались молча. На улице, перед тем как нырнуть в такси, которое должно было отвезти его в польское посольство, Казимир задержал мою руку в своей и невесело усмехнулся:

- Вот ведь как получается: пинок в зад даешь, можно сказать, с самыми благородными намерениями, а он на всю жизнь на душе

обидой отпечатывается...

Я только пожал плечами. Что ж, непонятные или ошибочно понятые намерения были и остаются главной причиной осложнений, неприятностей и бед в этом грешном мире...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Ранним утром следующего дня Валлон заехал за мной, и мы двинулись на юг. Дорога Брюссель - Льеж была хорошо знакома. Она почти не изменилась. Поблескивал под солнцем натертый шинами асфальт, стояли зеленоглавыми часовыми деревья, развертывались по обе стороны поля с частыми хуторами и усадьбами. Мирно дремлющие склоны холмов сверкали вдруг так ослепительно, будто куски солнца, оказавшиеся каким-то чудом на земле. И лишь после того когда солнечные осколки так же необъяснимо гасли, обнаруживалось, что это стеклянные крыши знаменитых бельгийских виноградников-оранжерей.

Машина пролетарского депутата была мала, низка, но быстроходна, и это сильно обостряло ощущение скорости. Не без страха ожидал я приближения больших грузовиков, которые катились навстречу. Сотрясая дорогу, они обдавали нас грохотом, пылью и газами. Валлон вел свой "рено" настолько близко к ним, точно собирался проскочить под их колесами. Он не сбавлял скорости, когда за спиной возникал мощный силуэт "бьюика", "доджа" или "мерседесбенца" и, стреляя вспышками стекла и никеля, начинал настигать нас. Иногда вежливо, чаще надменно они сигналили: убирайтесь с дороги, пропустите. Мой друг подмигивал мне и прибавлял газ.

- Хотят впереди быть, пусть потягаются.

Раздраженные своеволием мелкоты, большие машины сердито рявкали, обгоняя нас, и в наказание за строптивость пускали нам в глаза вонючую струю перегара.

Рядом с дорогой тянулись бесконечные и прямые полоски рельсов, по которым лениво ползли яркие вагончики дальнего трамвая. Их пассажиры, высунув головы из окон, обменивались приветственными взмахами рук с седоками машин.

С радостным удивлением смотрел я по сторонам, готовый во всеуслышание кричать: "Как же хорошо все, когда мир! Едешь открыто по той же самой дороге, по которой тогда пробирался только тайком, на дне грузовика или под задним сиденьем легковой машины. Не сгибаешься в три погибели и не мечтаешь исчезнуть совсем, услышав настигающий шум машины. Не задерживаешь дыхания на остановке, боясь, что случайный зевака, подошедший к машине, учует тебя и выдаст. До чего же легко на сердце, когда не боишься другого человека и на твою улыбку, на твой приветственный взмах тебе отвечают такой же

улыбкой и таким же приветствием! Да, мир - это очень хорошо!"

- Может быть, это сентиментальность, - сказал я, поведав Валлону свои мысли, рожденные дорогой.

- Нет, Константин, это не сентиментальность, - отозвался он. По-моему, это значительно глубже. Видишь ли, люди, не знающие ужасов войны, - а таких теперь много - не понимают, не чувствуют так остро благодеяние мира. Все, говорят, познается в сравнении. Пережившие долгие годы затемнения, как помнится, целыми ночами танцевали на улицах и площадях, когда вновь появился свет. Исчезновение страха перед неожиданным налетом бомбардировщиков сделало сон людей снова легким и спокойным, и они блаженно вытягивались на кроватях. Призрак смерти, витавший над этими полями, научил людей по-особенному ценить жизнь. Однако постепенно все это отошло на задний план, и, чтобы вспомнить о страшном, хотя и недавнем прошлом, нужен какой-то толчок, особое напоминание. У меня, например, эта дорога уже не вызывает тех чувств, которые появились здесь у тебя: я привык к ней. Ты увидел ее после войны впервые, и она напомнила тебе те тяжелые времена. Это не сентиментальность, это неизбежное возвращение в прошлое.

- Ты, кажется, прав, Луи. Если бы я не встретился со Стажинским и Крофтом в Нью-Йорке, я едва ли стал бы вспоминать, во всяком случае со всеми подробностями, концлагерь, побег в Голландию, скитания и бои в Арденнах, сражение на "водном фронте". Эта поездка все время возвращает меня назад с такой силой, что мне так и кажется, будто рядом со мной движется прошлое, которое то уступает место настоящему, то оттесняет его.

Валлон бросил на меня короткий взгляд и многозначительно пробормотал:

- Ну, сейчас ты встретишься с таким прошлым, настоящее которого удивит тебя.

Даже привыкнув к некоторой замысловатости выражений моего старого друга, я озадаченно повернулся к нему. Прищуренными глазами он всматривался в дорогу. В ту же секунду я увидел дорожный знак: до Лювена пять километров. Знакомое название напомнило рассказ пилота, и я почти воскликнул:

- Дюмани! Ты говоришь о Дюмани?

Пораженный правильностью моей догадки, Валлон затормозил.

- Откуда ты знаешь про Дюмани?

- Пилот самолета, который доставил меня из Америки, рассказывал. Он не знал Дюмани, а просто запомнил вывеску в

Лювене с этим именем. И мне почему-то показалось, что обладатель той вывески - наш Дюмани. Я не верил этому, но все же...

- Да, это тот Дюмани, - тихо подтвердил Валлон с упором на "тот", точно подчеркивал, что не может применить к нему слово "наш".

- Торгует в Лювене?

- Он не торгует, конечно, сам, - ответил сосед. - Он владеет магазином. Даже не он, а жена. Но она настолько обожает мужа, что закрепила за ним право собственности и вывеску сменила, чтобы имя его прославить.

- Имя Дюмани прославить?

- На свой манер... Ты же понимаешь, что в торговом мире свое понятие о славе и безвестности.

- А он? Неужели он захотел, чтобы имя Дюмани, которое было так популярно после войны, прославлялось таким образом?

- Захотел. И именно потому, что имя было так популярно.

- В целях рекламы?

- Нет, в целях протеста.

- Протеста? Против кого? Или против чего?

- Против тогдашних вершителей судеб страны. Когда распустили внутренние силы Сопротивления, Дюмани возмутился. Его хотели ублажить и предложили крупный пост в армии, а принц-регент присвоил ему звание полковника. Дюмани потребовал, чтобы вместе с ним взяли дружинников внутренних сил. Этому воспротивился Крофт: помнишь, был с нами один англичанин? По его совету генерал Эрскин, возглавлявший тогда военную администрацию союзников в Бельгии, не утвердил назначения. Дюмани не захотел оставаться в столице, где распоряжаются эрскины и крофты, и уехал в Лювен, поклявшись никогда не иметь ничего общего с политикой и политиканами. В Лювене женился на дочери богатого коммерсанта и демонстративно выставил свое имя на вывеске магазина. Ты сейчас увидишь ее...

Действительно, на правой стороне оживленной улицы на самом въезде в деловую часть города бросалась в глаза большая вывеска: "Анри Дюмани". Точь-в-точь как говорил пилот: золотые буквы по черному стеклу.

- Может, остановимся, а?

- Остановиться можно, - вяло согласился Валлон и, догадываясь о моем намерении, добавил: - Только нет смысла. Дюмани в магазине не бывает. Он живет с женой за городом в маленьком поместье и увлекается, как положено аристократу и бывшему офицеру, лошадьми и цветами.

- Лошадьми и цветами?

- Да, лошади и цветы. Это все, что осталось от Дюмани...

"Лошади и цветы", - с горечью повторил я про себя, пока наша юркая машина виляла по узким и кривым улочкам Лювена. "Лошади и цветы", - думал я, когда мы выбрались из города и покатили снова по знакомой дороге к Льежу.

Я рассказал Валлону о вчерашней встрече с Крофтом в ресторане на выставке, о прощании в отеле "Метрополь", о мрачных настроениях английского дипломата. Негодование Крофта по поводу пинка, полученного много лет назад, заставило бельгийца расхохотаться, а склонность к пьянству вызвала удовлетворенное восклицание:

- Я знал, что Крофт кончит в бедламе. Это можно было еще пятнадцать лет назад предсказать. Мне понятно, почему он не видит впереди ничего, кроме пустоты. Ему там и нечего видеть. Пустота - это пьяные галлюцинации, постоянные мысли о неизбежном конце пути, за которым нет уже ничего...

- Ну, как это ничего? Каждый человек верит, что кто-то пойдет его путем дальше, продолжит его дело. Очевидно, верит в это и Крофт, тем более что у него есть сын.

- Тут дело сложнее, чем прекращение одной жизни. Мне думается, что Крофт чувствует глубже.

- Глубже? Что он может чувствовать?

Бельгиец неопределенно пожал плечами.

- Может быть, умирание своего класса. Может быть, умирание когда-то могущественнейшей и величайшей империи. Слуги империи чувствуют, не могут не чувствовать угасание ее прежнего величия. В былые времена верные слуги павших династий кончали с собой, ныне они только спиваются.

Мне казалось, что в рассуждениях Валлона есть какая-то навязчивость, желание приспособить события и явления к какой-то заранее созданной схеме. Я не был уверен, что Крофт целиком укладывается в эту схему, но тот конец пути, который, по мнению Валлона, ждет нашего английского знакомого, не мог породить иных представлений о будущем, кроме пустоты. По-человечески мне было жалко Крофта. Как бы ни черна была ночь, свалившаяся в те давние годы на нас, мы никогда не сомневались в том, что за ней придет утро. И мы не просто ждали утра, а шли навстречу ему. Как должно быть трудно жить, если знаешь, веришь, что приближается твоя ночь! Бесконечная ночь. Ночь, которую никогда не оборвет рассвет. Я не хотел бы быть на месте такого человека.

В Льеже Валлон оставил машину перед домиком своего приятеля, и мы отправились в пивную, где обычно собирается

простой люд, чтобы скоротать свободное время. Посетители, сидевшие за маленькими мраморными столиками, увидев Валлона, задвигались, зашумели.

- Здравствуй, старина! - кричал один.

- Как поживаешь, Луи? - кричал другой.

Третий поднялся со своего стула и широким жестом пригласил гостя сесть на его место. Несомненно, депутата тут знали и уважали. Расторопный официант подскочил к нашему столику, едва мы сели, бросил перед каждым по картонному кружочку и прижал их к мрамору высокими большими стаканами с янтарной, чуть-чуть кипящей жидкостью.

Пивная находилась в верхней части города, и в распахнутые настежь окна были видны огни, много огней где-то внизу. Вдоль набережной реки огни тянулись ярким длинным рядом, и этот ряд повторялся в черной поблескивающей воде Мааса. Там, где огни кончались, Маас исчезал, будто его отрубали, хотя я хорошо знал, что он не может исчезнуть. Немного выше города мы пересекали его тогда дважды: первый раз перед нападением на лагерь военнопленных, второй раз после нападения.

Точно перехватив мои мысли, Валлон спросил соседей, кто помнит нападение на лагерь советских военнопленных. Когда несколько человек ответили, что помнят, Валлон сказал им про меня, и соседи потянулись к нашему столику, захватывая мою руку в свои крепкие пятерни. Они внимательно и осторожно расспрашивали меня, что я делал после войны, как живут у нас дома, в Советском Союзе. Знали они о нас много и иногда задавали такие вопросы, на которые я не мог ответить: не знал деталей. Услышав, что я возвращаюсь из Нью-Йорка со специальной сессии Ассамблеи ООН, они спросили, почему дипломаты не могут договориться.

Один из собеседников, которого все звали просто Полем, с худым, бледным, даже землистым лицом, несомненно горняк, провозгласил:

- Дипломаты никогда не договорятся и не могут договориться. Что же им останется делать, если в мире будет тишь да гладь? Ни поездок за границу, ни конференций, ни речей, ни шума в печати. Да и жалованье урежут, если не отберут совсем.

Слушатели засмеялись. Я не понял, смеялись они над дипломатами, которые могут лишиться многого, или над доводами Поля. Тот осмотрел соседей, тоже усмехнулся и продолжал:

- Конечно, они не могут влезть в нашу шкуру и потому не понимают, что нам нужно или по крайней мере что нам не нужно.

- А что нам нужно и что не нужно? - немного насмешливо спросил кто-то.

- Нам нужно многое, - быстро ответил Поль, поворачиваясь к спросившему, - а не нужна нам драка. Драка с такими вот, как Константин, как его друзья, которым мы помогали тогда вырваться из лагеря. Они работали с нами в шахтах, хотя и жили за колючей проволокой. Воевали на нашей земле. Мы помним, это были хорошие, душевные люди. Мне хочется, чтобы русские приехали к нам по своей доброй воле и поработали рядом, пожили с нами.

- У нас своим работы не хватает...

- А наши поехали бы туда, в Россию, там, говорят, работы много.

- Они, значит, к нам работать и жить, а мы - к ним работать и жить?

- Конечно, - подхватил Поль, - конечно. Я перемешал бы все народы, чтобы не было чужих, чтобы все были свои. Правильно я говорю, Луи?

Валлон наклонил голову.

- Правильно, Поль, только это неосуществимо. Можно и без переселения помнить и знать, что и за пределами нашей маленькой страны живут тоже свои люди, что у них такие же заботы и радости, как у нас, такие же надежды и горечи, такие же думы и стремления.

- Ну, я не очень верю, что у тех, кто живет по ту сторону Арденн, те же думы и стремления, что у нас, - возразил молодой парень.

- Не у всех, Лекс, - обернулся к нему Валлон, - не у всех. И среди немцев теперь больше таких, которые думают так же, как мы.

- А как их отличишь, которые правильно думают, а которые нет?

Валлон посмотрел на парня и усмехнулся.

- Вот это и есть главная трудность, Лекс. Люди обычно молчат о том, что думают, даже если у них самые хорошие мысли. А им нужно было бы кричать об этом, кричать о своих мыслях, о своих стремлениях и надеждах, кричать таким голосом, чтобы весь мир знал. И если все, кто хочет жить с другими в дружбе, закричат об этом, то это будет такой мощный хор, который никому не заглушить.

- Верно, верно, - поддерживал Поль. - Прохвосты вопят до оглушения, натравливают одних людей на других, а хорошие люди молчат, будто их не только голоса, но и языка лишили.

- Прохвостам легко вопить, - вставил Лекс, - у них газеты,

радио, телевидение. А как будут кричать хорошие люди? Становиться на перекрестке и кричать?

- А хоть бы и так! Почему бы и не стать на перекрестке и не покричать? - спросил Валлон. - Нас столько, что мы можем занять все перекрестки мира. Нам не надо особенно надрывать голос: у нас друзья рядом, и они услышат, если даже ты будешь говорить шепотом. Надо только говорить, обязательно говорить, чтобы твое молчание не принимали за согласие с прохвостами.

И мои соседи заговорили. Они сказали мне, что помнят русских, что знают о России, что понимают, почему их хотят натравить на русских, на советских, и что они никогда не позволят никому поднять на нас руку. Они прощались со мной с сердечностью, которая глубоко взволновала и обрадовала. Да, они оставались друзьями. Это были искренние, надежные друзья. Неведомые друзья рядом.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

В тот вечер мы пробыли в пивной, этом клубе простого народа, долго. Одни люди уходили, другие приходили. Узнав Валлона, они протягивали ему большие крепкие руки, улыбаясь дружески. Он представлял меня, непременно прибавляя:

- Один из тех, кто воевал здесь.

Некоторые хорошо помнили нападение на лагерь военнопленных и охотно говорили об этом. Каждый запомнил какую-то сторону, деталь события, которая врезалась ему в память и казалась поэтому особенно важной. Нападение представало теперь передо мной с таких сторон, которые я не знал или забыл. В их рассказах многое было явно приукрашено, кое-что просто сочинено. Вокруг давнего события создавалась хорошая, даже возвышенная легенда. "Кулачное сражение", которое представлялось нам тогда отвратительным, зверским, приобретало с течением времени характер чего-то необыкновенно героического. В памяти этих людей осталось только хорошее, благородное. Они видели во всем этом лишь проявление товарищества, мужества, смелости. И, оглядываясь вместе с ними назад, я начинал видеть своих тогдашних друзей более отважными и сильными, более великодушными и благородными.

Новые друзья проводили нас до дома, где мы остановились, пожелали доброй ночи и счастливого пути. Они просили обоих непременно задержаться в Льеже на обратном пути: их товарищи обидятся, если не увидят нас, особенно русского, который воевал рядом с ними и мог рассказать кое-что о Москве.

- Ну, ты рад, что приехал? - спросил Валлон, когда мы остались вдвоем, и, не дожидаясь моего подтверждения, добавил: - У народа, как видишь, своя память, хорошая память. Его голос

не так-то легко заглушить даже самой шумной пропагандой неприязни.

- Мне кажется, что они создают что-то вроде легенды вокруг нашего нападения на лагерь и вообще наших дел тут. Приукрашивают, сочиняют.

- Без этого легенд не бывает. Народная память хранит все хорошее и быстро забывает плохое.

Мы еще поговорили о людях, с которыми провели вечер, об их скоро проходящих сомнениях и безграничной вере в таких же, как они сами, людей. Затем Валлон пожелал мне спокойной ночи и, пообещав поднять пораньше, отправился спать.

Я быстро улегся, но заснуть не мог. Я был взволнован тем, что слышал, тем, что вновь попал в места, с которыми так тесно связано мое прошлое. Поднявшись, я подошел к окну и раскрыл его. Ночь была светлая, лунная, крыши ближайших домов блестели, а улицы тянулись с этого холма вниз темными каналами. В самом низу, вытягиваясь широким лаковым поясом среди россыпи дальних огней, катил свои воды Маас, который доставил нам тогда так много хлопот. Оборванные в драке, а некоторые совсем нагие, мы не решались пройти при белом свете по поселку, который лежал между нами и переправой.

Рискуя жизнью и осмелившись проникнуть в немецкий лагерь, мы не отваживались появиться в таком виде перед очами бельгиек и стать посмешищем. Тогда-то у Шарля, командовавшего группой прикрытия, возникла идея захватить на стоявшем на окраине города лесопильном заводе бревна, переправиться на них на другой берег и уйти в тот самый лес, который вставал сейчас перед моими глазами черной стеной.

Шарль... Какой это был мужественный, симпатичный человек!

По рассказам моих новых друзей Шарля перевели в армию, позволив взять с собой его дружинников. Пока шла война и они были нужны, с ними считались. Как только опасность миновала, новое правительство, прибывшее в страну в обозе союзников, очистило армию от бойцов Сопротивления. Одних уволили по возрасту, других - по болезни, третьих - из-за строптивости.

Самого Шарля направили в Западную Германию. Часть, которую дали ему, была не из лучших, но несла службу по оккупации исправно. Английские власти, в зоне которых бельгийцы обосновались, были довольны как солдатами, так и командиром. В Брюссель летели благосклонные телеграммы, из Брюсселя - благодарности, награды...

Осложнения начались позже. Союзники - англичане, американцы, французы - стали заигрывать с бывшими врагами. Бывшие гитлеровские генералы и офицеры, против которых

Шарль воевал, снова появились на улицах западногерманских городов. Сначала робко и заискивающе поглядывали они на бельгийцев, затем их взгляд становился смелее, потом наглее и надменнее. Надменность возрастала вместе с их весом в Западной Германии. Недавние враги возвращались к власти. Они начали удалять из страны тех из союзников, которые отличались особым упрямством в войне против них, которые после войны не показывали особого снисхождения к побежденному врагу, которые не проявляли теперь склонности признать его равенство, а потом превосходство. Действуя окольными путями, через американцев, они добились того, что Шарля перевели снова в Бельгию. Чтобы позолотить пилюлю, ему присвоили новое звание, дали еще один орден. Шарль проглотил пилюлю: Бельгия мала и слаба, что может сделать она против воли великих союзников?

Его унижения, однако, не кончились на этом. Некоторое время спустя часть, которой он командовал, была влита в сухопутные силы НАТО, во главе их оказался генерал, которого Шарль помнил еще по временам оккупации Бельгии. Это был изворотливый и жестокий человек. Подчинение ему Шарль счел личным и намеренным оскорблением. Он подал в отставку, которая была с готовностью принята. Сейчас, удрученный и больной, он жил в маленьком городке недалеко от Льежа. Приезжал сюда редко, старых друзей встречал угрюмо. Подвыпив, что случалось теперь довольно часто, ругал бывшее начальство и клялся, что, когда его вновь позовут защищать "семью", он откажется, непременно откажется делать это. Соседи посмеивались над ним: кому он может потребоваться теперь? У него уже взяли все, что могли.

Ночь подходила к концу. Далекая заря высветила небо за холмами, и на нем отчетливо выступили лесистые хребты. Из густо-темных они превратились в синие, синева как бы невидимо разбавлялась зеленой краской, и лес начинал приобретать свой обычный, такой знакомый утренний вид.

Сколько раз встречали мы утро в этих лесах! Если утро было пасмурное или холодное, мы угрюмо осматривали лесистые холмы и со вздохом отворачивались. Если день обещал быть тяжелым и опасным, всматривались в лес с надеждой и немой просьбой: укрой! Чаще же всего над невысокими синими горами поднималось ясное небо, и мы радостно, иногда во весь голос орали:

- Здравствуй, утро!

И в тот наступающий день небо над дальними горами было ясным, чистым, зовущим. Мне хотелось приветствовать его тем же радостным криком. Но, оглянувшись на дощатую перегородку, за

которой спал Валлон, я только прошептал:

- Здравствуй, утро...

1946 - 1960 гг.